ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

# ПОД ЗНАМЕНЕМ МАРКСИЗМА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ И ОБЩЕСТВ.-ЭКОНОМ. ЖУРНАЛ

## № 5

МАЙ

ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ „ПРАВДА“
МОСКВА—1928

Главлит № А—17372 Тираж 4.000

Тип. газеты „Правда". Москва, Тверская, 48.

## СОДЕРЖАНИЕ

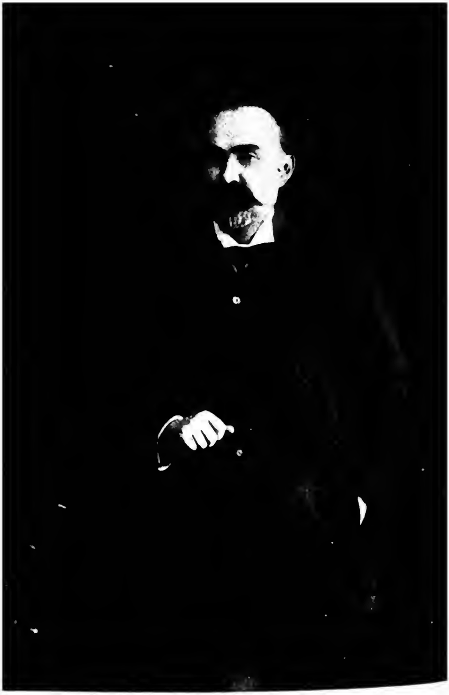
### К 10-летию смерти Г. В. Плеханова.


Стр.

*Г. В. Плеханов.*—Гром не из тучи . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
*И. Разумовский.*—Г. В. Плеханов и исторический материализм . . . . . . . . . 26
*Мих. Дынник.*—Категория случайности в понимании Плеханова . . . . . . . 46
*Л. Спокойный.*—Проблема свободы и необходимости у Плеханова . . . . . . . . 72
*Ю. Франкфурт.*—Плеханов и классовая психология . . . . . . . . . . . . . . 82
*Гр. Деборин.*—Плеханов как экономист . . . . . . . . . . . 103
*Л. Зивельчинская.*—Эстетика Плеханова . . . . . . . . . . . 123
*А. Воден.*—Г. В. Плеханов как историк литературы . . . . . . . . . . . . 129
*В. Кирпотин.*—Тактика Плеханова в революции 1905 года . . . . . . . . 136
*Влад. Бонч-Бруевич.*—Первые встречи с Г. В. Плехановым . . . . . . . . 163

*Гр. Баммель.*—Еще раз о последнем выступлении механистов (по поводу книги «Диалектика в природе» сб. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

*С. Гиммерфарб.*—К вопросу о месте денежного материала в схемах воспроизводства Маркса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199



Георгий Валентинович Плеханов.

# К 10-ЛЕТИЮ СМЕРТИ Г. В. ПЛЕХАНОВА.

## Гром не из тучи.

**(Письмо в редакцию «[В]»).**

*Г. В. Плеханов.*

*Печатаемая ниже статья Г. В. Плеханова «Гром не из тучи» появилась впервые на русском языке в только что вышедшем сб. № 6 Группы «Освобождение Труда». Статья эта, как сообщает редакция сборника, была помещена в грузинском журнале «Квали» в 1901 г. №№ 26, 27, 28) под псевдонимом Idem и является ответом на статью «Путешествие по Бельгии» (в рукописи «У») известного анархиста В. Черкезова, псевдоним В. Марвели (г. А.), помещенную в легальной консервативной газете «Иверия» («В») в 1900 году, В сборнике Группы «Освобождение Труда» статья перепечатана с подлинника, найденного в архиве Г. В. Плеханова. Но так как в подлиннике оказались пропуски, то они были восстановлены путем перевода с грузинского и помещены в прямые скобки. Мы здесь воспроизводим статью Г. В. Плеханова, как она напечатана в сб. Группы «Освобождение Труда».*

*Блестящая статья «Гром не из тучи» осталась, таким образом, неизвестной русскому читателю до настоящего времени, несмотря на то, что она была напечатана двадцать семь лет тому назад в грузинском журнале. Не имея возможности входить здесь в оценку предлагаемой читателю работы Плеханова, отметим только, что, как по литературным своим достоинствам, так и по содержанию развиваемых в ней идей, она должна занять почетное место в ряду классических произведений по философии марксизма. Центр тяжести статьи лежит в защите Плехановым диалектики, как «МОГУЧЕГО ОРУДИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ» пусть же статья Г. В. Плеханова явится также ответом и тем «новаторам», которые в последние годы занимались критикой диалектики, видя в ней «схоластику», «априорную конструкцию», или милостиво разрешая ей «выступать» из природы, но категорически запрещая ей служить орудием научного исследования.*

*Ред.*

Милостивый государь! Вы хотите знать мое мнение о статьях г. А., напечатанных в «В.» под заглавием: «У». Я думаю о них то же, что и вы, т.-е., что они **никуда не годятся**. Но вы говорите, что они производят некоторое впечатление на людей, не занимавшихся теми вопросами, о которых в них говорится. Поэтому я считаю не бесполезным подвергнуть эти статьи довольно подробному разбору. Начну с **философии**.

Г. А. чрезвычайно презрительно относится к философии Гегеля, которого он называет **реакционером**. Но назвать данного фи-

лософа реакционером не значит еще характеризовать его философию. Мыслитель, сочувствующий *реакционным* стремлениям в общественной жизни, может, тем не менее, создать философскую систему, заслуживающую полного *внимания* и даже *сочувствия* со стороны *прогрессистов*. Надо уметь различать между *теоретическими посылками* данного писателя и теми *практическими выводами*, которые он сам делает из своих теоретических посылок. Практические выводы могут быть неверны или враждебны делу человеческого прогресса. Но в то же самое время *посылки*, лежащие в основе этих неверных или вредных *выводов*, могут быть и *верны*, и *полезны*,—полезны в том смысле, что, *будучи правильно истолкованы*, они дадут новый довод или даже целый ряд доводов в защиту *прогрессивных* стремлений. Вот почему такие эпитеты, как *реакционер* или *прогрессист*, никоим образом не характеризуют *теоретических* заслуг или ошибок данного философа. Кто хочет уничтожить этого философа во мнении *мыслящих* людей, тот должен опровергнуть *теоретическую* часть его учения. Только после опровержения этой части он имеет право указать на то практическое *стремление* или на то *влияние* общественной среды, которое побудило мыслителя исказить *истину* или *помешало ему додуматься* до нее.

При соблюдении этого условия указание на политические симпатии мыслителя (реакционер, прогрессист и т. д.) будет содействовать выяснению генезиса (происхождения) его заблуждений. При отсутствии же этого условия *критика* превращается в *обвинение*, а *обвинение* оказывается простым *упреком*. Упрек может иметь под собою самую благородную подкладку, но *критики* он ни в коем случае заменить собою не может.

Г. А. не *критикует*, а именно только *упрекает* Гегеля.

Делаемая им ссылка на Вундта ровно ничего не доказывает, потому что цитируемые им фразы не заключают в себе ничего, кроме ничем *не мотивированного приговора*. Или, может быть, г. А. думает, что мы должны верить *авторитету* Вундта? Но авторитет—плохой руководитель в философии, и если бы человечество всегда твердо верило в авторитеты, то у нас не было бы теперь ни философии, ни других знаний. Впрочем, я не думаю, чтобы г. А. требовал от нас *веры в авторитет* Вундта. Всего вернее, что он сослался на мнение этого писателя, просто как на мнение умного и ученого человека: мнение умного и ученого человека всегда интересно. Но беда в том, что умные и ученые люди далеко не во всем соглашаются между собою, и потому нет ничего легче, как противопоставить мнению одного умного и ученого человека мнение другого человека, столь же умного и столь же ученого. Г. А. согласится, что это обстоятельство очень усложняет дело.

Г. А. ссылается на Вундта. Он, разумеется, имеет полное право на это. Но я с таким же правом сошлюсь на другого, на этот раз русского

писателя, который был чрезвычайно умен от природы и который посвятил (как это видно из его «Дневника») не мало времени на внимательное изучение гегелевской философии. Этого человека звали А. И. Герцен. (Для цензуры можно поставить: этот человек—автор знаменитых воспоминаний, носящих название: «Былое и думы» и не менее знаменитого романа: «Кто виноват».)

«Когда я привык к языку Гегеля и овладел его методой,— говорит А. И. Герцен (или—этот автор: для цензуры),—я стал разглядывать, что Гегель гораздо ближе к нашему воззрению, чем к воззрению своих последователей; таков он в первых сочинениях, таков везде, где его гений закусывал удила и несся вперед, забывая «бранденбургские ворота». Философия Гегеля—алгебра прогресса, она необыкновенно освобождает человека и не оставляет камня на камне от... мира преданий, переживших себя. Но она может быть с намерением дурно формулирована».

Русские писатели народнического и «суб'ективного» направления,—подобно г. А.,—очень враждебно относятся к Гегелю, которого они,—опять подобно г. А.,—совсем не знают. Они считают, например, что Гегель имел очень вредное влияние на гениального Белинского, который будто бы только тогда и начал мыслить как следует, когда «раскланялся с философским колпаком» немецкого философа. Несколько лет тому назад в периодической русской печати было доказано, что увлечение гегелевской философией свидетельствовало об огромной теоретической требовательности Белинского и ни в каком случае не может быть рассматриваемо как период застоя в его умственном развитии. Тогда же было доказано, что, даже «раскланявшись с философским колпаком Гегеля», Белинский не покинул точки зрения гегелевой философии [1]. Но доказывать эти вещи господам народникам и суб'ективистам нужно было только потому, что эти господа совсем ничего не знают в философии и совсем ничего не понимают в философских взглядах Белинского. А Герцену этого не нужно было бы и доказывать, потому что он,—как человек, знакомый с философией,—сам хорошо знал это. «Белинский совсем не оставил вместе с односторонним пониманием Гегеля его философию,—говорит он.—Совсем напротив, отсюда-то и начинается его живое, меткое, оригинальное сочетание идей философских с революционными (для цензуры: прогрессивными)».

Выходит, стало быть, что философские идеи Гегеля легко могли сочетаться с прогрессивными. Выходит также, что русская литература чрезвычайно много обязана Гегелю в лице одного из самых талантливых представителей. Это совсем не то, что говорили нам господа русские народники и «суб'ективисты» и вслед за ними и наш строгий г. А.

---

[1]) Тут надо, если можно, сослаться, на статью Каменского [псевдоним Г. В.— Ред] в «Новом Слове».

Я предлагаю г. А. опровергнуть приведенное мною мнение А. И. Герцена.

Когда же он возьмется за это опровержение, то ему нужно будет обратить свое «критическое» внимание на другого русского писателя, который тоже был чрезвычайно умным человеком и который,—подобно А. И. Герцену и в отличие от г. А.,—знал и понимал гегелеву философию. Этого человека звали Н. Г. Чернышевский.

В «Очерках гоголевского периода русской литературы» Чернышевский довольно подробно говорит о Гегеле по поводу известного увлечения им в знаменитом кружке Станкевича и Белинского. По его словам, главной и огромной заслугой Гегеля является выведение философии из области отвлеченного мышления и внимательное отношение к действительности. «Об'яснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которой прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям... Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени,—и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что эти общие отвлеченные изречения неудовлетворительны. Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т.-е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит» [1]).

В другом месте,—именно в статье, которую он посвятил разбору своего собственного сочинения: «Эстетические отношения искусства к действительности»,—Чернышевский так характеризует свое отношение к Гегелю:

«Часто мы видим, что продолжатели ученого труда восстают против своих предшественников, труды которых служили исходною точкою для их собственных трудов. Так Аристотель враждебно смотрел на Платона, так Сократ безгранично унижал софистов, продолжателем которых был. В новое время этому также найдется много примеров. Но бывают иногда отрадные случаи, что основатели новой системы понимают ясно связь своих мнений с мыслями, которые находятся у их предшественников, и скромно называют себя их учениками; что, обнаруживая недостаточность понятий предшественников, они с тем вместе ясно высказывают, как много содействовали эти понятия развитию их собственной мысли. Таково было, например, отношение Спинозы к Декарту. К чести основателей современной науки должно сказать, что они с уважением и почти сыновнею любовью смотрят на своих предшественников, вполне признают величие их гения и благородный харак-

[1]) «Современник» 1856 г., кн. 9, Критика, стр. 12. Теперь есть, как известно, отдельное издание «Очерков гоголевского периода русской литературы», но я не имею его под рукой.

тер их учения, в котором показывают зародыши собственных воззрений. Н. Г. Чернышевский понимает это и следует примеру людей, мысли которых применяет к эстетическим вопросам. Его отношение к эстетической системе, недостаточность которой он старается доказать, вовсе не враждебно; он признает, что в ней заключаются зародыши и той теории, которую старается построить он сам, что он только развивает существенно важные моменты, которые находили место и в прежней теории, но в противоречии с другими понятиями, которым она приписывала более важности и которые кажутся ему невыдерживающими критики. Он постоянно старается показать тесное родство своей системы с прежнею системою, хотя не скрывает, что есть между ними и существенное различие».

Чтобы читателю было понятно это категорическое заявление Чернышевского насчет своего собственного отношения к своим предшественникам, полезно будет сделать некоторые пояснения. Г. А. хорошо сделает, если хорошенько вникнет в них.

Сочинение Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» посвящено было критике эстетической системы известного немецкого писателя, Фишера, который был чистым гегельянцем. Если Чернышевский считал нужным открыто заявить о том, что он в своем сочинении вовсе не становится во враждебное отношение к Фишеру, то это значило, что он считал вредным распространение в русской читающей публике враждебного отношения к философской системе Гегеля [1]). Далее, кого имел в виду Чернышевский, говоря об основателях современной науки? Конечно, Фейербаха, взгляды которого он применял к вопросам эстетики, да и не одной только эстетики. По его словам, основатели современной науки с уважением и почти сыновнею любовью смотрели на своих предшественников, вполне признавали величие их гения и благородный характер их учения, в котором показывали зародыши собственных воззрений. Кто же были эти предшественники «основателей современной науки»? На этот вопрос без больших усилий ответит сам г. А.: предшественниками Фейербаха в философии были великие немецкие идеалисты. А ближе всех других немецких идеалистов был к Фейербаху Гегель, как это известно всем, знакомым с историей немецкой философии, и как на это указывал много раз сам Чернышевский. Выходит, стало быть, что, по мнению этого последнего, Фейербаху делало большую честь то обстоятельство, что он относился к Гегелю не враждебно, а с уважением и с почти сыновней любовью. И сам Чернышевский считает необходимым оттенить, что он относится к Гегелю именно так, как относился к нему, по его словам,

[1]) «Кто читал «Эстетику» Гегеля и «Эстетику» Фишера, тот знает, до какой степени невозможно отделить изложенную там эстетическую теорию от общих положений гегелевой философии. Г. А., разумеется, не читал названных сочинений, но, если он даст себе труд хоть заглянуть в них, то он не решится оспаривать меня.

Фейербах. Это очень непохоже на то отрицательное отношение к «реакционеру» Гегелю, которое мы видим в статье г. А. Чем об'ясняется это несходство? Да просто-на-просто тем, что Чернышевский знал Гегеля, а г. А. не имеет о нем ни малейшего понятия [1]).

Но Чернышевский не ограничился простым заявлением о своем уважении к Гегелю. Он,—по своему обыкновению, кратко и просто,—о б ' я с н и л, почему он относится к Гегелю именно так, а не иначе: он понимал (и это, как видел читатель, его собственные слова), что в системе Гегеля заключался зародыш той теории, которую старался построить он сам, и что он только развивал существенно важные моменты, которые находили место и в «прежней теории». В виду этого уважение Чернышевского к Гегелю перестает быть удивительным даже для невежд: кто же, кроме людей неискренних и болезненно тщеславных, позволит себе презрительно относиться к мыслителю, в учении которого он видит зародыш своих собственных взглядов?

Но если нет ничего удивительного в том уважении, с которым относился к Гегелю Чернышевский, то кто же,—о п я т ь - т а к и, к р о м е н е в е ж д,—может удивляться тому уважению, с которым относился к Гегелю автор «К а п и т а л а»? Ведь взгляды автора «Капитала» были естественным развитием взглядов Фейербаха, который был у ч и т е л е м Ч е р н ы ш е в с к о г о в философии и который сам был у ч е н и к о м Г е г е л я. Маркс понимал, что (говоря словами Чернышевского) в философии Гегеля заключались зародыши и той теории, которую он старался построить сам; что он только развивал существенно важные моменты, которые находили место и в гегелевской философии, но в противоречии с другими понятиями, которым она (философия Гегеля) приписывала более важности и которые ему (Марксу) казались невыдерживающими критики.

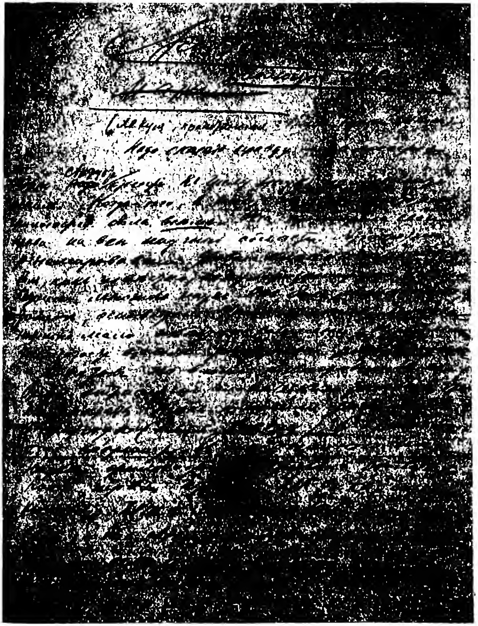
Впрочем, здесь я забежал вперед. Прежде, нежели говорить об отношении философских взглядов Маркса к философии Гегеля, надо решить, как должны относиться к этой последней м ы, образованные и беспристрастные читатели и писатели начала XX века.

Выше я сказал, что невозможно решать философские вопросы ссылками на те или другие а в т о р и т е т ы. И я поступил бы очень плохо, если бы позабыл об этом т е п е р ь, т.-е. после того, как в пользу Гегеля и против г. А. высказались такие авторитетные в философских вопросах писатели, как А. Герцен и Н. Чернышевский. Нет, как бы ни был велик авторитет этих людей, мы должны жить своим собственным умом; мы должны сами, своими собственными силами и на основании своих собственных знаний решить, как относиться нам к философии Гегеля, из которой выросло потом учение немца Фейербаха и [[его]] русского ученика Чернышевского.

А для того, чтобы решить это, нам полезно будет выяснить себе, почему же Чернышевский видел в философии Гегеля зародыш своих

---

[1]) Замечу мимоходом, что и р е а к ц и о н е р о м Чернышевский никогда не считал Гегеля. Он называл его у м е р е н н ы м л и б е р а л о м.



1-я страница рукописи Г. В. Плеханова „Философская эволюция Маркса". (Лекция, прочитанная в Высшей Русской Школе).

собственных взглядов, или—если выразиться точнее—взглядов своего учителя Фейербаха.

Все дело здесь в том «чрезвычайном внимании к действительности, которое, по мнению Чернышевского, составляет главную заслугу Гегеля сравнительно с его предшественниками в области философии».

Люди, у которых г. А. научился своему презрительному отношению к Гегелю,—т.-е. русские народники и суб'ективисты,—изображают обыкновенно философию немецкого идеалиста как одно сплошное искажение действительности в угоду спекулятивным построениям. Они так много кричали об этом искажении, что им стали верить читатели, незнакомые с историей философской мысли. Поэтому некоторых удивит, может быть, замечание Чернышевского о внимательном отношении Гегеля к действительности. А между тем оно вполне верно.

Гегель говорит в своей «Энциклопедии», что юности свойственно бросаться в отвлеченности, между тем как опытный человек не увлекается абстрактным или-или (entweder-oder), а ищет конкретной почвы. Очень возможно, что именно эти слова его имел в виду Чернышевский, говоря о внимательном отношении Гегеля к действительности. Но, во всяком случае, несомненно, что он был совершенно прав и что он мог бы сказать даже более того, что сказал: он мог бы с полным правом утверждать, что философия Гегеля, благодаря своему внимательному отношению к действительности, имела огромное, до сих пор еще недостаточно оцененное влияние на развитие общественной мысли XIX века, и что в значительной степени благодаря ей мыслящие люди этого века поняли неудовлетворительность точки зрения абстрактного или-или.

Чернышевский поясняет мысль Гегеля, беря в пример войну. «Пагубна или плодотворна война?—спрашивает он.—Вообще нельзя отвечать на это решительным образом: надобно знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств времени и места... Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества». Еще пример—дождь. «Благо или зло дождь? Это вопрос отвлеченный, определительно ответить на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, вред; надобно спрашивать определенно: после того, как посев хлеба окончен, в продолжение пяти часов шел сильный дождь,—полезен ли он был для хлеба? Только тут ответ ясен и имеет смысл: этот дождь был полезен».

Кто рассуждает отвлеченно, тот рассуждает по формуле отвлеченного или-или (entweder-oder Гегеля): дождь или вреден, или полезен; война или пагубна, или плодотворна.

А кто, по совету Гегеля, ищет конкретной почвы, тот, подобно Чернышевскому, спрашивает, какой именно дождь имеется в виду; о какой именно войне идет дело.

На первый взгляд может показаться сомнительным самое существование людей, рассуждающих по формуле отвлеченного или-или (война или пагубна, или плодотворна), но на самом деле таких людей до сих пор очень много [1]), а до Гегеля их было еще больше. Точка зрения отвлеченного или-или свойственна не только неопытной «юности». Можно указать замечательные исторические эпохи, в продолжение которых все мыслящие люди, за самыми немногими исключениями, стояли на этой точке зрения и очень удивились бы, если бы им сказали, что она неудовлетворительна. Так было, например, во Франции восемнадцатого века.

Французские просветители этого века смотрели на общественную жизнь с точки зрения отвлеченной противоположности между добром и злом, между разумом и бессмыслицей, покидая эту точку зрения только в самых исключительных случаях. Раз признав данное общественное явление,—например, феодальную собственность,—вредным и неразумным, они никогда не согласились бы с тем, что в свое более или менее отдаленное время оно могло быть разумным. Вот один пример из чрезвычайно многих.

Гельвеций в письме к Сорэну говорит по поводу знаменитой книги Монтескье «Esprit des lois» [«Дух законов»]: «Но чему он хочет научить нас своим трактатом о феодальных учреждениях? Такими ли вещами должен заниматься мудрый и разумный человек? Какое законодательство могло явиться в результате варварского хаоса законов, установленных насилием, державшихся невежеством и всегда мешающих всякой попытке установить правильный порядок» [2]). В другом месте тот же Гельвеций замечает: «Монтескье слишком феодалист, а между тем феодальное правительство есть chef d'oeuvre [верх] бессмыслицы» [3]).

Теперь мы иначе относимся к феодализму; теперь мы понимаем, что в свое время он вовсе не был бессмыслицей [4]). Но мы смотрим так

---

[1]) Пример: Л. Н. Толстой, пришедший к тому выводу, что война всегда и безусловно вредна.

[2]) Oeuvres Complètes, Paris 1818, t. III, p. 226.

[3]) Ibid., p. 314.

[4]) Фюстель-де-Куланж хорошо об'ясняет, как изменялось отношение низших сословий к феодальным замкам в зависимости от обстоятельств времени. «Six siècles plus tard,—говорит он,—les hommes n'avaient que haine pour ces forteresses seigneuriales. Au moment où elles s'élevèrent ils ne sentirent qu'amour et reconnaissance. Elles n'étaient pas faites contre eux, mais pour eux. Elles étaient le post élevé où leur défenseur veillait et guettait l'ennemi. Elles étaient le sûr dépot de leur récolte et de leurs biens... Chaque château fort était le salut de son canton». Fustel-de-Coulanges, «Histoire des Institutions politiques de l'Ancienne France», tome VI, p. p. 682—683. [«Шесть столетий позже люди только ненавидели эти владетельные замки. Но в момент, когда они воздвигались, люди чувствовали к ним только любовь и благодарность. Они были созданы не против них, но для них. Они были возвышенным сторожевым пунктом, где их защитник бодрствовал и подстерегал врага. Они были

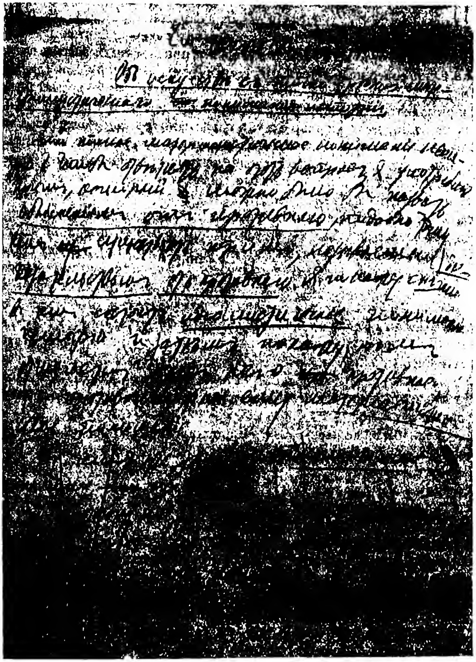
нменно—и только—потому, что мы знаем, до какой степени все завнснт от обстоятельств времени н места н до какой степенн несостоятельны те, будто бы, истины, к которым прнводит точка зрения отвлеченного или-или; война или пагубна, или плодотворна; феодализм или разумен, нлн бессмыслен, и т. д. А. Гельвецнй еще не знал этого; он, подобно огромнейшему большинству своих современников, придерживался именно точки зрения отвлеченного или-или.

А то возьмите историю социализма. Уже в начале XIX века вы найдете у некоторых социалистических писателей отрицательное отношение к отвлеченным рассуждениям по формуле или-или. Я мог бы привести здесь очень интересные в этом отношении цитаты из Сен-Симона и сен-симонистов. Но это отрицательное отношение к отвлеченному или-или составляет у них все-таки исключение, а не общее правило. Чаще и охотнее социалисты того времени придерживались унаследованной от восемнадцатого века отвлеченной точки зрения. С этой точки зрения они смотрели на важнейшие практические вопросы своего времени. Поэтому—и только поэтому—мы и называем их утопистами. Различные школы этих утопистов предлагали весьма различные планы общественного устройства. Но, как ни отличались один от другого эти планы, все они сходились в одном: в том, что основой каждого из них служил известный взгляд на человеческую природу [1]). Природа человека была верховной [инстанцией для социалистов, к которой они обращались по спорным вопросам общественного строя. Так как природу человека социалисты того времени считали неизменной, то, ясно, мы должны полагать, что среди многих возможных систем общественного строя можно найти такую, которая более соответствует человеческой природе, чем все прочие,—отсюда родилось стремление найти лучшую, иначе говоря, такую систему, которая всего более соответствует человеческой природе. Основатель каждой школы полагал, что именно он открыл такую систему. Основатель каждой школы (учения) предлагал

---

верным складом для их жатвы и для их имущества... Каждый укрепленный замок был спасением своего округа». Фюстель-де-Куланж, «История политических учреждений старой Франции», т. VI, стр. 682–683.]

[1]) По мнению Консидерана, «общий социальный вопрос» (le problème social général) должен быть поставлен так: «Etant donné l'homme; avec ses besoins, ses gouts, ses penchants, déterminer les conditions du système social le mieux approprié à sa nature» [«Имея данного человека, с его нуждами, его вкусами, его склонностями,—определить условия общественной системы, наиболее подходящей к его природе».] («Destinée sociale», 3-ème édition, tome I, p. 332). Подобно этому Дэзами заявляет: «Mon criterium, ma règle de certitude c'est la science de l'organisme humain, c'est-a-dire, la connaissance des besoins, des faculutés et des passions de l'homme» [«Мой критерий, мое мерило достоверности, — это наука о человеческом организме, т.-е. знакомство с нуждами, способностями и страстями человека]. («Le Code de la communauté», par T. Dezamy, Paris 1842, p. 9). Я мог бы привести еще многое множество таких примеров.



1-ая страница наброска Г. В. Плеханова „Об искусстве с точки зрения материалистического понимания истории“.

нам свою утопию. Но возможно ли найти наилучшую систему общественного строя?—Нет, это невозможно].

Просветители восемнадцатого века понимали, что характер человека изменяется в зависимости от окружающей его обстановки. «L'homme est tout éducation» [«Все в человеке—воспитание»],—говорил Гельвеций. И в этом отношении просветители восемнадцатого века были совершенно правы. В самом деле, «природа» древнего перса или египтянина не походила на «природу» древнего грека или римлянина, а «природа» древнего грека или римлянина была совсем не то, что «природа» современного нам англичанина или гражданина Соединенных Штатов Северной Америки. Если мы предположим, что данная общественная система совершенно соответствует природе человека, а все остальные системы более или менее насилуют эту природу, то мы тем самым об'явим, что природе человека не соответствует вся история за исключением того (прошедшего, настоящего или будущего) времени, к которому мы отнесем господство излюбленной нами системы. Но такой взгляд на историю исключает всякое научное ее об'яснение. Вот почему мы говорим теперь, что системы указанных нами социалистических писателей были ненаучны, что не мешает, разумеется, нам находить в них отдельные частности, составляющие чрезвычайно ценные вклады в науку. Творцы утопических систем стояли на точке зрения отвлеченного или-или, а не на конкретной почве; они еще не знали, что отвлеченной истины нет, что истина всегда конкретна, что в общественной жизни все зависит от обстоятельств места и времени.

Если бы я должен был в немногих словах определить заслугу Маркса в общественной науке, я сказал бы, что его учение нанесло смертельный удар утопизму. В самом деле, у него уже нет апелляций к человеческой природе. Он не знает таких общественных учреждений, которые или соответствуют этой природе, или не соответствуют ей. Уже в «Нищете философии» мы находим замечательный и характерный упрек по адресу Прудона: «Г. Прудон не знает, что вся история является беспрерывным изменением человеческой природы...» (Paris 1896, p. 204).

В «Капитале» Маркс говорит, что человек, изменяя своей деятельностью окружающую среду, тем самым изменяет свою собственную природу («Капитал», III, стр. 155—156). Возьмем хотя бы частную собственность на средства производства. Утописты много писали и много полемизировали друг с другом и с экономистами по вопросу о том, должна ли существовать частная собственность, т.-е. соответствует ли она человеческой природе. Каждый утопист разбирал этот вопрос с точки зрения или-или. Маркс же поставил его на конкретную почву. Согласно его учению формы собственности и имущественные отношения определяются развитием производительных сил. Одной ступени развития этих сил соответствует одна форма собственности; другой—другая; но ничего абсолютного здесь утверждать

нельзя, так как абсолютное решенне по] необходимости было бы отвлеченно, а отвлеченной истнны нет, истина всегда конкретна, н все завнсит от обстоятельств места и времени.

При таком взгляде на дело совершеино естествеино отрнцательное отношение ко всякого рода попыткам найтн иаилучшую общественную систему: нанлучшей общественной системой является в каждое данное время та общественная снстема, которая иаиболее соответствует состоянню общественных пронзводительных снл. А нанхудшей системой в данное время оказывается та снстема, которая служнт наиболее сильным препятствием для дальнейшего развнтня этнх снл. Общественная снстема, бывшая совершенно разумной сто илн двестн лет тому назад, может оказаться совершенно нелепой в иастоящее время.

Это отрнцательиое отношенне к утопням составляет нмеино ту черту марксовой теорнн общественного развнтия, которая дает ей вполне заслуженное право на название научной теории. Научные теории, разумеется, тоже иебезошнбочны. Маркс мог ошнбаться, как и все люди. Но дело в том, что Маркс стал иа ту конкретную почву, которая создала возможность научного отиошення к предмету, т.-е. отношения к предмету с точки зреиия закоиосообразности совершающнхся в нем процессов, между тем как просветители восемнадцатого века и утопнсты всех веков смотрели на общественные явлення с точкн зреиня отвлечеииого (и потому ненаучного) нли-или, которая исключает возможиость нахождения конкретиой истины н которая оставляет место лишь для решений, подсказываемых суб'ектнвиымн снмпатнями или антипатиями.

Но если Маркс нанес смертельный удар утопнзму, то этнм он обязан именно той методе, которую ои занмствовал у Гегеля и о которой с такой похвалой отзывался Чернышевский. Метода Гегеля была хороша именно тем, что она исключала возможность отвлеченного суждеиия о предметах и требовала оценки их с точки зрення обстоятельств времени н места.

После сказанного понятно, почему гегелевой фнлософнн сочувствовали прогрессисты вроде А. И. Герцеиа и Н. Г. Черибышевского.

Эта философия говорнла, что иадо стать на коикретную почву и рассматривать предметы с точки [зрения] обстоятельств времени и места. Но этн обстоятельства изменчивы. Поэтому все течет, все изменяется, как говорнл замечательнейший дналектик древности—Гераклит. Ни в природе, нн в общественной жизни, ни в понятиях людей нет и ие может быть ничего такого, что могло бы претендовать на иеизмениость. Такнм образом застой лишается всякого теоретического оправдаиия, а вечное двнжеине оказывается основным законом всего существующего.

Это прекрасно выразил тот же Н. Г. Чернышевский: «Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания»,—восклицает он в своей статье «Критика философских предубеждений против общинного землевладения»,—кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению,—о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие!

Повторяя за поэтом:

> Ich hab'mein Sach' auf Nichts gestellt
> Und mir gehort die ganze Welt..

он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «Пусть будет что будет, а будет все-таки на нашей улице праздник!».

И эту-то алгебру прогресса (по выражению другого нашего прогрессиста) осмеливаются называть философией реакции жалкие люди, лишенные всякого философского образования, не прочитавшие ни одной страницы из сочинений Гегеля и вряд ли даже издали видавшие эти сочинения! Невежество всегда было самоуверенно, задорно и хвастливо, но в данном случае оно перешло всякую меру в своей самоуверенности и задорности и в своем хвастливом стремлении «критиковать» совершенно незнакомые предметы!

Однако,—спросит иной читатель,—неужели Гегель в самом деле никогда не насиловал фактов и их действительных отношений в угоду своей теории? Неужели лишены всякого основания те горькие упреки, которые так изобильно сыпались и до сих пор сыплются на него со стороны его противников?

Пословица говорит, что дыма без огня не бывает.

Пословица не лжет, отвечу я; упреки, сыпавшиеся на Гегеля, не лишены основания: Гегелю действительно случалось насиловать факты в интересах теории, хотя я и не думаю, что он грешил этим грехом больше, чем, например, Ф. А. Ланге, до неузнаваемости исказивший историю материализма в интересах так называемой критической философии.

Но во всяком случае диалектика тут не при чем.

Гегель насиловал (когда насиловал) факты вовсе не потому, что он держался диалектического метода, который требовал величайшего внимания к действительным отношениям вещей. Насилие над фактами становилось иногда неизбежно для Гегеля благодаря идеализму, насквозь пропитывавшему его философскую систему. Чтобы понять это, достаточно припомнить, как обстояло дело в гегелевой философии истории.

В качестве диалектика Гегель, в противоположность просветителям XVIII века, смотрел на историю как на процесс развития, который мы должны понять в его необходимости,

т.-е., другими словами, в его законосообразности [1]). Для достижения этой цели должно служить прежде всего исследование фактов: «Мы должны брать историю как она есть,—говорит Гегель,—мы должны поступать эмпирически, и, между прочим, мы не должны поддаваться влиянию историков-специалистов—особенно немецких, которые пользуются большим авторитетом и которые делают то самое, в чем они упрекают философов, т.-е. позволяют себе априорные выдумки в истории [2]). И не думайте, что это резкое осуждение «априорных выдумок» было в устах Гегеля простой фразой. Нет, кто внимательно прочитал его «Uorlesungen über die Philosophie der Geschichte», тот знает, как вдумчиво относился он к бывшему в его распоряжении эмпирическому материалу. В этих «Чтениях» рассыпана масса драгоценнейших указаний на реальную, не выдуманную, причинную связь исторических явлений. А что касается до высказанных в них соображений о влиянии географической среды на историческое развитие человеческих обществ, то они просто поражают своим трезвым реализмом. Прочтите главу «Geographische Grundlage der Weltgeschichte» и сравните ее с книгой Мечникова «La civilisation et les grands fleuves historiques» или с известным сочинением Ратцеля «Anthropogeographie», вы увидите, как близки в этой области взгляды Гегеля ко взглядам современной нам науки.

Но в своем качестве абсолютного идеалиста Гегель полагал, что логическое развитие абсолютной идеи составляет основную, самую глубокую причину всех явлений природы и общественной жизни. Поэтому естествознание и история являлись у него чем-то вроде прикладной логики. Таким образом диалектика была «поставлена вверх ногами», и тот самый человек, который говорил, что мы должны брать историю, как она есть, и предупреждал своих слушателей против «априорных выдумок», сам далеко не чужд был таких выдумок и насиловал свой эмпирический материал в тех случаях, когда он не входил в их рамки [3]).

Переворачивание диалектики «вверх ногами» составляет чрезвычайно интересную и для нас поучительную черту гегелевых «Чтений» о всемирной истории. Оно, без сомнения, подрывало их научное достоинство. Но виновата тут не диалектика, виноват идеалистический характер гегелевой философии. И когда Фейербах, а за ним Маркс разоблачили несостоятельность гегелевского идеализма, то они тем самым поставили диалектику на ноги

---

[1]) «Die Weltgeschichte ist ein Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit,—ein Fortschritt den wir in seiner Nothwendigkeit zu erkennen haben». («Всемирная история—это прогресс в сознании свободы,—прогресс, который мы должны признать в его необходимости»] («Philosophie der Geschichte», изд. Эд. Ганса, стр. 22).

[2]) Ibid., S. 13.

[3]) Подробнее об этом см. в статье «Zu Hegel's sechszigstem Todestag» в «Neue Zeit» 1891 года.

и сделали из нее могучее орудие научного исследования[1]). Относить на счет материалистической диалектики Маркса несостоятельность гегелевского идеализма значит или совсем не понимать положения дела, или умышленно искажать его до неузнаваемости.

Г. А. знать не хочет другой научной методы, кроме индуктивной. Нетрудно было бы показать ему, что в деле научного исследования дедукция имеет такие же права, как индукция[2]). Но это отвлекло бы меня в сторону. Я говорю о диалектике и не хочу уклоняться от своего предмета. Посмотрим же, исключает ли индукция диалектику.

В немецкой естественно-научной литературе есть сочинение, называющееся «Natürliche Schöpfungsgeschichte» и написанное тем самым Геккелем, «монизм» которого г. А. так охотно противопоставляет материализму Маркса. Первые главы этого сочинения содержат в себе характеристику взглядов Линнея, Кювье, Агассица и других естествоиспытателей старого, до-дарвинского направления. Я очень советую г. А. внимательно вдуматься в эту характеристику.

А чтобы помочь ему в этом, я спрошу его, с помощью какого метода выработали свои взгляды Линней, Кювье и Агассиц? Другими словами, умели ли эти первоклассные ученые пользоваться индукцией? Всякий, нелишенный естественно-научного образования человек, ни минуты не колеблясь, ответит на этот вопрос утвердительно: да, эти ученые умели пользоваться индукцией и пользовались ею; они пришли к своим взглядам именно с помощью индуктивного метода. Прекрасно. Но чем же отличаются эти взгляды, выработанные путем индукции, от тех взглядов, которые Дарвин, Геккель и другие натуралисты выработали впоследствии тем же путем индукции?

[Сам Геккель отвечает на это так: «По мнению Дарвина и его последователей, разные виды, принадлежащие к одному и тому же роду животных и растений, представляют различно развившиеся породы из одних и тех же первоначальных форм... Затем, согласно учению о развитии, все роды одного и того же порядка также происходят от одной общей формы, и то же самое можно сказать относительно всех классов одного и того же порядка. Но, исходя из противоположной точки зрения, противники Дарвина держатся мнения, что все виды животных и растений друг от друга совершенно не зависимы, но от одной общей формы происходят лишь те индивидуумы, которые принадлежат к

---

[1]) Фейербах говорит о несостоятельности гегелева идеализма во многих своих сочинениях; для примера укажу на «Grundsätze der Philosophie der Zukunft». Маркс остроумно критикует идеализм Гегеля в книге: «Die heilige Familie oder Kritik der Kritischen Kritik».

[2]) Г. А. может прочитать об этом у часто цитируемого им Д. С. Милля в «System of Logic», vol. 1, p. 536—539, eighth edition.

одному и тому же виду... Это понятие Линней формулировал в следующих словах: «Существует столько видов, сколько их сначала создало высшее существо»]. (Species tot sunt diversae, quot diversas formas ab initio creavit infinitum ens)[1]).

Заметьте это отличие и вспомните, как характеризует Энгельс миросозерцание метафизиков:

«Для метафизика вещи и их умственные образы, т.-е. понятия, суть отдельные, неизменные, застывшие, раз навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один после другого и один независимо от другого». Не правда ли, эта характеристика как нельзя лучше подходит к Линнею и к державшимся за Линнея противникам Дарвина, смотревшим на растительные и животные виды как на неизменные, застывшие, раз навсегда данные формы? Но если это так, то мы можем, употребляя терминологию Энгельса, назвать старое учение о видах метафизическим. А теперь посмотрите, как характеризуется тем же Энгельсом диалектическое миросозерцание. Диалектика рассматривает вещи и их умственные отражения (понятия) в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении: «Природа есть пробный камень диалектики, и современное естествознание... доказало, что в природе, в конце концов, все совершается диалектически, а не метафизически, что она движется не в вечно однородном, постоянно сызнова повторяющемся круге, а переживает действительную историю. Здесь прежде всего следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, доказавши, что весь современный органический мир, растения и животные суть продукты процесса развития, длившегося миллионы лет». Как видим, диалектическое миросозерцание Энгельса (а также, конечно, и Маркса) есть то самое миросозерцание, которое отстаивает—в применении к природе—Эрнест Геккель. Но ведь диалектические взгляды Эрнста Геккеля выработаны были индуктивным путем, точно так же как и метафизические взгляды Линнея, Кювье, Агассица и других светил старой биологии. Что же это означает? Это означает, что диалектическое миросозерцание так же мало исключает индукцию, как и метафизическое. А потому противопоставлять индукцию диалектике по меньшей мере странно.

Индукцией называется обобщение с помощью опыта [2]). Такое обобщение не вовсе исключается взглядом на предметы как на независимые, неизменные, раз навсегда данные. Поэтому

---

[1]) Ср. «Natürliche Schöpfungsgeschichte» Геккеля, Берлин 1868, стр. 34.

[2]) «Induction properly so called... may... be summarily defined as Generalisation from Experience» [«Индукция, правильно так названная... может... быть в конечном счете определена как обобщение, полученное из опыта»]. J.-S. Mill, l. c., vol. 1, p. 354.

дукция совместима с метафизическим миросозерцанием. И точно так же обобщение, основанное на опыте, местимо со взглядом на предметы как на стоящие во взаимной зи и находящиеся в процессе постоянного изменения.

Поэтому индукция вполне совместима также и диалектическим взглядом на вещи. Если же г. А. пугает нас, ронников диалектики, индукцией, то это происходит единственно ому, что он так же мало понял природу индукции, как и природу лектики.

Индукция не только не исключает диалектики, но, накопляя за нащих обобщений, она необходимо обнаруживает рано или поздно остоятельность метафизического взгляда и приводит диалектическому. Это прекрасно доказывается историей логии, в чем г. А. может убедиться, прочитав хотя бы только цированную мною геккелеву «Natürliche Schöpfungsgehichte».

Заметьте, кроме того, что диалектическое мышление исключает также и метафизического: оно только одит ему известные пределы, за которыми начинается царство лектики. Этого не хотят принять во внимание «критики» диалектикого метода, а между тем это было превосходно раз'яснено еще елем. По Гегелю, познание начинается с того, что существующие дметы берутся в их отдельности и в их различиях. Так, например, и изучении природы различаются отдельные вещества, силы, роды и оч., которые «фиксируются» в этой своей изолированности. Пока ло происходит, таким образом, в научном мышлении господствует ассудок» со своими метафизическими приемами [1]. знание не останавливается на этой ступени. Оно идет дальше, и льнейший его успех состоит в переходе с рассудочной (или тафизической) точки зрения на точку зрения «разума» и диалектики. «Разум» не останавливается перед установленми рассудком разграничениями. Если рассудок фиксировал предты и явления как неизменные, независимые и отделенные друг от уга непереходимою пропастью, то разум исследует эти предметы и ения в процессе их изменения, в процессе их возникновения и униожения, в процессе их взаимодействия и перехода одного в другое [2].

Если вы захотите отвлечься от несколько странного впечатления, оизводимого необычной теперь терминологией («рассудок», «ра-

---

[1]) Гегель не только не игнорирует прав «рассудка», но энергично отстаивает даже в таких областях, которые, казалось бы, очень далеки от рассудочности, ример, в религии, в искусстве, в философии. Он делает чрезвычайно тонкое ечание насчет того, что всякое удачное драматическое произведение предполат целый ряд точно определенных понятий. А что касается философии, то она, его словам, требует прежде всего точности (Präcision) мыслей (см. W. Hegel's Werke, sechster Band, S. 150—151).

[2]) См. восьмидесятый параграф так называемой большой «Энциклопеи» Гегеля (часть 1).

зум»), то вы согласитесь, что это рассуждение Гегеля о правах «р а с с у д к а» сравнительно с правами «р а з у м а» совершенно верно по своему существу и что оно чрезвычайно метко определяет ход развития науки. Если бы не странная теперь терминология, то, читая его, можно было бы подумать, что читаешь трактат какого-нибудь современного (NB нелишенного философского образования) дарвиниста, задавшегося целью беспристрастно определить, как относятся [взгляды Линнея и взгляды других сторонников учения о неизменности видов к более передовым взглядам Дарвина и его учеников. Возможно ли после этого болтать о «ненаучности» мышления Гегеля? Но г. А. не понимает, почему Энгельс называет метафизическими взгляды на виды животных и растений, подобные взглядам Линнея. По его мнению, слово «метафизика», «метафизическое» означает что-то совсем другое. Давайте будем «просвещать» господина «критика».

Что такое метафизика? Каков ее предмет?—Предмет метафизики «безусловное» или «первоначало» (безграничное, абсолютное). Но что является главным отличительным признаком «безусловного», «первоначала» в учениях старой до-кантовской философии?—Конечно, неизменяемость, постоянство. И это потому, что безусловное, неизменное, беспредельное не зависимо от условий времени и пространства, изменяющих всякий предмет и явление. Вот отчего оно (безусловное) неизменно.

Теперь рассмотрим, каков тот отличительный признак познания, которым пользуются лица, называемые Энгельсом метафизиками. Отличительным признаком этого познания, как это видно из познания видов Линнеем, является неизменность. Само познание в этом случае по-своему безгранично, безусловно. Следовательно, природа такого познания однородна с природой «безусловного», составлявшего предмет старой метафизики.

Вот почему Гегель называет метафизическими все те науки, которые, по его терминологии, создаются рассудком, т.-е. которые неизменны, отделены друг от друга пропастью [1]). И если г. А. усвоит все это, для него неожиданно новое, он поймет, что Энгельс не был первым писателем, употребившим термин «метафизическое», «диалектическое» в нашем смысле. Начало такой термино]логии положено еще Гегелем.

Г. А. старается противопоставить Энгельсу Маркса. Он цитирует страницы, посвященные Марксом и с т о р и и ф р а н ц у з с к о г о м а т е р и а л и з м а. Из этих страниц видно, что, когда Маркс писал их, он употреблял слово «м е т а ф и з и к а» не в том смысле, который я только что раз'яснил и который имел в виду Энгельс. Маркс называл тогда метафизикой в с ю и д е а л и с т и ч е с к у ю н е м е ц к у ю

[1]) Для точной характеристики этих взглядов я привел учение Линнея о видах. Но, разумеется, в истории науки об обществе не меньше, если не больше, ясных примеров для этого. Вспомните сказанное выше об утопистах и просветителях. Для выяснения взглядов Гегеля на старую метафизику было бы полезно прочитать § 31 его большой «Энциклопедии».

философию. Разумеется, г. А. торжествует, изловив это будто бы противоречие. Он и не подозревает, какое значение имеет оно в истории умственного развития Маркса.

Дело вот в чем. Страницы, цитируемые г. А., составляют главу (впоследствии напечатанную отдельно) книги, написанной Марксом в сотрудничестве с Энгельсом под названием «Die heilige Familie oder Kritik der Kritischen Kritik» и вышедшей в свет во Франкфурте-на-Майне в 1845 г. В то время, когда писалась эта книга, разрыв с гегелевым идеализмом был для Маркса еще сравнительно свежим воспоминанием, да и сам этот идеализм оставался еще очень опасным врагом. «У реального гуманизма в Германии,—говорили Маркс и Энгельс в предисловии к названной книге,—нет более опасного врага, чем спиритуализм, или спекулятивный идеализм». В момент борьбы трудно предохранить себя от крайностей и почти невозможно уберечься от несправедливости по отношению к врагу. Не был справедлив и Маркс к немецкому идеализму. Он третировал его как метафизику [1]), противопоставляя ему материализм. Но впоследствии он увидел, что зашел слишком далеко.

Он вспомнил методологические заслуги немецкого идеализма и понял, что старый материализм, нашедший свое выражение во французском материализме восемнадцатого века, далеко не свободен был от недостатков, свойственных старой метафизике. Тогда он перестал употреблять слово «метафизика» в том смысле, какой он придавал ему в книге «Die heilige Familie». Это слово получило у него более точный смысл, раз'ясненный мною выше и установленный еще Гегелем. Этот смысл и имеет оно в инкриминируемых г. А. сочинениях Энгельса. Значит, к чему же сводится открытое г. А. несогласие Маркса с Энгельсом?—К тому, что слово «метафизика» употреблено было Марксом в книге «Die heilige Familie» не в том смысле, в каком Энгельс употребил в семидесятых годах в книге «Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft» [2]). Вот и все Это немногое. Но это немногое станет еще меньше, если мы вспомним, что в сороковых годах сам Энгельс употреблял слово метафизика в том же смысле, в каком употреблял его тогда Маркс [3]), а в семидесятых годах (и уже

---

[1]) Повод к этому дало то обстоятельство, что сам Гегель, так хорошо разоблачивший природу старой метафизики, находил, что без метафизики все-таки обойтись нельзя, и стремился выработать новую, которая, по его мнению, могла освободиться от недостатков старой. Он прямо говорил, что диалектический элемент философии должен быть дополнен метафизическим. Идеализм Гегеля состоял из этих двух элементов, и когда Маркс называл его метафизикой, он имел в виду не диалектический, а метафизический его элемент.

[2]) Из этой книги взята выше приведенная характеристика метафизического и диалектического миросозерцания.

[3]) См. ту же книгу «Die heilige Familie», которая написана была, как я уже сказал, Марксом в сотрудничестве с Энгельсом.

гораздо ранее) сам *Маркс стал употреблять это слово в том самом смысле, какой придавал ему Энгельс в полемике с Дюрингом*. Доказательством могут служить, между прочим, те критические замечания о «*материализме естествоиспытателей*», которые г. А. встретил в первом томе «Капитала» и которые привели его в большое раздражение [1]). Эти замечания разоблачают именно то, что Энгельс называл *метафизическим элементом старого материализма*. Но это—*косвенное* доказательство, смысл которого может оказаться скрытым для г. А. Вот более прямое: книга «*Herrn Eugen Dühring's Umwälzung der Wissenschaft*» написана была Энгельсом в тесном идейном общении и *даже в сотрудничестве* с Марксом. Энгельс не раз заявляет в ней, что он излагает взгляды, *общие ему с Марксом*. Если бы Маркс находил, что это не так и что Энгельс иначе, чем он, смотрит на метафизику, то он, разумеется, дал бы понять это читателям. Он не сделал этого. Стало быть, его тогдашнему взгляду нимало не противоречила употребляемая Энгельсом терминология.

Изменение того смысла, в котором Маркс и Энгельс употребляли слово «*метафизика*», можно назвать интересной чертой из истории их умственного развития; но видеть в нем какое-то противоречие и противопоставлять Маркса *сороковых* годов Энгельсу *семидесятых*—может только человек, решительно не желающий или совсем не умеющий думать.

Г. А. огорчается также тем, что Бэкон и Локк выходят у Энгельса метафизиками. Но Энгельс дает им это название в том самом смысле, в каком он дал бы его и Линнею, т.-е. в том, что они не стояли на *диалектической* точке зрения. *Прав* был Энгельс, или *неправ*? *Если неправ*, то г. А. должен был обнаружить ошибку Энгельса, показав диалектический характер философии Бэкона и Локка, но г. А. не делает этого по той простой причине, что он не знает ни Бэкона, ни Локка [2]), ни метафизики, ни диалектики. Он ограничивается тем, что *шумит по поводу употребления слов, смысл которых остался ему неизвестен*. Вот так критик!

Однако пора кончать. В следующем письме я рассмотрю этого критика с другой стороны; но я не ручаюсь за то, что эта другая его сторона произведет более благоприятное впечатление, чем та, с которой мы уже ознакомились. Напротив, я очень опасаюсь, что тогда, как и теперь, нам придется сказать, прислушиваясь к раскатам его критического грома:

**Это гром не из тучи!**

---

[1]) О Локке мне придется говорить в следующем письме, где я покажу, как плохо понял его г. А.

[2]) О комичности этого раздражения я поговорю в одном из следующих писем.

# Г. В. Плеханов и исторический материализм.

*И. Разумовский.*

В современных суждениях о Плеханове наблюдаются две крайности—обе вредные и глубоко ошибочные.

С одной стороны, замечается наклонность к некоторой «канонизации» чуть ли не всего плехановского теоретического наследия. Отдельные, классические произведения Плеханова давно превратились в учебные пособия, ссылками на его непререкаемый авторитет пестрят работы новейших авторов, а кое-кто готов искать у Плеханова едва ли не все источники позднейшей, революционно-марксистской, большевистской ортодоксии. Другие авторы занимают в этом отношении прямо противоположную позицию. Их излюбленный метод—сравнение, проводимое между Плехановым и Лениным, и пренебрежительное изобличение грехов и недостатков плехановской философской и исторической концепции. А так как этих ошибок и недостатков не мало, то основоположник русского марксизма без большого труда превращается ими в самого дюжинного либерала. Уж подлинно—в данном случае—этот основоположник имел бы особое право повторить известное изречение Гейне: «Я посеял драконов, а уродились... блохи!».

Правда, нелегко судить, у кого именно подход более чреват заблуждениями: у «кровожадных» зоилов Плеханова, или у его чересчур ретивых благожелателей? До того много в обеих оценках «суб'ективистских» натяжек и однобокого—хотя бы и с самыми благими целями!—«просветительства». И до того мало в них самого «главного» в марксизме—его исторического понимания!

Между тем, несомненно, что в теоретических воззрениях Плеханова мы имеем сейчас уже нашу историю. Их развитие нельзя изучать вне той исторической обстановки, в которой они развертывались и создавались. Только при этом условии мы можем составить правильное представление о них, как об определенной исторической ступени в развитии российского и международного марксизма. И тогда ясно станет, что теоретические заслуги Плеханова настолько велики, что нет никакой нужды замалчивать его давно «преодоленные» в дальнейшем развитии марксизма недостатки. Но именно поэтому и резкая критика этих ошибок также должна сейчас уже уступить место другому—их историческому об'яснению. Только в таком аспекте могут получить надлежащее освещение, а, стало быть, известное историческое «оправдание»—и блестяще вскрытые Лениным недостатки плехановской диалектики, и грехи его «либеральной» исторической концепции, и все прочие теоретические подводные камни, которые на практике неумолимо влекли Плеханова на мель политического оппортунизма.

С этой точки зрения небесполезно будет остановиться на некоторых проблемах исторического материализма, в трактовке их Плехановым.

I.

Начнем с наиболее общих моментов—с вопроса об историческом материализме, как науке, и о соотношении историко-материалистического мышления с буржуазным социологическим и историческим пониманием.

Для состояния социальной науки в эпоху, когда выступил Плеханов, характерным было отсутствие отчетливого понимания связи между социальной методологией и философией и, в частности, чрезвычайно легкое отношение к классической философской традиции. Как хорошо известно, наиболее ранним течением, с которым Плеханову пришлось вступить в теоретическую борьбу, был утопизм русской «суб'ективной социологии». Последней были глубоко чужды те влияния материалистической и диалектической философии, которые еще так сильно сказываются у прежних русских утопистов—Белинского и Чернышевского. Знакомясь с Гегелем лишь «по Льюнсу» и «по учебнику уголовного права Спасовича», суб'ективная социология зато усиленно питалась современным ей западным позитивизмом Спенсера и Дюринга. В частности, влияние дюрингианства было настолько сильно в народнической литературе, что его нелегко было преодолеть и самому Плеханову, который еще в 1879 г. включает в одну блестящую плеяду «Родбертуса, Энгельса, Маркса и Дюринга» [1]).

Несколько позже, к концу девяностых годов, в буржуазной философии пышным цветом расцвело неокантианство, которое оттеснило позитивизм и, в лице Г. Риккерта, с одной стороны, Р. Штаммлера, с другой, выдвинуло ряд характерных для него положений в области социальной методологии. Общеизвестно влияние, оказанное им на бернштейновский ревизионизм на Западе, а затем и на социальную философию наших отечественных «струвистов» и «веховцев». До чего сильны были чары неокантианской философии,—окончательно порывавшей с материалистической традицией даже в том вульгарном виде, в каком ее представлял Дюринг,—показывает письмо тогдашнего столпа марксистской ортодоксии К. Каутского к Плеханову, относящееся к 1898 г.: «Я должен открыто заявить, что неокантианство меня смущает менее всего... Я думаю, что экономическая и историческая точка зрения Маркса и Энгельса в крайнем случае совместима с неокантианством...» [2]).

Наконец, немаловажна и та отрицательная роль, которую сыграла в развитии исторической теории марксизма эпидемия эмпириокритицизма. Если неокантианство ставило «границы» социальному познанию и подменяло причинное изучение тенденций общественного развития безобидной «идеографией», то эмпириокритицизм приводил к подмене диалектики абстрактной схематикой, к идеалистическому истолкованию основных категорий исторического материализма, к шулятиковской вульгаризации марксизма.

В этом девственном лесу идеалистической путаницы и теоретиче-

[1]) «Законы экономического развития общества и задачи социализма в России», Соч., т. 1.

[2]) Переписка К. Каутского и Г. Плеханова, Группа «Освобождение Труда», сб. 5, стр. 227.

# Г. В. Плеханов и исторический материализм.

*И. Разумовский.*

В современных суждениях о Плеханове наблюдаются две крайности—обе вредные и глубоко ошибочные.

С одной стороны, замечается наклонность к некоторой «канонизации» чуть ли не всего плехановского теоретического наследия. Отдельные, классические произведения Плеханова давно превратились в учебные пособия, ссылками на его непререкаемый авторитет пестрят работы новейших авторов, а кое-кто готов искать у Плеханова едва ли не все источники позднейшей, революционно-марксистской, большевистской ортодоксии. Другие авторы занимают в этом отношении прямо противоположную позицию. Их излюбленный метод—сравнение, проводимое между Плехановым и Лениным, и пренебрежительное изобличение грехов и недостатков плехановской философской и исторической концепции. А так как этих ошибок и недостатков не мало, то основоположник русского марксизма без большого труда превращается ими в самого дюжинного либерала. Уж подлинно—в данном случае—этот основоположник имел бы особое право повторить известное изречение Гейне: «Я посеял драконов, а уродились... блохи!».

Правда, нелегко судить, у кого именно подход более чреват заблуждениями: у «кровожадных» зоилов Плеханова, или у его чересчур ретивых благожелателей? До того много в обеих оценках «суб'ективистских» натяжек и однобокого—хотя бы и с самыми благими целями!—«просветительства». И до того мало в них самого «главного» в марксизме—его исторического понимания!

Между тем, несомненно, что в теоретических воззрениях Плеханова мы имеем сейчас уже нашу историю. Их развитие нельзя изучать вне той исторической обстановки, в которой они развертывались и создавались. Только при этом условии мы можем составить правильное представление о них, как об определенной исторической ступени в развитии российского и международного марксизма. И тогда ясно станет, что теоретические заслуги Плеханова настолько велики, что нет никакой нужды замалчивать его давно «преодоленные» в дальнейшем развитии марксизма недостатки. Но именно поэтому и резкая критика этих ошибок также должна сейчас уже уступить место другому—их историческому об'яснению. Только в таком аспекте могут получить надлежащее освещение, а, стало быть, известное историческое «оправдание»—и блестяще вскрытые Лениным недостатки плехановской диалектики, и грехи его «либеральной» исторической концепции, и все прочие теоретические подводные камни, которые на практике неумолимо влекли Плеханова на мель политического оппортунизма.

С этой точки зрения небесполезно будет остановиться на некоторых проблемах исторического материализма, в трактовке их Плехановым.

I.

Начнем с наиболее общих моментов—с вопроса об историческом материализме, как науке, и о соотношении историко-материалистического мышления с буржуазным социологическим и историческим пониманием.

Для состояния социальной науки в эпоху, когда выступил Плеханов, характерным было отсутствие отчетливого понимания связи между социальной методологией и философией и, в частности, чрезвычайно легкое отношение к классической философской традиции. Как хорошо известно, наиболее ранним течением, с которым Плеханову пришлось вступить в теоретическую борьбу, был утопизм русской «суб'ективной социологии». Последней были глубоко чужды те влияния материалистической и диалектической философии, которые еще так сильно сказываются у прежних русских утопистов—Белинского и Чернышевского. Знакомясь с Гегелем лишь «по Льюису» и «по учебнику уголовного права Спасовича», суб'ективная социология зато усиленно питалась современным ей западным позитивизмом Спенсера и Дюринга. В частности, влияние дюрингианства было настолько сильно в народнической литературе, что его нелегко было преодолеть и самому Плеханову, который еще в 1879 г. включает в одну блестящую плеяду «Родбертуса, Энгельса, Маркса и Дюринга» [1]).

Несколько позже, к концу девяностых годов, в буржуазной философии пышным цветом расцвело неокантианство, которое оттеснило позитивизм и, в лице Г. Риккерта, с одной стороны, Р. Штаммлера, с другой, выдвинуло ряд характерных для него положений в области социальной методологии. Общеизвестно влияние, оказанное ими на бернштейновский ревизионизм на Западе, а затем и на социальную философию наших отечественных «струвистов» и «веховцев». До чего сильны были чары неокантианской философии,—окончательно порывавшей с материалистической традицией даже в том вульгарном виде, в каком ее представлял Дюринг,—показывает письмо тогдашнего столпа марксистской ортодоксии К. Каутского к Плеханову, относящееся к 1898 г.: «Я должен открыто заявить, что неокантианство меня смущает менее всего... Я думаю, что экономическая и историческая точка зрения Маркса и Энгельса в крайнем случае совместима с неокантианством...» [2]).

Наконец, немаловажна и та отрицательная роль, которую сыграла в развитии исторической теории марксизма эпидемия эмпириокритицизма. Если неокантианство ставило «границы» социальному сознанию и подменяло причинное изучение тенденций общественного развития безобидной «идеографией», то эмпириокритицизм приводил к подмене диалектики абстрактной схематикой, к идеалистическому истолкованию основных категорий исторического материализма, к шуляткиковской вульгаризации марксизма.

В этом девственном лесу идеалистической путаницы и теоретиче-

---

[1]) «Законы экономического развития общества и задачи социализма в России», Соч., т. I.

[2]) Переписка К. Каутского и Г. Плеханова, Группа «Освобождение Труда», сб. 5, стр. 227.

ского эклектизма Плеханову первому приходилось прорубать тропы, ведущие к великим историческим предтечам и истокам марксизма — к французскому материализму, к диалектике Гегеля, к предшественникам материалистического понимания истории. Совершенно понятным становится тот повышенный *интерес*, который проявляет Плеханов к этим вершинам буржуазного философского мышления и тот особый, *методологический* аспект, в котором он подвергает критической оценке их социально-исторические высказывания. История философии и социальной мысли привлекает внимание Плеханова не столько сама по себе,—не с точки зрения логической согласованности отдельных философских систем,—но, главным образом, со стороны содержащихся в этих системах в зародыше идей, которые явились историческими *этапами* на пути развития диалектического и исторического материализма.

Указанную сторону, сторону *идейной преемственности*, Плеханов умеет подчеркнуть со всем блеском своего таланта и своей философской глубины, давая нам представление о марксизме, как наиболее развитой и *конкретной* истине, вбирающей в себя все богатство «преодоленных» ею идей исторического прошлого: «Марксово понимание истории, которое невежды считают узким и односторонним, в действительности есть законный продукт векового развития исторических идей. Оно *содержит их все*, поскольку они имеют действительную ценность, и придает им *более прочное основание*, чем то, которое они имели в какой-либо период своего расцвета. Поэтому оно, употребляя... выражение Гегеля, *самое развитое, богатое и конкретное*»[1]). И в другом месте: «исторический материализм Карла Маркса не осуждает поголовно и без разбора исторические идеи предыдущих школ; он только освобождает эти идеи от фатального противоречия, благодаря которому эти идеи не могли выйти из заколдованного круга»[2]).

Процесс развития марксистской философии социальной науки, таким образом, обнаруживается перед нами, как процесс *закономерный*. Но основы этой закономерности заложены в *материальной* общественной жизни, в самом общественном развитии: идеи, которые вбирают в себя исторический материализм, потому и имели «действительную ценность», что они соответствовали *определенным фазам* общественного развития. «Общество проходит в своем развитии *известные фазы, которым соответствуют известные фазы развития общественной науки*. То, что мы называем, например, *буржуазной* экономией, есть одна фазис развития экономической науки, то, что мы называем *социалистической* экономией, есть другая фаза ее развития... Поскольку буржуазная экономия *соответствует* определенной фазе общественного развития, постольку она заключает в себе *научную истину*. Но эта истина *относительна* именно потому, что она соответствует *только известному фазису общественного развития*»[3]). Точно также и утопический социализм соответствовал определенному этапу исторического развития, а постольку и утописты «старались *создать общественную науку*», проливая свет на многие стороны исторического процесса, они тем самым «*подготовляли* научное об'яснение обществен-

---

[1]) *Плеханов*, Соч., т. VIII, стр. 146.

[2]) Там же, стр. 25.

[3]) *Плеханов*, Соч., т. XI, стр. 88; курсив Плеханова.

ных явлений» [1]). Наконец, новый общественный физис, развитие промышленного капитализма, необходимо влечет за собою новую научную истину, истину *научного социализма*. Это учение представляет собою отрицание и, вместе с тем, «преодоление» всех прежних научных, но ставших относительными истин: оно,—как выразился Плеханов еще в «Социализме и политической борьбе», повторяя слова Гайма о философии Гегеля,—«привязывает к своей триумфальной колеснице каждое побежденное им мнение»...

Но «освобождение идей от противоречий», очевидно, отнюдь не означает простого их повторения. И Плеханов дает отчетливое представление о том *своеобразии*, которое приобретает проблема социальной науки в историческом материализме. Оно заключается в том, что все регулятивные идеи и категории социального бытия, которые выдвигало предшествовавшее марксизму философское развитие и которые никак не может увязать между собой современная буржуазная наука,—что все они укладываются в стройную систему синтетического мышления: связь их получает *методологическое* значение в свете материалистической философии. Так именно обстоит с понятиями *общей* закономерности и *особенного*, индивидуального развития, *об'ективного* процесса и сознания *суб'екта*, общественной *необходимости* и *свободы* воли, той же необходимости и исторической *случайности*,—«среды» и «мнений», *каузального* изучения и социальной *теологии*, конечной причины и взаимодействия «факторов» и т. д. Подобное синтетическое разрешение названных проблем оказалось возможным только потому, что «философско-историческая сторона учения Маркса», его «социальная философия» составляет «сторону» его всеоб'емлющего, *целостного миросозерцания*.

Нельзя, как это делает Эд. Бернштейн, отрывать исторический материализм от его *философских* основ и видеть в одном только материалистическом об'яснении истории «важнейший элемент в основе марксизма». «Материалистическое об'яснение истории действительно является одним из самых главных отличительных признаков марксизма»—отвечает Плеханов Бернштейну, а заодно и всем современным вульгаризаторам исторического материализма.—Но это об'яснение все-таки составляет лишь *часть материалистического миросозерцания Маркса-Энгельса*. Критическое исследование их системы должно поэтому начинаться с критики общих *философских* основ этого миросозерцания» [2]). Именно в силу своей тесной связи с материалистической философией, материалистическое об'яснение истории могло стать у Маркса научным *завершением* всего прошлого развития социальной методологии и необходимыми *предпосылками* всего будущего социальной науки. Исторический *материализм*, по словам Плеханова, приобретает прежде всего *методологическое значение*» и дает «необходимые *пролегомены для всякого такого учения о человеческом обществе, которое захочет выступить, как наука*» [3]).

Мы видим, таким образом, что историческая обстановка, в которой Плеханов ведет борьбу с различными разновидностями исторического *идеализма*, заставляет его с особенной силой подчерки-

---

[1]) Там же, стр. 76.
[2]) Там же, стр. 36; курсив Плеханова.
[3]) *Плеханов*, Соч., т. XVIII, стр. 199, 222; курсив Плеханова.

вать материалистическую сторону своего методологического принципа. Но «материалистическое об'яснение» истории есть для Плеханова, вместе с тем, и диалектическое ее «об'ясиение». Что это так, с несомненностью показывает самый характер «синтетического» разрешения наиболее общих вопросов исторического материализма—в частности, вопроса о соотношении между социологией и историей.

«Суб'ективная социология» российских народников, с которой, как сказано, ранее всего пришлось столкнуться Плеханову, была лишь иным выражением исторического идеализма и социального утопизма. Рассмотрение общих тенденций исторического развития в ней сохранялись, но они превращались в идеалы «должного», оторванного от «сущего»—от особенностей действительного исторического движения. В противоположность утопизму нашей отечественной мелкой буржуазии, западно-европейская буржуазная мысль выдвинула ту же идею отказа от об'ективно-причинного изучения общественной жизни—в неокантианской форме «границ исторического познания». На первый план выдвигалось «идеографическое» изучение, т.-е. описание особенного, индивидуальной физиономии исторических событий: познание общих законов ограничивалось областью естествознания, в общественной же жизни оно об'являлось невозможным и подменялось поисками некоторых высших «культурных ценностей», якобы наиболее существенных для работы историка.

Плеханов стремится найти материалистическое разрешение проблемы—в об'ективизме исторического изучения, в разграничении сфер социологии, занимающейся «общим», и истории, трактующей «особенное». Рассуждения его, в данном случае, и сейчас не утратили своего методологического интереса. Возражая тем «критикам», которые требовали от него «книги», дающей теоретическое оправдание историческому материализму, Плеханов указывает, что под историческим материализмом не следует понимать «что-то в роде краткого руководства по всемирной истории с материалистической точки зрения». Исторический материал «может быть накоплен только путем длинного ряда частных исследований». Требовать его сейчас—значит хотеть, «чтобы дело началось с конца, т.-е. чтобы был об'яснен предварительно с материалистической точки зрения тот исторический процесс, который собственно и подлежит об'яснению»[1]). Материалистическое об'яснение истории Плеханов расматривает лишь как «общее, алгебраическое решение» социологической проблемы—имея в виду «не арифметику общественного развития, а его алгебру; не указание причин отдельных явлений, а указание того, как надо подходить к открытию этих причин»[2]).

Точно также по поводу—социологического предвидения «Плеханов говорит, что оно «имеет своим предметом не отдельные события, а общие результаты общественного процесса...»[3]). Социология, совпадающая с историческим материализмом, таким образом, оказывается для него «алгеброй общественного развития», направленной лишь на общие законы и тенденции и доставляющей нам

---

[1]) Там же, стр. 236; курсив Плеханова.
[2]) Там же, стр. 199; курсив Плеханова.
[3]) Соч., т. XI, стр. 86.

лишь метод изучения причин отдельных исторических явлений. От «алгебры» нужно отличать «арифметику» общественного развития—его историю: «Общей причиной исторического движения человечества надо признать развитие производительных сил... Рядом с этой общей причиной действуют особенные причины, т.-е. та историческая обстановка, при которой совершается развитие производительных сил у данного народа» и т. д. [1]).

Аналогичным образом рассуждает Плеханов и в своей критике воззрений Риккерта. «Если значение всякого данного исторического процесса заключается именно в его своеобразии,—а это справедливо,—то этим еще вовсе не оправдывается противопоставление естествознания и истории». Плеханов указывает на существование промежуточных областей—«смешанных форм», по терминологии Риккерта—как, напр., геологии. Будучи науками естественными они в то же время являются историческими науками: хотя они пользуются общими понятиями, но изучают «особый» предмет, напр., историю земли. «История представляет собою совершенно такую же смешанную форму...—замечает Плеханов.—...В пределах своей науки—историк считает существенным то, что помогает ему определить причинную связь тех событий, совокупность которых составляет изучаемый им индивидуальный процесс развития»... «Но, кроме истории (в широком смысле), есть еще социология, которая занимается «общим» в такой же мере, как и естествознание. История становится наукой лишь постольку, поскольку ей удается об'яснить изображаемые ею процессы с точки зрения социологии. Поэтому она относится к социологии так же, как геология относится к «обобщающему» естествознанию» [2]).

Мысль Плеханова достаточно ясна. История действительно изучает «своеобразие», «индивидуальный характер» процессов. Но в то же время в известной мере она занимается и «общим»: ища причины каждого особого, индивидуального процесса, она обращается к наиболее для нее «существенному» принципу исторического изображения, к точке зрения марксистской социологии. Только эта высшая руководящая точка зрения — единства общего и особенного, точка зрения, устанавливающая закономерность, необходимость изображаемых индивидуальных процессов — и делает историю наукой. И, наоборот: только при таком понимании задач истории, понятие исторической необходимости перестает быть одной лишь абстрактной возможностью, перестает быть голой «алгебраической» формулой и приобретает конкретный, «арифметический» смысл. Так, напр., воззрение Чернышевского, что после некоторого, возможно очень малого исторического промежутка в развитии частной собственности, последняя вновь должна перейти в собственность общественную, это решение, по словам Плеханова, было только общей, алгебраической формулой—«абстрактной возможностью». «Говоря вообще, этот промежуток есть x, который в каждой отдельной стране приобретает особое арифметическое значение в зависимости от комбинации внешних и внутренних сил, определяющих ее историческое развитие... Абстрактная возможность еще не есть конкретная вероятность; тем

[1]) Соч., т. VIII, стр. 304.
[2]) Соч., т. XVII, стр. 191—193; курсив наш.

менее можно считать ее окончательным доводом там, где речь идет об исторической необходимости. Чтобы сколько-нибудь серьезно говорить об этой последней, нужно было бы перейти от алгебры к арифметике»[1]).

Диалектическое разрешение проблемы исторической науки лишний раз показывает, какую революцию производит в применении к социальным явлениям диалектический метод: по словам Плеханова, «мы обязаны ему пониманием истории человечества, как закономерного процесса»[2]). Диалектика истории впервые устанавливает правильное соотношение между исторической необходимостью и свободной деятельностью человека, между необходимостью и случайностью. «Человеческая деятельность сама определяется здесь не как свободная, а как необходимая, т.-е. как закономерная, т.-е. как могущая стать об'ектом научного исследования. Таким образом, исторический материализм, не переставая указывать на то, что обстоятельства изменяются людьми, в то же время впервые дает нам возможность взглянуть на процесс этого изменения с точки зрения науки»[3]). Точно также преодолевается социологией марксизма дуализм необходимости и целесообразности. «Социология становится наукой лишь в той мере, в какой ей удается понять возникновение целей общественного человека (общественную «теологию»), как необходимое следствие общественного процесса, обусловливаемого в последнем счете ходом экономического развития.

Это единство необходимости и свободы, закономерности и целесообразности человеческой деятельности охватывается у Плеханова высшей диалектической формулой—единства суб'екта и об'екта. Названное единство, по его словам, «вполне ясно человеку, усвоившему себе теорию единства суб'екта и об'екта и понявшему, каким образом обнаруживается это единство в общественных явлениях»[4]). Плеханов дает немало интересных указаний тому, какими извилистыми путями осуществлялась идея единства об'екта и суб'екта в общественной науке. Для просветителей XVIII в., не умевших никак преодолеть противоречие «среды» и «мнений», свободная историческая деятельность человека обнаруживается еще, как «беспорядочная игра случая»[5]). С другой стороны, для Сен-Симона, искавшего в истории «прежде всего закономерности», этот закон исторического развития приобретал мистический характер, превращался в какой-то фатум[6]). Но и в той и в другой крайности исторического мышления мы имеем уже дело с попыткой об'яснить развитие сознания независимыми от него причинами. В этом смысле приобретают серьезное значение ссылки на тиранию «случая», имевшие место у Руссо, а позже у Фурье. «Случайность» в данном случае об'ясняет то, что нельзя об'яснить сознательной деятельностью. «Ссылка на нее представляет собой первый, бессознательный и невольный шаг к признанию того, что развитие человеческого сознания обусловливалось причинами, от него не зависящими»[7]). Наконец, диалектический идеализм, в лице Шеллинга и Гегеля, впервые дает правильное

[1]) Соч., т. II, стр. 116—117.
[2]) Соч., т. VIII. стр. 129.
[3]) Соч., т. XVIII, стр. 222.
[4]) Там же, стр. 245.
[5]) Соч., т. VIII, стр. 129.
[6]) «К вопросу о развитии монистического взгляда», 1919, стр. 29—33.
[7]) Соч., т. XI, стр. 75.

разрешение вопроса об исторической необходимости, преодолевая одновременно и антиномию «среды» и «мнений», суб'екта и об'екта.

Тем самым заодно разрешается и антиномия общего и единичного, противоречие между общими тенденциями исторического развития и ролью отдельной личности. В самом деле, если «воля» личности предопределена общими причинами, то, спрашивается, как же сказывается она на изменении истории людьми? Тот фатализм, который характерен для Сен-Симона и историков реставрации, был основан на предположении, что «история человечества во всех своих подробностях предопределена общими свойствами человеческой природы»: мы имели тут «исчезновение индивидуального в общем». В материалистическом взгляде на историю,—указывает Плеханов,—«есть место и для единичного». Рядом с наиболее общими—социологическими — причинами и особенными причинами, обусловленными исторической обстановкой, имеет место и «действие причин единичных», т.-е. личных особенностей деятелей и т. д., придающих событиям их индивидуальную физиономию [1]).

Учение о свободе, как познанной необходимости, о практической деятельности, как необходимом ингредиенте закономерного развития, о переходе от абстрактной возможности к исторической реальности—все эти моменты,—по словам Плеханова,—достаточно показывают, «как тесно связан тактический «метод» Маркса и Энгельса с основными положениями их исторической теории» [2]). Последнее обстоятельство глубоко отличает марксизм и от буржуазных представителей т. н. «об'ективной» социологии, типа Э. Дюркгейма. Для Бернштейна, например, было совершенно непонятно, каким образом социализм, эта определенная «система мыслей», может быть наукой, как можно говорить о каком бы то ни было «предвидении» будущего развития—с точки зрения об'ективной общественной науки. Плеханов терпеливо раз'ясняет Бернштейну, что научный социализм отнюдь не претендует на безусловную историческую точность в своих предвидениях. Нельзя смешивать «два очень различных понятия: понятие о направлении и об общих результатах данного общественного процесса с понятием об отдельных явлениях (событиях), из которых составится этот процесс. Социологическое предвидение отличается и всегда будет отличаться очень малой точностью во всем том, что касается предсказания отдельных событий, между тем как оно обладает уже значительной точностью там, где надо определить общий характер и направление общественных процессов» [3]).

Из всего сказанного выясняется то важное значение, которое имело в общетеоретической концепции Плеханова понятие «социологии, как науки». Прежде всего, оно служило опорой его материалистическому методологическому принципу: искать закономерного об'яснения—«особого» и «единичного» в «общем», части в целом, суб'екта в об'екте, общественного сознания в самом развитии общественного бытия. Научная социология в этом отношении резко противопоставлялась им утопической социологии. Она противопоставлялась Плехановым также, как материалистическое об'яснение истории, простому историческому описанию, в тенденции про-

[1]) Соч., т. VIII, стр. 303—304.
[2]) Соч., т. XVIII, стр. 246.
[3]) Соч., т. XI, стр. 85.

водимому кантианской философией. Но социология, «как наука», служила у Плеханова также иным выражением теории научного социализма: только изучение общих тенденций исторического развития, познание «алгебры» истории обеспечивало возможность социологического предвидения и связи социальной теории с тактическим «методом»!

Но, если историческая обстановка теоретической борьбы требовала от Плеханова всякого подчеркивания роли и значения социологии, то те же исторические условия легко могли привести к тому, что это противопоставление социологии и конкретной истории становилось иной раз чрезмерным: в таких случаях можно было забыть то основное правило диалектики, согласно которому не только особое существует через общее, но и «общее существует лишь в отдельном, через отдельное» (Ленин). Нетрудно убедиться, вспомнив предисловие Ленина к «Развитию капитализма в России», что Плеханову действительно не было чуждым это чрезмерное выпячивание «общего» в противовес конкретному—это, по выражению Ленина, «стремление искать ответов на конкретные вопросы в простом логическом развитии общей истины»...

Характерно, что не только в своих суждениях об особенностях русской революции, но и в своей «Истории русской общественной мысли» Плеханов ограничивается рассмотрением общих, «социологических» причин «своеобразия» русского исторического процесса, вместо того чтобы перейти к его конкретному анализу. Неудивительно, что поиски «относительного своеобразия» исторического процесса—поскольку он ограничивается простым развитием этой «логической истины»—приводят его зачастую к отрыву от конкретно-исторического пути развития русского капитализма...

Заметим попутно, что своеобразное «хвостистское» истолкование получил в дальнейшем у Плеханова и принцип единства об'екта и суб'екта: слова Маркса о том, что «человечество ставит себе только разрешимые задачи», понимались им — после 1905 г. — как обоснование реформизма, поскольку де «скачок еще невозможен»... Толкуя о «собственном опыте», который якобы необходим рабочему классу, под эгидой буржуазной государственности, и целиком переходя в этом случае к позициям старого «экономизма», Плеханов также говорил об единстве об'екта и суб'екта и об «алгебраических знаках»! (см. «Письма о тактике и бестактности», «Заметки публициста», Соч. т. XV).

«Случай» Плеханова показывает особенно ярко, как наиболее правильная методологическая позиция может легко перейти в свое метафизическое отрицание — при малейшем отступлении от конкретности исторического познания. Он показывает также, насколько чужд должен быть исторический материализм голому схематизму алгебраических «знаков» и насколько тесна должна быть его связь с многосложной тканью конкретной истории.

## II.

«Чего мы можем требовать в данный момент от социологии?— спрашивал Плеханов в «Основных вопросах марксизма» и сам отвечал: — Об'яснения того, почему, стремясь к удовлетворению своих потребностей,—скажем потребности в пище,—люди вступают в одни. а иногда в совершенно иные взаимные отношения. И это обстоятельство социология,—в лице Маркса,—об'ясняет со-

*стоянием их производительных сил.* Далее спрашивается: зависит ли состояние этих сил от воли людей и от тех *целей*, которые ими преследуются? Социология,—опять в лице того же Маркса,—отвечает: нет, не зависит. А если не зависит, то, значит, они возникают в силу известной необходимости, определенной данными, вне человека лежащими условиями».

Если в ранее приведенных мыслях Плеханова мы имеем определение логического *места* и *формы* исторического материализма, то в последней формулировке Плеханов намечает *содержание* названной теории. Вкратце резюмируя, это содержание сводится к *преодолению теории взаимодействия факторов* на почве *монистического* и *синтетического* понимания исторического развития. Большой интерес, в связи с этим, представляют соображения Плеханова, говорящие о *правомерности* теории факторов и правомерности даже известной *иерархии* их на определенных ступенях познания общественной жизни.

Как известно, еще в «Монистическом взгляде» автор его категорически отрекся как от одностороннего «экономического» материализма, сводившего всю общественную жизнь к воздействию «экономического фактора», т.-е. имущественных отношений,—так и от плюралистической теории «взаимодействия», которая «об'ясняет очень и очень немногое по той простой причине, что она не дает никаких указаний насчет *происхождения* взаимодействующих сил» [1]). Еще Гегель, по его словам, справедливо указывал, что «взаимодействующие стороны не могут приниматься, как непосредственные данные, но должны быть поняты, как моменты чего-то третьего, «высшего» [2]).

Однако теория факторов не может быть попросту отброшена материалистическим об'яснением истории: сама эта теория имеет определенный исторический смысл и историческую правомерность. Плеханов весьма остроумно доказывает, что каждая попытка перейти от простого описания явлений к об'яснению их *внутренних причин* должна была привести к выдвижению различных *сторон* общественной жизни в качестве ее «внутренних сил», ее факторов. «Та или иная разновидность теории, действительно, должна была родиться всюду, где люди, интересующиеся общественными явлениями, переходят от простого их созерцания и описания к *исследованию существующей между ними связи*. Теория факторов растет, кроме того, вместе с *ростом разделения труда* в общественной науке. Все отрасли этой науки—этика, политика, право, политическая экономия и пр.—рассматривают одно и то же: деятельность общественного человека. Но они рассматривают ее *каждая со своей особой точки зрения*».

«Социально-исторический фактор,—заключает Плеханов,— есть *абстракция*, представление о нем возникает путем *отвлечения* (абстрагирования). Благодаря процессу абстрагирования различные *стороны* общественного *целого* принимают вид обособленных *категорий*, а различные проявления и выражения деятельности общественного человека—мораль, право, экономические формы и пр.—превращаются в нашем уме в *особые силы*, будто бы вызывающие и обусловливающие эту деятельность, являющуюся ее последними причинами». Вслед за А. Лабриола Плеханов признает, что

[1]) Г. *Плеханов*, К вопросу о развитии монистического взгляда, стр. 11. Ср. «Основные вопросы марксизма».
[2]) Соч., т. XVIII, стр. 139; ср. т. VIII, стр. 242.

3*

теория того или иного господствующего фактора была исторически-необходимым и полезным этапом умственного и научного развития, так как позволяла выйти из лабиринта ничего не об'ясняющего «взаимодействия». «Было бы несправедливо осуждать такого рода попытки установить ту или иную иерархию между факторами общественно-исторического развития. Они были так же необходимы в свое время, как неизбежно было появление теории факторов». Сейчас, однако, такое расчленение деятельности общественного человека на самостоятельные «силы» и «сущности», по словам Плеханова, уже «не состоятельно: оно должно смениться синтетическим взглядом на общественную жизнь» [1]).

В чем же состоит «преодоление» диалектическим методом «снятой» им теории факторов? Плеханов не дает на этот вопрос полного ответа, но выводы напрашиваются сами собой. Исчезает представление о различных сторонах общественного бытия, как о самостоятельных «силах», как об обособленных «сущностях», и они превращаются в моменты единого целого общественной жизни. Но отнюдь не отбрасывается представление о них, как о различных сторонах этого единства, которые находят себе, поэтому, выражение в различных социальных категориях. «Без анализа нет синтеза»,—писал еще Энгельс в «Анти-Дюринге». Анализ же, являющийся необходимой предпосылкой синтетического взгляда, всегда предполагает выделение отдельных «ступенек» мышления (Ленин), установление определенных форм связи и зависимости между выражающими их социальными категориями.

Вот почему, несмотря на устранение теории факторов, мы вправе и должны говорить о «факторах» в кавычках—о взаимоотношении различных сторон общественного целого. В этом именно смысле Плеханов говорит о высшем «факторе», о некоем неизвестном x,—функцией которого являются взаимодействующие стороны общественного целого,—о производительных силах.

Трактовка категории производительных сил у Плеханова представляет большой интерес. Она показывает, в какой мере ему удалось преодоление того метафизического представления о производительных силах, как о некоей «самостоятельной сущности»,— в котором склонны были упрекать марксизм П. Струве и К°. Точка зрения Плеханова интересна и потому, что вокруг понимания названной категории и по сей день ведутся горячие дискуссии. В этих спорах намечаются два своеобразных «уклона». Одни авторы стремятся свести производительные силы к технике, к орудиям труда, исключая из их содержания человеческую рабочую силу. Некоторые из них, если и признают существование других элементов производительных сил, помимо орудий труда, то довольствуются простым механическим «сложением» и тех, и «других», и «третьих» производительных сил. Этой «технической» и механической версии противостоит несколько иная, психологическая концепция производительных сил. Сторонники ее предпочитают видеть в производительных силах лишь производительную «способность» общественного человека, безгранично расширяя тем самым содержание названной категории и пополняя его за счет «науки», «познания природы» и т. д.

Быть может, наиболее отчетливое и яркое выражение данная точка зрения получила за последнее время у К. Каутского—в его новой фундаментальной работе об историческом материализме: «Развитие

[1]) Соч., т. VIII, стр. 243—245.

«материальных производительных сил» в основе своей есть лишь иное обозначение (Name) для развития познания природы. Глубочайшей основой (Grundlage) «реального базиса», «материального фундамента» человеческой идеологии оказывается поэтому духовный процесс, процесс познания природы» [1]) (!! Курсив наш.—И. Р.).

Формулировка, до которой в своих бесчисленных грехопадениях докатился сейчас Каутский, повторяет в сущности те «возражения», которые делали когда-то Плеханову «суб'ективные» социологи, типа Н. Михайловского и Н. Кареева. Они также выдвигали на первый план «усилия разума», роль человеческого познания в процессе открытия и применения орудий, сводя таким путем на-нет материалистическое об'яснение истории. Неудивительно, что в своей полемике с суб'ективными социологами Плеханову приходилось всячески подчеркивать эту материалистическую сторону, эту техническую основу развития производительных сил. Вот почему, в ряде случаев, так выгодно оказывается ссылаться на Плеханова современным представителям «технической» версии!

Но концепцию Плеханова нужно внимательно продумать, чтобы не получить о ней превратного представления. Плеханов неоднократно говорит о производительных силах, именно как о средствах производства, средствах труда, как о технике общественного процесса производства, ставя в зависимость их развитие, в первую очередь, от условий географической среды. С этой точки зрения производительные силы противопоставляются им как остальной природе, которая служит предметом общественного труда, так и людям, употребляющим данные производительные силы. Но Плеханов отнюдь не склонен забывать, что «степень» развития производительных сил определяет меру власти человека над природой [2]). Как мерило этой власти, техника (механического орудия) действительно является исходным и определяющим всю систему общественной организации моментом, «костной и мышечной системой производства».

Плеханов оговаривается, в связи с вопросом о земледелии, что «орудия труда составляют только часть средств, необходимых для производства». Он указывает, что самая важная роль принадлежит орудиям труда «до появления важных химических производств» [3]). Наконец, ряд существенных оговорок делается Плехановым и в связи с рассмотрением роли человека и его трудовой организации в развитии производительных сил. Характерно, что эти оговорки делаются им тогда, когда он переходит от полемики с «суб'ективистами» к возражениям «струвистов», к их замечаниям, что производительные силы не могут развиваться сами собой, как некая самостоятельная «сущность». Плеханов указывает, что чем больше развиты производительные силы в капиталистическом обществе, «тем опаснее становится для него их полное применение», и в частности отмечает невозможность для рабочих использовать свою рабочую силу. Он отмечает также, что «организация труда в современной механической мастерской определяется нынешним состоянием техники и характеризует собою состояние производительных сил». Он не может не отметить, наконец, и того обстоятельства, что «самый процесс производства и сочетание чело-

---

[1]) K. Kautsky, Die materialistische Geschichtsauffassung, 1927, B. I, S. 864.
[2]) «К вопросу о развитии монистического взгляда», стр. 187.
[3]) Там же, стр. 105.

веческих усилий в этом процессе, увеличивая запас опыта, ведет к дальнейшему развитию производительных сил...»[1]).

Плеханов, таким образом, вовсе не склонен отрицать тот элементарный факт, что состояние производительных сил в частности зависит и от «большей или меньшей способности лиц к техническим совершенствованиям, открытиям и изобретениям»[2]). Но в противовес метафизическим представлениям о «природе» человека, его «способностях» и его «разуме», Плеханов ставит эту «природу» и этот «разум» в зависимость от внешних условий их применения. «Разумная способность человека перестает у него быть некоей метафизической, «сплошной» величиной. Развитие разума расчленяется на ряд мелких движений «разума» и нашей психики, являющихся только иной стороной того же об'ективно-технического процесса. В нем только и находятся необходимые материальные предпосылки самой возможности подобных движений «разумной» способности. Вслед за Гельвецием повторяет Плеханов, что обычные потребности всегда чреваты открытиями, так что каждое более или менее крупное открытие есть только интеграл бесконечного числа открытий»[3]). Он указывает, что «способность разума» не развивается сама собой, но, наоборот, является чем-то «постоянным по отношению к изменяющимся и изменяющим ее внешним условиям»; что «в каждое данное время мера этой способности определяется мерой уже достигнутого развития производительных сил». Одним словом, «экономия общества и его психология представляют две стороны одного и того же явления, «производства жизни» людей...»[4]).

Плеханов, таким образом, в своем понимании развития производительных сил продолжает в действительности стоять на той же диалектической позиции единства об'екта и суб'екта, о которой склонны забывать сторонники «технической» версии. И только при таком понимании становится приемлемым его положение о «внутренней логике развития производительных сил», которой «подчиняется в последнем счете все общественное развитие»[5]). Названная «внутренняя логика» производительных сил не исключает в этом случае обратного воздействия возникающих на их основе призводственных отношений, ускоряющих или замедляющих их развитие. В своей полемике с П. Струве Плеханов показал, что таким пограничным понятием, характеризующим и состояние производительных сил, и общественные отношения производства, является организация труда—«непосредственные отношения производителей в процессе производства». Он показал, что противоречие между производительными силами и производственными отношениями должно пониматься, как противоречие одной части отношений производства—организации труда—их другой части—имущественными отношениями. Как отчетливо и наиболее полно формулирует характер этого диалектического взаимодействия Плеханов, «взаимное влияние отношений производства и производительных сил является причиной социального движения, имеющего свою логику и независимые от естественной среды законы»[6]).

[1]) Соч., т. XI, стр. 159, 160, 308; курсив наш.
[2]) Соч., т. VIII, стр. 295.
[3]) Там же, стр. 115.
[4]) «Монист. взгляд», стр. 109—110, 141.
[5]) Соч., т. VIII, стр. 228.
[6]) Там же, стр. 153.

Производительные снлы, такнм образом, отнюдь не являются в представлеиии Плеханова одной голой техникой нлн механнческой «суммой» технники и органнзацин труда. Понятие технннкн предполагает у него еднннство об'екта н суб'екта, состоянне пронзводительных сил предполагает техническую органнзацню труда, которая является одновременно и общественной его органнзацией. Производительные силы (содержанне) диалектнчески переходят в свою противоположность, в пронзводственные отношення (форму), и обратно—иесмотря на все «реальное различне» (Маркс) между обеими категориями. И, вместе с тем, как «мера власти человека над прнродой», материальные пронзводнтельные силы являются нсходным об'ективным моментом в аналнзе общественной жизни. Поэтому нам представляется не вполне заслуженным упрек тов. Н. Бухарнна по адресу Плеханова, что последний как бы отодвнгает разрешение этого центрального вопроса соцнологии [1]).

Но упрек тов. Бухарина является справедливым в другом отношении. В своей борьбе с ндеалистнческой концепцней Плеханов действительно несколько «гнпостазнрует» нскомый x — категорню производительных снл, не давая обстоятельного анализа ее содержания, и порой как бы склонен ограничивать вопрос об ее обратной зависнмости лишь однзм чрезмерным подчеркнванием роли естественной среды. А так как он далеко не везде оговарнвает, что это значение географической среды само нзменяется и уменьшается вместе с историческим развнтнем культуры, то и «географическая среда» и само «развитие производнтельных сил» в некоторых случаях обращаются у него в голые абстракции, не дающне возможностн проследить их действительную, конкретно-исторнческую роль. Представление о непрерывном росте производительных сил, который делает каждый раз «неустойчивым» достигнутое общественное «равновесие» [2]), подобнос представленне не дает действнтельного об'ясненнея этому росту н в то же время превращает общественные отношеиия в нечто, относнтельно более пассивное, в сравнении с природой, стимулирующей абстракцню «роста пронзводительных сил». Такое представление протнворечило бы и всем приведенным соображениям Плеханова о «внутренней логике соцнальной жнзнн», независящей от естественной среды. Оно протнворечило бы также его собственным указаниям, что не «абсолютные размеры» производительных сил, а их «прибыльные затраты» обусловливают пронзводство при капитализме. Слишком разрывая между способом производства и формой общественных отношений, оно открывало бы путь бердяевским теориям обновления общественной ткани, путем «штопания» дыр капиталистического способа пронзводства...

Мы, разумеется, отнюдь не хотнм сказать, что именно эти недостатки социального анализа всегда и даже хотя бы очень часто приводили Плеханова к подобного рода оппортунистическнм выводам. Несомненно, однако, что, в частности, в его «Истории русской общественной мысли» соображення Плеханова о роли географической среды и, в связи с этим, о «медленном росте производительных сил русского народа» носят именно такой, сугубо-абстрактный и метафизический отпечаток. А между тем ими методологически была обусловлена вся его исторнческая концепцня развитня русского народиого

[1]) Н. Бухарин, К постановке проблемы теории исторического материализма», «Вестник Соц. Академии», кн. 3.
[2]) Плеханов, Соч., т. VIII, стр. 119—257.

хозяйства и специфической роли в нем государственной организации. Здесь, несомненно, сказалось все то же стремление к развитию «общей логической истины», которым страдают и некоторые другие моменты плехановской «социологии».

Мы весьма кстати заговорили о роли государства. Если экономический фактор теряет в марксизме характер самостоятельной «сущности» и становится «функцией производительных сил», то, спрашивается, какова же судьба политического «фактора» и тесно связанных с последним социально-классовых отношений? И нужно прямо сказать, что на этот вопрос ясного и целостного ответа мы у Плеханова не находим.

Что касается теории классов и классовой борьбы, то, как известно, по этому поводу не мало ценных замечаний разбросано в целом ряде работ Плеханова — начиная с «Социализма и политической борьбы» и кончая «Предисловиями к Коммунистическому Манифесту» и статьям против Струве. Плеханов не только умеет связывать теорию классовой борьбы с ее историческим развитием и отыскать ее корни в воззрениях буржуазных историков и социал-утопистов. Более того: он дает отчетливое представление о связи классов с отношениями производства; он показывает как одно различие классовых интересов легко может перерасти в их антагонизм; он блестяще доказывает Струве, что противоречие интересов покупателей и продавцов рабочей силы, обусловливаемое различным распределением общественного дохода между классами, «не может быть ни устранено, ни «притуплено» до тех пор, пока не прекратится покупка и продажа рабочей силы, т.-е. пока не будет устранен капиталистический способ производства» [1]).

Но вопрос о связи классовой диктатуры с государственной машиной и о специфических чертах последней не получает у Плеханова должного разрешения. Правда, мимоходом Плеханов говорит,—главным образом в своих ранних работах,—о государстве, как о продукте неравенства. Он дает свое известное определение диктатуры класса, как «господства этого класса, позволяющего ему распоряжаться организованной силой общества для защиты своих интересов и для подавления всех общественных движений, прямо или косвенно угрожающих этим интересам» [2]). Но понятие «организованной силы общества» само по себе звучит достаточно неопределенно, особенно при сопоставлении его со столь же неопределенным местом того же «Предисловия», где Плеханов, отличая общество от государства, в то же время отожествляет «историю гражданского общества» с «внутренней историей государств» [3]). Создается впечатление, что государство, в отличие от общества, охватывает его внешние отношения с другими общественными организациями и не зависит от классовой организации!

И, действительно, внимательно перечитывая Плеханова, легко убедиться, что именно эта известная видимость независимости государства от классов зачастую характеризует для него специфические, существенные особенности государственной организации. Так, еще в «Монистическом взгляде» Плеханов указывает, что «состоянием производительных сил» обусловливаются не только внутренние отношения данного общества, но и «внешние его отно-

---

[1]) Соч., т. XV, стр. 182.
[2]) Там же, стр. 319.
[3]) Там же, стр. 301.

шения к другим обществам. На почве этих внешних отношений у общества являются новые нужды, для удовлетворения которых вырастают новые органы»; лишь при поверхностном взгляде, эти внешние отношения представляются не имеющими отношения к экономии, «политическими» действиями»[1]). И в другом месте Плеханов подчеркивает роль «международных отношений», которые обусловили «потребности государства» при Петре Великом и произведенную последним экономическую революцию[2]). Точно так же, в своей полемике с А. Лабриола, Плеханов полагает, что взгляд на государство, как на организацию классового господства, «едва ли выражает полную истину». В таких государствах, как Китай и древний Египет — «возникновение государства, — по мнению Плеханова, — может быть в весьма значительной степени об'яснено непосредственным влиянием нужд общественно-производительного процесса». Правда, там существовало и классовое неравенство, но господствующие классы «заняли свое более или менее высокое общественное положение именно благодаря государственной организации, вызванной к жизни нуждами общественно-производительного процесса»[3]).

Плеханов тут же оговаривается, что это обстоятельство не мешало государству быть одновременно и организацией классового господства. Но очевидно, что уже здесь центр тяжести переносится им за пределы классовых противоположностей и упирается в общность классовых интересов—в целях ли «внешних» ли сношений или в целях абстрактно-взятого производственного процесса. Именно эта, давно бродившая в сознании Плеханова точка зрения на государство и получила окончательную формулировку в введении к его «Истрии русской общественной мысли»—в суждении о характере российской государственности: «ход развития всякого, разделенного на классы, общества определяется, по его словам, во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений»... На Руси князь со своею дружиной выполнял «функцию защиты княжества от неприятельских нападений»... «Чтобы обезопасить себя от внешних нападений», обитатели «охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории»... Московское государство «отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший, земледельческий, но и высший, служилый, класс»[4]).

«При таком своеобразном, «распространенном» истолковании мысли Энгельса о первоначальных общественных функциях государства, при котором эти общественные функции теряют свою классовую характеристику, а государство обращается в надклассовую организацию, только используваемую классами для своего господства,—естественно, что «политический фактор» невольно должен был до известной степени сохранить у Плеханова характер самостоятельной «сущности». Оговаривая свое несогласие с целым рядом положений, имеющихся у либеральных русских историков, Плеханов, однако, весьма приближается к ним в своей характеристике российского самодержавия, как своего рода «восточной деспотии». «Материальные

[1]) «К вопросу о развитии монист. взгляда», стр. 136.
[2]) Соч., т. VIII, стр. 184—185.
[3]) Там же, стр. 252—253.
[4]) «История русской общественной мысли», кн. 1, введение.

нужды,—пишет Плеханов,—вызывают военные столкновения между обществами... Этими столкновениями порождается известная военная организация. Ее характер зависит от степени экономического развития, достигнутого данным обществом. Раз возникнув, она отвлекает ту или иную долю общественного труда... Ему приходится усваивать себе более совершенную военную технику... Правители начинают заводить фабрики, принимают меры для развития торговли и ремесел—словом, способствуют росту производительных сил страны»... «Психология русского крестьянства сложилась... на основе нашего старого общественно-политического быта, так сильно напоминающего собою быт восточных деспотий» и т. д. [1]).

Чем об'ясняется такая переоценка Плехановым некоторых формальных моментов русской государственности и недооценка им нового, скрывшегося за этими политическими формами экономического содержания? М. Н. Покровский ищет ей об'яснения в раннем «землевольчестве» Плеханова, в том особом значении, которое он придавал тогда насильственной борьбе с русским самодержавием [2]) Нам представляется, что эта система воззрений Плеханова имеет более глубокие, классово-политические основы,—на которые частично указывает и т. Покровский. И своеобразный историко-философский «либерализм» Плеханова, и его известное свирепое отношение к отвергающему государство анархизму имеет свою несомненную основу в недооценке Плехановым роли крестьянства в буржуазной революции и в преувеличенном значении, которое он придавал «политическому опыту» буржуазной государственности. Характерно, что о «фактически установившейся у нас азиатской форме государственного землевладения» Плеханов говорит еще в 1903 г., во время своей полемики с т. Д. Б. Рязановым по поводу проекта партийной программы [3])... Но воззрения Плеханова имеют в данном случае и некоторые методологические корни. Они об'ясняются тем, что Плеханов не уделял должного внимания тем специфическим чертам государственной организации, на которых впоследствии обстоятельно останавливался Ленин и которые последний вскользь сумел оттенить еще в своей критике воззрений П. Струве [4]). При детальном анализе государственной надстройки Плеханов убедился бы в том, что эта «особая сила», повидимому стоящая над классами, в действительности имеет всегда то или иное классовое содержание и определяется в самой своей организации этим последним.

Аналогичный недостаток изучения специфических особенностей «надстройки» и связи ее с «базисом» характерен и для взглядов Плеханова на право. Плеханов умеет дать обстоятельную оценку взглядов исторической школы права или современных ему воззрений Штаммлера-Струве. Он не забывает отметить не только определяемость правовых отношений производственными, но также и роль правовой идеологии в их образовании. Но при всем том Плеханову остается чуждой специфическая природа правовых отношений, вытекающая непосредственно из экономических особенностей товарно-капиталистического общества. В основном Плеханов остается на «нормативной» точке зрения на право, видящей сущность права прежде всего в правовых нормах и ставящей между экономикой и пра-

[1]) Там же, стр. 257, 114.
[2]) М. Покровский. Г. В. Плеханов. «Правда» от 30 мая 1928 г.
[3]) Соч., т. XII, стр. 399—408.
[4]) См. Ленин, Экономическое содержание народничества.

вом посредствующее звено государства. Представление о «надклассовости» государства не могло, поэтому, не сказаться и на понимании права: простая логическая последовательность должна была рано или поздно привести Плеханова к «простым законам права и нравственности»...

Этот вопрос о «специфичности» надстроечных форм и о связи их специфических черт с экономическим основанием получил зато у Плеханова гораздо более обстоятельное и глубокое освещение в связи с общим изучением им роли третьего и последнего из обычно называемых «факторов»—психологического и идеологического.

Начиная со своих ранних работ, Плеханов уделяет огромное внимание вопросам социальной психологии. Он указывает, что «для Маркса проблема истории в известном смысле тоже была психологической проблемой» [1]). «Психология общества всегда целесообразна по отношению к его законам, всегда соответствует ей, всегда определяется ею»—таково отправное положение марксизма. Но оно отнюдь не означает, что определяющие общественную психику, экономические отношения всегда осознаются их участниками: «общественные отношения людей не представляют плода их сознательной деятельности» [2]). «Изменение отношений не может совершаться «автоматически», т. е.—независимо от человеческой деятельности... Но эти отношения могут изменяться—очень часто действительно изменяются—вовсе не в том направлении, в котором люди хотели бы изменить их» [3]). В этом и заключается диалектическое понимание психологии и идеологии, как закономерного продукта общественного развития. «Диалектический метод,— говорит Плеханов,—уравнивал путь для взгляда на... идеологию, как на естественный плод закономерного развития общественного познания. Главная отличительная черта этого процесса заключается в том, что его участники, сознавая себя причиной последующих событий, крайне редко возвышаются до сознания себя следствием предыдущих. Иначе сказать, процесс развития общественного сознания сам есть в известном смысле бессознательный процесс» [4]).

Вот почему в известной «формуле» Плеханова социальная психика занимает посредствующее место между социально-политическим строем и идеологией: без внимательного изучения общественной психологии «невозможно материалистическое об'яснение истории идеологий» [5]). Однако, учитывая всю роль этого посредствующего звена, нельзя упускать из виду, что общественные отношения все же находят в идеологиях свое, хотя бы относительно-верное, отражение. Нельзя поэтому чисто-утопически сводить процесс образования идеологий к «невежеству» идеологов—как это делал, напр., А. Лабриола: само «невежество» каждый раз также нуждается в социальном истолковании. «Рост сознания людьми своего положения,—замечает Плеханов,—обыкновенно более или менее отстает от роста новых фактических отношений, изменяющих это положение. Но познание все-таки идет за фактическими отношениями... В истории неясность сознания —

[1]) Соч., т. VIII, стр. 168.
[2]) К вопросу о развитии монистич. взгляда, стр. 141, 89.
[3]) Соч., т. XVIII, стр. 221.
[4]) Там же, стр. 169.
[5]) Соч., т. VIII, стр. 250—251.

«промахи незрелой мысли», «невежество»—нередко знаменует собою только одно: именно, что еще плохо развит предмет, который надо сознать, т.-е. новые *нарождающиеся предметы*»... Разгадка лежит не в «невежестве», а «в *общественных причинах*», его породивших и придавших ему *тот, а не иной вид*, тот, а не другой характер...» [1]).

Поэтому необходимо различать *форму* идеологии, развитие которой зависит от общего состояния психики данной эпохи, и ее *содержание*. Характером экономических отношений интересов определенных классов определяется каждый раз *содержание* идеологии; «но состоянием общественного сознания (общественной психологии) в данную эпоху определяется *та форма, которая примет в человеческих головах отражение данного интереса*»... Напр., «с *формальной* стороны, право подобно всем другим идеологиям, испытывает на себе влияние всех или, по крайней мере, некоторой части других идеологий». Причины сохранения целого ряда моментов старой идеологии нужно, по словам Плеханова, искать не просто в силе традиции, но «в известных *ассоциациях идей, вызванных известными фактическими отношениями* людей в обществе» [2]). «Классовая борьба играет большую роль в истории идеологии»,—резюмирует свою точку зрения в другом месте Плеханов; но «не следует при этом забывать, что если идеи, господствующие в каком-нибудь классе в данное время, по своему *содержанию* определяются социальным положением этого класса, то по своей *форме*, они находятся в тесной зависимости от идей, господствовавших в предыдущую эпоху в том же самом или высшем классе» [3]).

Плеханов, таким образом, подчеркивает «формальное, но решающее влияние *имеющегося уже налицо комплекса* идей» [4]), которое, по его словам, может сказаться и в положительном, и в отрицательном смысле на структуре идеологии. Но в то же время он не упускает из виду и *косвенную* определяемость этого комплекса идей фактическими общественными отношениями и, в частности, таким важным «фактором», как классовая борьба. Блестящие образцы анализа этих различных корней идеологии, как известно, даны в его статьях по истории философии, об искусстве, о религии. К сожалению, мы не можем здесь на них подробно останавливаться.

Обращаем внимание только на интересные строки, посвященные Плехановым вопросу о так наз. «*сознательном лицемерии*» идеологов, которому в философии придавал слишком большое значение В. Виндельбанд. Плеханов считает вполне возможным известный «*разлад* между идеологами и тем классом, стремления и вкусы которого они выражают». Подобный разлад «вообще не редкость в истории. Им об'ясняются весьма многие особенности в умственном и художественном развитии человечества». Но самый разлад должен получить свое об'яснение в состоянии общественных отношений, характер которых одновременно ограничивает возможные *пределы* этого разлада. Однако не следует предполагать и обратного: что идеологи всегда *сознательно* стремятся сделать из своих систем духовное оружие *своего класса*. «Отдельной личности,—говорит Плеха-

[1]) Там же, стр. 261—263.
[2]) Соч., т. VIII, стр. 261—266.
[3]) Там же, стр. 174.
[4]) Соч., т. XVIII, стр. 233.

нов,—не нужно «сознательного лицемерия», чтобы стремиться к согласованию своих взглядов с интересами своего класса. Для этого ей достаточно искреннего убеждения в том, что данный классовый интерес *совпадает с интересом целого общества*»[1]).

Таким образом, в вопросе об идеологическом «факторе» Плеханов остается на основной диалектической позиции *единства об'екта и суб'екта*. Общественное сознание остается необходимой *стороной* единого общественного бытия, в коем оно имеет свою основу. Но оно перестает быть самостоятельной «силой», якобы определяющей вместе с другими «факторами», ход общественного развития.

Последнее обстоятельство, разумеется, ни коем случае, не обозначает, что общественное сознание не играет определенной исторической роли. «Живая одежда идеологии» оказывается именно *живой*, активной стороной общественного бытия. И эту «*общественно-преобразовательную роль сознания*»[2]). Плеханов не устает подчеркивать—начиная с ранних своих работ. Партия рабочего класса—громит он хвостистскую концепцию «экономистов»—«должна стараться *ускорить* тот процесс, благодаря которому *содержание сознания* приспособляется к *формам бытия*». «Там, где общественные отношения не стоят на одном месте, задача передовых личностей, а следовательно, и передовых партий,—заключается, прежде всего в содействии тому чрезвычайно важному по своим практическим последствиям процессу, благодаря которому, *сознание* массы приходит в соответствие с ее *положением*, и суб'ективная логика «рассуждений» перестает противоречить об'ективной логике «вещей». Революционеры обязаны содействовать росту *революционного сознания* в массе, обязаны стать акушерами ее революционной мысли»[3]).

Только при таком понимании роли революционного сознания возможна была глубокая мысль Плеханова *о новом типе культуры*, который с *количественной* стороны ниже, но по *качеству*, по своему типу выше буржуазной культуры, и который нарождается вместе с борьбой и победой рабочего класса. «Нужно различать *степень* культуры от ее *типа*,—замечает Плеханов,—и если степень материальной культуры современного пролетария очень невысока, то, тем не менее, она остается *культурой самого высшего типа* из всех до сих пор существовавших. Мы не говорим уже об умственной и нравственной культуре этого класса, стоящего по своему развитию несравненно выше производительных классов всех предшествовавших периодов»[4]).

Не в бровь, а в глаз современным отрицателям пролетарской нравственности и буржуазным хулителям «безнравственности» революционного класса, поистине пророчески звучит и следующее замечание Плеханова: «Из «безнравственности» фабричного пролетариата вырастает *новая* «нравственность», нравственность *революционной борьбы с существующим порядком вещей*, которая, в конце концов, *создает* новый общественный строй...»[5]).

В процессе борьбы за культурную революцию такая перекличка с Плехановым видимо является и для нас далеко не бесполезной!

---

[1]) Соч., т. XVIII, стр. 309

[2]) Соч., т. XI, стр. 313.

[3]) Соч., т. XII, стр. 65, 76.

[4]) Соч., т. II, стр. 185.

[5]) Соч., т. VIII, стр. 403.

# Категория случайности в понимании Плеханова.

*Мих. Дынник.*

Марксистское разрешение проблемы случайности опирается на диалектическое понимание этой категории в ее связи с категорией необходимости; в этой области основная задача теории диалектического материализма состоит не только в том, чтобы показать всю научно-методологическую неприемлемость метафизического понимания случайности как категории, по самому своему определению абсолютно исключающей необходимость,—но и в том, чтобы, отбросив это метафизическое понимание, дать случайности правильное, т.-е. материалистическое и диалектическое определение, и, исходя из него, правильно поставить и разрешить всю проблему случайности.

Другими словами, необходимо не только ответить на вопрос, какова роль случайности в природе и обществе, но и твердо установить, какое же содержание следует вкладывать в самый термин «случайность».

В своих работах по философии марксизма Плеханов проблеме случайности уделял значительное внимание, тесно связав ее с такими вопросами теории диалектического материализма, как проблема общественной закономерности и необходимости, фаталистического миропонимания, роли личности в истории. Если же принять во внимание то обстоятельство, что разрешение проблемы случайности служило Плеханову одним из опорных пунктов в борьбе с идеологическими антагонистами марксизма, то станет ясным, сколь важно для нас подробным образом выяснить его позицию в этом вопросе.

Более того, наши разногласия сегодняшнего дня в понимании самой категории случайности и методов разрешения этой существеннейшей проблемы в значительной мере могут быть оценены по существу в том случае, если до конца, до полной четкости будет продумана плехановская постановка вопроса.

В научную литературу марксизма навсегда вошли, как классические философские труды, такие работы Плеханова, как «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Очерки по истории материализма», «О материалистическом понимании истории», «К вопросу о роли личности в истории», «Основные вопросы марксизма», «От идеализма к материализму» и много, много других блестящих и глубоких образцов научного применения диалектического метода к разрешению самых сложных, а вместе с тем, самых животрепещущих вопросов единого материалистического мировоззрения.

Г. В. Плеханова, автора классических работ по философии революционного марксизма, международный пролетариат глубоко чтит как своего идеологического вождя, как человека, весь свой ум, все свое чувство, всю свою жизнь отдавшего великой цели—изучению,

разработке и пропаганде диалектического материализма—этого надежнейшего духовного оружия рабочего класса.

Плехановская постановка и разрешение проблемы случайности, его определение самой категории «случайность» и в настоящее время не устарели, не потеряли своего глубокого философского смысла. Те или иные детали, те или иные формулировки уже не отвечают современному состоянию диалектического материализма, но основное ядро его взглядов остается неприкосновенным.

Наиболее подробно взгляды Плеханова на случайность изложены им в работе «К вопросу о роли личности в истории», но и в таких его произведениях, как «К шестидесятой годовщине смерти Гегеля», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», «Очерки по истории материализма», «Н. Г. Чернышевский» и др., мы находим ряд замечаний, характеризующих его отношение к проблеме случайности.

Прежде всего, необходимо отметить, что категорию случайности Плеханов рассматривает в связи с категорией законосообразности; по его мысли, ошибка французских просветителей в понимании процесса общественного развития состояла уже в том, что они, вместо того чтобы стараться найти законосообразность в этом процессе, пытались об'яснить его как совокупность случайностей; именно в том обстоятельстве, что Сен-Симон интересовался законосообразностью общественного развития, Плеханов видит его преимущество перед прочими французскими просветителями:

«Между тем, как французские просветители чаще всего смотрели на историю человечества как на ряд более или менее счастливо сложившихся с л у ч а й н о с т е й, Сен-Симон ищет в истории прежде всего з а к о н о с о о б р а з н о с т и. Наука о человеческом обществе должна стать столь же строгой наукой, как и естествознание. Мы должны изучить факты прошлой жизни человечества для того, чтобы открыть в них законы его прогресса. Будущее способен предвидеть только тот, кто понял прошедшее» [1]).

Упрек, сделанный Гельвецием Монтескье, в том, что последний «недостаточно оценил значение счастливых случайностей», Плеханов считает чрезвычайно характерным для французской просветительной философии.

Для общественных наук, по мысли Плеханова, этот взгляд на историю человечества, как на «ряд более или менее счастливых случайностей» совершенно неприемлем, и заслуга марксизма в том, что он впервые дал научное об'яснение общественному развитию, вскрыв его диалектические законы, найдя в нем законосообразность, а не простую игру случайностей.

Соображения Плеханова по поводу позиции Гольбаха в вопросе о случайности вскрывают перед нами новую сторону проблемы. Действительно, если ошибка Гельвеция состояла в том, что он вместо законосообразности видел в общественном развитии только ряд случайностей, то спрашивается, каково же действительное взаимоотношение между случайностью и необходимостью, случайностью и причинностью. Значит ли, что, став на точку зрения детерминистического понимания истории, общественная наука должна целиком исключить случайность из процесса социального развития.

В своем замечании о Гольбахе Плеханов подчеркивает всю неприемлемость метафизического понимания необходимости, ибо в этом

---

[1]) П л е х а н о в, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Соч., т. VII, стр. 86.

случае детерминизм легко превращается в учение об исторических случайностях, выпадающих из общего ряда социальной закономерности:

«Гольбах говорит о бесчисленных последствиях, какие может иметь для судеб государства движение одного единственного атома в мозгу деспота. Детерминизм «философов» не шел дальше в понимании роли необходимости в истории, поэтому для них историческое развитие было подчинено с л у ч а й н о с т и, этой разменной монете необходимости. Свобода оставалась в противоречии с необходимостью, и материализм не умел, как указал Маркс, понять человеческой деятельности» [1]).

Если сопоставить сказанное об отношении к случайности как Гельвеция, так и Гольбаха, то ясным станет, что случайность, как отрицание общественной закономерности, целиком отвергается Плехановым, по мысли которого основная задача теории исторического материализма состоит в изучении диалектических законов социального процесса.

Вместе с тем, уже в замечании по поводу Гольбаха приводится соображение о том, что именно метафизический детерминизм легко превращается в свою противоположность—учение об исторических случайностях, нарушающих закономерность; на ряду с этим, Плеханов указывает, что свобода и необходимость должны быть поняты в их диалектическом взаимоотношении, но не как две метафизически противополагаемые друг другу абстрактные категории.

Рассматривая утопический социализм Фурье, Плеханов снова отмечает значение «счастливых случайностей» для просветителей XVIII века: именно непонимание общественной закономерности приводило их к погоне за «счастливой случайностью»; видя в истории человечества только ряд случайностей, они и свои реформаторские планы надеялись осуществить при помощи случайности.

Вот что говорит Плеханов о Фурье:

«Его практичность оказалась заранее осужденной на неудачу, безотрадной погоней з а с ч а с т л и в о й с л у ч а й н о с т ь ю. Погоней за с ч а с т л и в о й с л у ч а й н о с т ь ю усердно занимались еще просветители XVIII века. Именно в надежде на такую случайность и старались они, всеми правдами и неправдами, вступать в дружеские сношения с более или менее просвещенными «законодателями» и аристократами того времени. Обыкновенно думают, что раз человек сказал себе: мнение правит миром, то у него уже нет поводов унывать насчет будущего: la raison finira par avoir raison. Но это не так. Когда, каким путем восторжествует разум? Просветители говорили, что в общественной жизни все зависит, в конце концов, от «законодателя». Поэтому они и уловляли законодателей. Но те же просветители хорошо знали, что характер и взгляды человека зависят от воспитания и что, вообще говоря, воспитание не предрасполагало «законодателей» к усвоению просветительных учений. Поэтому они не могли не сознавать, что мало надежды на законодателей. Оставалось уповать на с ч а с т л и в у ю с л у ч а й н о с т ь. Вообразите, что у вас есть огромный ящик, в котором очень много черных шаров и два-три белых. Вы вынимаете шар за шаром. В каждом отдельном случае у вас несравненно меньше шансов вынуть белый шар, нежели черный. Но, повторив операцию достаточное число раз, вы вынете, наконец, и белый. То же и с «законодателями». В каждом отдельном случае несрав-

[1]) П л е х а н о в, Очерки по истории материализма, Соч., т. VIII, стр. 187.

ненно вероятнее, что законодатель будет против «философов», но явится же, наконец, и согласный с философами законодатель. Этот сделает все, что предписывает разум. Так, буквально так, рассуждал Гельвеций. Суб'ективно - идеалистический взгляд на историю («мнения правят миром»), повидимому отводящий такое широкое место свободе человека, на самом деле представляет его игрушкою случайности. Вот почему этот взгляд, в сущности, очень безотраден» [1]).

Равным образом, рассматривая исторические взгляды Чернышевского, Плеханов их недостаток видит в том, что в них отводится чрезвычайно широкое место случайности.

Случайность здесь снова употребляется в смысле отсутствия закономерности, закопосообразности; о Чернышевском Плеханов говорит следующее: «В исторических взглядах нашего автора случайности отводится вообще очень широкое место. Даже современный нам экономический строй, характер, законы и тенденции которого он довольно хорошо выясняет вслед за школой Смита-Рикардо, представляется ему продуктом исторических случайностей» [2]).

Та же мысль проводится Плехановым и в следующей, более распространенной формулировке:

«...В исторических взглядах нашего автора отводится чрезвычайно широкое место случайности. Можно сказать, что все направление западно-европейской истории в продолжение 14 веков, последовавших за падением Римской империи, определилось, по его мнению, одной колоссальной случайностью или, как выражается он в другом месте, геологической катастрофой: нашествием варваров. Выражение «геологическая катастрофа» приводит нам на память Кювье, у которого геологическими катастрофами об'яснялись судьбы фауны и флоры земного шара. Мы уже знаем, что Чернышевский отвергал теорию Кювье, держась точки зрения трансформизма. И вот спрашивается, каким образом трансформизм уживался в его исторических взглядах с учением о случайностях и катастрофах, на целые столетия определяющих собой исторические судьбы народов?»

Как общий вывод из всего того, что сказано Плехановым о случайности в непосредственной связи с рассмотрением взглядов французских материалистов XVIII века (Гольбаха, Гельвеция), утопических социалистов (в частности Фурье) и, наконец, Чернышевского, следует, что грубой ошибкой всех этих авторов основоположник русского марксизма считал их пренебрежение общественной законосообразностью и преувеличенную оценку роли случайности в ходе исторического процесса. Если же принять во внимание, что эти высказывания Плеханова о случайности были даны на общем фоне борьбы за материалистическое мировоззрение против философии суб'ективизма народников, то станет ясным все значение плехановской критики учения о «счастливых случайностях».

Не следует забывать, что проблема случайности привлекла к себе внимание Плеханова именно потому, что, разрабатывая теорию исторического материализма, он противопоставил народнической филосо-

---

[1]) Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Соч., т. VII, стр. 101—102.
[2]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. V, стр. 273.

фии суб'ективизма марксистское понимание общественного развития как процесса закономерного, необходимого; утверждая закономерность исторических явлений, Плеханов в то же время вскрывал антинаучность социальных теорий, опирающихся на историческую случайность как в своих об'яснениях самого процесса общественного развития, так и в своих утопических планах общественного преобразования.

Уже в 80-х годах его полемика с народниками отчетливо вскрыла теоретическую необоснованность, практическую неприменимость к действительной жизни и реакционную социальную сущность философии суб'ективизма.

Сам отдав народничеству дань юношеского увлечения, Плеханов, овладев диалектическим методом научного социализма, тем беспощаднее и тем обоснованнее показал, в каких неразрешимых логических противоречиях запутались народники, просмотревшие развитие капитализма в России, историческую роль растущего класса—пролетариата, новые взаимоотношения города и деревни.

Еще оставаясь в рядах народников, Плеханов в 1879 г. в статье своей «Закон экономического развития общества и задачи социализма в России» обнаруживает принципиальное согласие с основными положениями исторического материализма, хотя и пытается доказать, что Россия не подчиняется «общим законам» капиталистического способа производства.

«Вообще, история вовсе не есть однообразный механический процесс. Да и сам Карл Маркс не принадлежит, сколько нам известно, к числу людей, охотно укладывающих человечество на Прокрустово ложе «общих законов». Возражая Мальтусу по поводу его «Опыта о народонаселении», он говорит, что абстрактные законы размножения существуют только для животных и растений. Было бы очень непоследовательно с его стороны отрицать существование «абстрактных законов» в вопросе о размножении человечества и признавать их в несравненно более сложных и запутанных явлениях развития человеческих обществ. Выражаясь строже, надо сказать, что законы социальной динамики существуют, но, переплетаясь и комбинируясь различно в различных обществах, они дают совершенно несходные результаты точно так же, как одни и те же законы тяготения дают в одном случае эллиптическую орбиту планеты, в другом—параболическую орбиту кометы.

Итак, мы не видим основательности в тех соображениях, в силу которых заключают, что Россия не может миновать капиталистической продукции» [1]).

Таким образом, теоретически и принципиально склоняясь к принятию марксистского закономерного об'яснения общественного развития, Плеханов в 1879 г. допускал возможность случайного отклонения России от «общих законов» капиталистического общества.

В большей мере его идеологическая близость к марксизму сказалась в статье 1880 года—«Черный Передел»; брошюра «Социализм и политическая борьба» послужила толчком к окончательному, официальному разрыву его с народничеством; в «Наших разногласиях» Плеханов выступает уже как последовательный теоретик марксизма.

Последовательное проведение взгляда на общественное развитие как на закономерный, необходимый процесс, а следовательно несогласие с утопическим социализмом в его учении об исторической

---

[1]) Плеханов, Закон экономического развития общества и задачи социализма в России, Соч., т. I, стр. 62.

случайности, исключающей закономерность социального движения—такова точка зрения Группы «Освобождение Труда».

«Для нас желательное вырастает из необходимого и ни в каком случае не заменяет его в наших рассуждениях. Для нас свобода личности заключается в знании законов природы,—т.-е., между прочим, и истории,—и в умении подчиняться этим законам, т.-е., между прочим, и, комбинировать их наивыгоднейшим образом. Мы убеждены, что, когда общество ступило на след естественного закона своего движения, оно не может ни перескочить естественные фазы своего развития, ни устранить их декретами.—Но оно может сократить и облегчить мучения родов» [1]).

90-е годы начались под знаком усиленной полемики с противниками исторического материализма—Н. К. Михайловским, проф. Кареевым и др.; в 1895 г. вышла в свет та работа Плеханова, которой суждено было стать настольною книгой марксиста, которая обозначала собою поворотный пункт в истории русской общественной мысли,—это была книга Бельтова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

В этой классической работе по теории и генезису диалектического материализма Плеханов не только дал убийственную, уничтожающую критику положений, защищавшихся противниками, но и развил положительным образом ряд соображений, существенно важных для понимания марксистской философии. Охарактеризовав историческое происхождение диалектического материализма, отметив его генетическую связь с французским материализмом и диалектическим методом Гегеля, Плеханов, вместе с тем, нагляднейшим образом показал все преимущество диалектического материализма Маркса и Энгельса перед метафизическим материализмом их предшественников и все отличие научного диалектического метода марксизма от идеалистической диалектики гегельянства. В этой своей книге, сделавшей эпоху, Плеханов выяснил, сколь ошибались противники марксизма, обвинявшие последний в «односторонности», в «фатализме», в требовании слепого подчинения личности железному экономическому закону. Выяснение глубокого философского смысла диалектического материализма, как метода исследования общественных явлений, а вместе с тем как метода действия; указание на всю непримиримость марксистской диалектики с фаталистическим отношением к жизни; подчеркивание того факта, что именно диалектический материализм способен разрешить те логические противоречия, к которым неизбежно приходит философия суб'ективизма в вопросах о героях и толпе, о свободе и необходимости, идеале и действительности—таковы основные черты, характеризующие философское значение блестящей полемики Плеханова с народниками.

Указав значение французского материализма XVIII века для генезиса марксистской теории, Плеханов, вместе с тем, вскрыл и основные его недостатки; выполнение этой задачи сыграло огромную роль в деле теоретического обоснования и укрепления марксизма в России; именно с этой точки зрения и можно оценить плехановскую критику учения о случайности Гольбаха и Гельвеция.

Равным образом и критика утопического социализма в его учении о случайности служила Плеханову одним из опорных пунктов в борьбе за марксизм; для того, чтобы ясно представить, какое громадное значение Плеханов придает проблеме случайности и как тесно свя-

[1]) Плеханов, Наши разногласия, Соч., т. II, стр. 113.

зывает он ее с центральным узлом социальной теории утопических социалистов, достаточно вспомнить следующий его отзыв о них: «Считая буржуазный строй несправедливым и неразумным, они об'ясняли себе его историческое возникновение промахом мысли, ошибочным расчетом человечества. На вопрос:—почему ошибалось человечество?—у них всегда был готов ответ: по своему невежеству, простому или ученому. Вопрос же о том, почему оно ошибалось именно в эту, а не какую-нибудь другую сторону?—или вовсе не приходил в голову социалистам, или решался ими с помощью ссылок на разного рода исторические случайности» [1]).

Таким образом, можно считать твердо установленным положением, что если в своих первых, народнических статьях Плеханов готов был допустить «счастливую случайность» в истории России XIX в., вырвавшую ее из общего хода развития капитализма,—то для Плеханова-марксиста одной из основных задач борьбы за научный социализм была задача выяснить ту общественную закономерность, ту историческую необходимость, которая должна была привести Россию к социализму через стадию капиталистического производства. Именно поэтому Плеханов и отверг учение просветителей, метафизических материалистов и утопических социалистов об исторической случайности, исключающей общественную закономерность.

Подобная историческая случайность для Плеханова является «суб'ективной категорией», т.-е., другими словами, научное познание действительных диалектических законов общественного развития, устанавливая историческую закономерность, тем самым исключает историческую случайность, как категорию этой закономерности, противоречащую, не встречающую себе соответствия в об'ективной реальности, а следовательно относящуюся к области «суб'ективного фактора»—незнания или непонимания общественных явлений. Научный социализм, изучая закономерность общественной диалектики, устраняет метафизическую категорию случайности, составлявшую неот'емлемый признак социализма утопического.

Отбросив метафизическую категорию случайности, Плеханов получил возможность поставить и разрешить проблему случайности с точки зрения диалектического материализма. При разрешении этой задачи он мог опереться не только на труды Маркса и Энгельса, но и на диалектическое понимание случайности Гегеля.

Излагая гегелевскую философию истории, Плеханов говорит:

«Цезарь стремился к единовластию в Риме, это была его личная цель, но единовластие было в то время исторической необходимостью. Поэтому, осуществляя свою личную цель, Цезарь сослужил службу всемирному духу. В этом смысле можно сказать, что исторические деятели, как и целые народы, являются слепыми орудиями духа. Он заставляет их работать на себя, выставляя перед ними приманки в виде их частных целей и подгоняя их шпорою страсти, без которой не делается ничего великого в истории...

Случайность человеческого произвола и человеческого усмотрения уступает место закономерности, т.-е., следовательно, и необходимости. В этом заключается, несомненное преимущество «абсолютного идеализма» сравнительно с наивным идеализмом французских просветителей» [2]).

---

[1]) Плеханов. Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 16.
[2]) Плеханов, К шестидесятой годовщине смерти Гегеля, Соч., т. VII, стр. 45.

Заслуга Гегеля состояла в том, что категории необходимости, случайности, свободы получили у него диалектическое истолкование; абстрактная противоположность между необходимостью и свободою, необходимостью и случайностью была снята Гегелем на общей основе абсолютного идеализма, а в дальнейшем эта диалектическая точка зрения получила материалистическое обоснование в марксизме.

«Стоять на точке зрения просветителей—значило не итти дальше абстрактной противоположности между свободой и необходимостью. На первый взгляд кажется, что если в истории господствует необходимость, в ней нет уже места для свободной деятельности человека. Эта огромная ошибка была исправлена немецкой идеалистической философией. Уже Шеллинг показал, что, при правильном взгляде на дело, свобода оказывается необходимостью, необходимость—свободою. Гегель окончательно разрешил антиномию между свободой и необходимостью. Он показал, что мы свободны лишь постольку, поскольку познаем законы природы и общественно-исторического развития и поскольку мы, подчиняясь им, опираемся на них. Это было величайшее приобретение как в области философии, так и в области общественной науки,—приобретение, которым в полном его об'еме воспользовался, однако, только современный, диалектический материализм» [1]).

Таким образом, абстрактные метафизические категории необходимости и свободы, характерные для просветительной философии, для диалектического материализма оказываются неприемлемыми; равным образом неприемлема для него, по мысли Плеханова, и метафизическая категория случайности, абстрактно противополагаемой закономерности, необходимости.

В философии истории Гегеля Плеханов находит диалектическое разрешение проблемы случайности: «Спрашивается, почему империя сменила республику? Закон достаточной причины ручается нам только за то, что факт не мог быть беспричинным. Но он не дает ни малейшего указания относительно того, где надо искать причины или причин данного факта. Может быть, республика уступила место империи потому, что у Цезаря было больше военного таланта, чем у Помпея; может быть, потому, что Кассий и Брут наделали ошибок; может быть, потому, что очень ловок и хитер был Октавий, а может быть, и еще по каким-нибудь *случайным причинам*. Гегель не довольствуется подобными об'яснениями. По его мнению, *случайность есть лишь оболочка, под которой скрывается необходимость*. Конечно, и понятие необходимости можно истолковать очень поверхностно; можно сказать, что падение римской республики сделалось необходимым потому и только потому, что Цезарь победил Помпея. Но у Гегеля это понятие имело другой, несравненно более глубокий смысл. Когда он называл данное общественное явление необходимым, то у него это значило, что оно подготовлено всем предыдущим ходом развития той страны, в которой оно совершается» [2]).

Итак, плехановское понимание категории случайности в основном сводится к утверждению, что между случайностью и необходимостью нет абсолютного различия, как между двумя друг друга взаимно исключающими абстрактными, метафизическими категориями; для диалектика «случайность есть лишь оболочка, под которой скрывается

[1]) Плеханов, К шестидесятой годовщине смерти Гегеля, Соч., т. VII, стр. 48.

[2]) Плеханов. Соч., т. VIII, стр. 361.

необходимость», случайность есть форма проявления необходимости. Об'ективная, с точки зрения утопистов, и суб'ективная, с точки зрения марксизма, категории случайности, исключающей законосообразность, необходимость, должна быть заменена об'ективной категорией случайности, как формы проявления необходимости. Метафизическая категория случайности отбрасывается, а сама проблема случайности разрешается диалектическим материализмом на основе научного понимания общественного процесса, необходимость которого скрывается под оболочкой случайности.

В статье 1897 года «Белинский и разумная действительность» Плеханов, анализируя знаменитую гегелевскую формулу «все действительное—разумно; все разумное—действительно» и ее преломлении в сознании «неистового Виссариона» и его современников, снова возвращается к проблеме случайности. Как и в прежних своих работах, он проводит ту мысль, что «точка зрения случайности» утопических социалистов и философов XVIII в., совершенно неприемлемая для марксизма, была превзойдена уже гегелевским учением о необходимости процесса развития.

Приведем из этой статьи наиболее характерный отрывок, где, в связи с критикой взглядов Герцена, Плеханов высказывается по вопросу о проблеме случайности:

«Диалектика плохо далась Герцену. Известно, что в «Contradictions économiques» Прудона он до конца жизни видел в высшей степени удачное применение диалектического метода к изучению общественной экономии. Он видел, что правильно понятая философия Гегеля не может быть (что бы ни говорил сам Гегель) философией застоя. Но если кто плохо понял у нас гегелево выражение о разумности всего действительного, то это был именно блестящий, но поверхностный Герцен. Он говорит в «Былом и думах»: «Философская фраза, наделавшая всего больше вреда, и на которой немецкие консерваторы стремились помирить философию с политическим бытом Германии: «все действительное разумно», была иначе высказанное начало д о с т а т о ч н о й  п р и ч и н ы  и соответственности логики и фактов». Но Гегель никогда не удовольствовался бы таким общим местом, как «начало достаточной причины». Философы XVIII века тоже признавали это начало, однако они были очень далеки от гегелева взгляда на историю как на законосообразный процесс. Все дело в том, где и как данная теория общества ищет достаточных причин общественных явлений. Отчего пал старый порядок во Франции? Оттого ли, что очень красноречив был Мирабо? Или оттого, что бездарны были тогдашние французские охранители? Или оттого, что не удался побег королевской семьи? Указанное Герценом «начало» ручается только за то, что была какая-то причина падения старого порядка, но не дает никаких указаний относительно метода исследования этой причины. Вот этому-то горю и старалась помочь философия Гегеля. Рассматривая историческое развитие человечества, как законосообразный процесс, она тем самым устраняла точку зрения с л у ч а й н о с т и. Да и н е о б х о д и м о с т ь понималась Гегелем совсем не в обычном смысле этого слова. Если мы говорим, например, что старый порядок во Франции пал вследствие случайной неудачи королевского побега, то мы признаем, что раз не удался этот побег,—падение старого порядка сделалось н е о б х о д и м ы м. Понимаемая таким вульгарным и поверхностным образом необходимость есть лишь обратная сторона случайности. У Гегеля она имела другое значение. Когда он говорил, что

данное общественное явление необходимо, это значило, что оно подготовлено внутренним развитием той страны, в которой оно совершается... Да и это еще не все. По смыслу его философии всякое явление в процессе своего развития само из себя создает те силы, которые впоследствии его отрицают» [1]).

Необходимо признать, что в данном месте Плеханов не совсем ясно сформулировал свое отношение к вопросу о взаимоотношении случайности и необходимости.

Действительно, как следует понимать его утверждение, что философия Гегеля, «рассматривая историческое развитие человечества как законосообразный процесс,... тем самым устраняла точку зрения случайности». Значит ли это, что случайность вообще есть суб'ективная категория, или же, что суб'ективной категорией следует признать лишь случайность в понимании философии XVIII века, а, вместе с тем, противопоставить ей диалектическое понимание случайности, как об'ективной категории. С этой точки зрения громадный интерес приобретает примечание, сделанное Плехановым именно к этой, допускающей два различных толкования, фразе.

В примечании этом основоположник русского марксизма дает то определение случайности, как об'ективной категории, которое легло в основу его работы «К вопросу о роли личности в истории»,—то определение, согласно которому случайность имеет место в точке пересечения необходимых процессов.

«Гегель говорил, правда, что во всем конечном есть элемент случайности (in allem Endlichen ist ein Element des Zufälligen), но по смыслу его философии случайность встречается лишь в точке пересечения нескольких необходимых процессов, поэтому принимаемое им (и совершенно правильное) понятие о случайности совсем не мешает научному об'яснению явлений; чтобы понять данную случайность, надо уметь найти удовлетворительное об'яснение, по крайней мере, двух необходимых процессов».

Если даже признать, что и это примечание не раскрывает до конца точки зрения Плеханова на категорию случайности, то, во всяком случае, оно достаточно убедительно говорит о том, что свое понимание он не только не противопоставлял гегелевскому, но, наоборот, теснейшим образом с ним сближал. По существу же проблема, лишь мельком затронутая в данном месте, была поставлена в статье 1898 г.— «К вопросу о роли личности в истории».

Заслуга Гегеля в деле обоснования диалектического понимания категории случайности Плехановым подчеркивалась неоднократно; задача философии марксизма состояла в том, чтобы, исходя из диалектического понимания категории случайности, поставить и разрешить проблему случайности на основе материалистического миропонимания. Задача эта стояла перед Плехановым, когда он писал свою работу «К вопросу о роли личности в истории».

В работе этой Плеханов развивает ту мысль, что для исторического материализма не существует абсолютной противоположности между случайностью и необходимостью, в противном случае он не был бы в силах разрешить антиномию «общих причин» и деятельности отдельных личностей.

Философы XVIII века предполагали, что случайность может совершенно изменить ход истории; буржуазные историки начала XIX сто-

---

[1]) Плеханов, Белинский и разумная действительность, Соч., т. X, стр. 241.

летия действием «общих причин» об'ясняли даже индивидуальные черты исторических событий, впадая, таким образом, в фатализм. Оба направления исходят из метафизического противопоставления необходимости и случайности, и в этом их основная ошибка.

Для философов XVIII века случайность была об'ективной метафизической категорией; для историков начала XIX века случайность была суб'ективной метафизической категорией. Ни та, ни другая точка зрения не удовлетворяют Плеханова и, следуя за Энгельсом и Гегелем, он понимает случайность как об'ективную диалектическую категорию. Ставя вопрос о значении этой категории для общественного развития, он определяет случайность, как результат пересечения необходимых процессов.

Именно это понимание случайности позволяет Плеханову разрешить вопрос о роли личности в истории. Научное изучение социальных явлений, имеющее своей целью установление общих законов исторического движения, по мысли Плеханова, только при том условии может преодолеть фаталистическую точку зрения, если признает, что во всех общественных процессах есть элемент случайности.

— Судьбы общества,— говорит Плеханов,—в известной мере, зависят от деятельности личностей, в этом смысле можно говорить о личном влиянии на процесс социального развития; в свою очередь, роли личностей определяются социальной организацией, а поэтому их общественное влияние нисколько не противоречит понятию закономерности общественного развития.

Этот вопрос об общественном влиянии личности Плеханов рассматривает в тесной связи с проблемой случайности.

«Обусловленная организацией общества возможность общественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов для так называемых случайностей. Сластолюбие Людовика XV было необходимым следствием состояния его организма. Но по отношению к общему ходу развития Франции это состояние было случайно. А между тем, оно не осталось, как мы уже сказали, без влияния на дальнейшую судьбу Франции и само вошло в число причин, обусловивших собою эту судьбу. Смерть Мирабо, конечно, причинена была вполне закономерными патологическими процессами. Но необходимость этих процессов вытекала не из общего хода развития Франции, а из некоторых частных особенностей организма знаменитого оратора и из тех физических условий, при которых он заразился. По отношению к общему ходу развития Франции эти особенности и эти условия являются случайными. А между тем, смерть Мирабо повлияла на дальнейший ход революции и вошла в число причин, обусловивших его собою.

Еще поразительное действие случайных причин в вышеприведенном примере Фридриха II, вышедшего из крайне затруднительного положения лишь благодаря нерешительности Бутурлина. Но значение Бутурлина даже по отношению к общему ходу развития России могло быть случайным в определенном нами смысле этого слова, а к общему ходу развития Пруссии оно, конечно, не имело никакого отношения. А между тем, не лишено вероятия то предположение, что нерешительность Бутурлина выручила Фридриха из отчаянного положения. Если бы на месте Бутурлина был Суворов, то, может быть, история Пруссии пошла бы иначе. Выходит, что судьба государств зависит иногда от слу-

чайностей, которые можно назвать случайностями второй степени. «In allem Endlichen ist ein Element des Zufälligen»,—говорил Гегель (во всем конечном есть элемент случайного). В науке мы имеем дело только с «конечным»; поэтому можно сказать, что во всех процессах, изучаемых ею, есть элемент случайности. Не исключает ли это возможность научного познания явлений? Нет. Случайность есть нечто относительное. Она является лишь в точке пересечения необходимых процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу случайностью, в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайностью была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков; не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцев легко преодолела сопротивление туземцев. Не случайны были и последствия завоевания Мексики и Перу европейцами; эти последствия определились в конце концов в равнодействующую двух сил: экономического положения завоеванных стран, с одной стороны, и экономического положения завоевателей, с другой. А эти силы, как и их равнодействующая, вполне могут быть предметом строгого научного исследования» [1]).

Случайность, по определению Плеханова, имеет место в точке пересечения необходимых процессов; именно в этом смысле исторический материализм разрешает вопрос о взаимоотношении случайности и необходимости, именно в этом смысле следует истолковывать гегелевское положение: во всем конечном есть элемент случайности.

«Личные особенности руководящих людей определяют собою индивидуальную физиономию исторических событий, и элемент случайности, в указанном нами смысле, всегда играет некоторую роль в ходе этих событий, направление которого определяется в последнем счете так называемыми общими причинами, т.-е., на самом деле развитием производительных сил и взаимными отношениями людей в общественно-экономическом процессе производства. Случайные явления и личные особенности знаменитых людей несравненно заметнее, чем глубоко лежащие общие причины» [2]).

Слова, подчеркнутые нами в вышеприведенной цитате, вполне ясно показывают, как именно Плеханов разрешал проблему случайности на общем фоне учения о необходимости общественного развития; вместе с тем они же текстуально доказывают, что Плеханов не только дал определение категории случайности, отличное от определения метафизических материалистов и утопических социалистов, но сам же подчеркнул это отличие выражением: «Элемент случайности в указанном нами смысле», т.-е. случайности, имеющей место в точке пересечения необходимых процессов.

Непосредственно за этой формулировкой роли случайности как об'ективной диалектической категории следует анализ случайности как об'ективной метафизической категории и случайности как суб'ективной метафизической категории.

Позиция сторонников учения о случайности как об об'ективной метафизической категории следующим образом характеризуется Пле-

---

[1]) Плеханов, К вопросу о роли личности в истории, Соч., т. VIII, стр. 293—295.

[2]) Там же, стр. 301.

хановым: «Случайные явления и личные особенности знаменитых людей несравненно заметнее, чем глубоко лежащие общие причины. Восемнадцатый век мало задумывался над этими общими причинами, об'ясняя историю сознательными поступками и «страстями» исторических деятелей. Философы того века утверждали, что история могла бы пойти совершенно другими путями, под влиянием самых ничтожных причин,—например, вследствие того, что в голове какого-нибудь правителя зашалил какой-нибудь—атом—».

Этой точке зрения Плеханов противополагает метафизическое учение о случайности как о суб'ективной категории: «Защитники нового направления в исторической науке стали доказывать, что история не могла пойти иначе, чем она шла на самом деле, несмотря ни на какие «атомы». Стремясь как можно лучше оттенить действие общих причин, они оставляли без внимания значение личных особенностей исторических деятелей. У них выходило, что исторические события ни на волос не изменились бы от замены одних лиц другими, более или менее способными. Но раз мы допускаем такое предположение, мы необходимо должны признать, что личный элемент не имеет в истории ровно никакого значения, и что все сводится в ней к действию общих причин, общих законов исторического движения. Это была крайность, вовсе не оставлявшая места для той доли истины, которая заключалась в противоположном взгляде. Но именно поэтому противоположный взгляд продолжал сохранять за собою некоторое право на существование. Столкновение этих двух взглядов приняло вид антиномии, первым членом которой являлись общие законы, а вторым—деятельность личностей. С точки зрения второго члена антиномии история представляется простым сцеплением случайностей; с точки зрения первого члена казалось, что действием общих причин были обусловлены даже индивидуальные черты исторических событий. Но, если индивидуальные черты событий обусловливаются влиянием общих причин и не зависят от личных свойств исторических деятелей, то выходит, что эти черты определяются общими причинами и не могут быть изменены, как бы ни изменились эти деятели. Теория принимает, таким образом, фаталистический характер».

Приведенные слова Плеханова с полной убедительностью доказывают то положение, что в работе своей «К вопросу о роли личности в истории», где он особенно подробно разобрал проблему случайности, он решительно отверг понимание случайности как об'ективной метафизической категории и как суб'ективной метафизической категории; в полном согласии с Энгельсом, он понимает случайность как об'ективную диалектическую категорию, как форму проявления необходимости; исходя из этого утверждения, он признает развитие производительных сил последней и самой общей причиной исторического движения человечества, об'ясняя действием «случайностей» индивидуальную физиономию событий.

Так «снимает» Плеханов ту противоположность между случайностью и необходимостью, «в плену которой находится метафизика», а вместе с ней и наши эсесесеровские механисты, упорно твердящие, что случайность, это—суб'ективная категория, и тем самым игнорирующие не только диалектическое разрешение этой проблемы у Гегеля, но и дальнейшее развитие его на материалистической основе—в произведениях великих основоположников марксизма.

Было бы глубочайшей ошибкой отрицать действительное диалектическое понимание случайности Плехановым и ложно приписывать ему метафизическую позицию сторонников того взгляда,—для марксизма целиком неприемлемого,—что случайность при всяком ее определении суб'ективная категория. Если Плеханов главное внимание уделял критике случайности, как об'ективной метафизической категории, и неоднократно, с упорством, все в новых и новых работах, то приводя новые, то повторяя прежние аргументы, боролся с «точкой зрения случайности» утопического социализма,—то на ряду с этим им же было дано теоретическое обоснование учения о случайности как о форме проявления необходимости. То обстоятельство, что более сильное логическое ударение приходится на анализ и опровержение утопического и метафизического понимания случайности, получает себе об'яснение в той исторической обстановке, в какой ему приходилось развивать свои мысли. Мы уже видели, что утверждение взгляда на исторический процесс, как на процесс законосообразный, необходимый, служил Плеханову теоретической базой в его борьбе с народничеством; так как главная задача состояла в обосновании научного социализма и в выяснении основных его отличий от социализма утопического, так как центр внимания приходится на проблему законосообразности общественного развития, то вполне естественно, что в вопросе о случайности Плеханов главное внимание уделял критике метафизической об'ективной категории случайности. Заслуживает высочайшей похвалы та его теоретическая последовательность, которая позволила ему в этой исторической обстановке, уделяя особое внимание самым животрепещущим сторонам проблемы случайности, в то же время с достаточной ясностью и определенностью наметить общую постановку вопроса и отвергая учение о случайности утопического социализма и просветительной философии, утверждая законосообразность, необходимость развития общества, выясняя основные вопросы диалектического материализма, с боем занимая позиции народников,—в то же время заложить фундамент для дальнейшего построения марксистского учения о случайности—«оболочке необходимости».

В истории философии марксизма полемика Плеханова с ревизионистами различных оттенков и калибров сыграла не меньшую роль, чем его борьба с народнической философией суб'ективизма.

В связи с критикой взглядов Эдуарда Бернштейна он затрагивает и вопрос о случайности, при чем опять-таки для правильного понимания его позиции необходимо учесть ту конкретную обстановку, в которой были сделаны его формулировки.

Эдуард Бернштейн, пытавшийся «пересмотреть» самые основы материалистического монизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса и эклектически сочетать марксизм с буржуазной идеологией, отожествить материализм с идеализмом, встретил в Плеханове беспощадного критика, вскрывшего всю общественную реакционность и философскую беспринципность этой «ревизии» марксизма. Следует отметить глубокую идеологическую прозорливость и психологическую проницательность Плеханова, уже в 1898 году, первым среди марксистов указавшего действительный смысл выступлений Бернштейна; прошло несколько лет, и отход Бернштейна от революционного марксизма оформился окончательно, со всей убедительностью лопнувшего гнойного нарыва.

Отрицая возможность научного социализма, Эдуард Бернштейн, вместе с тем, пытался пересмотреть позицию Энгельса в вопросе о

роли и значении случайности как об'ективной метафизической категории утопических социалистов.

Фридрих Энгельс целиком отвергает учение утопистов о чистой случайности, исключающей закономерность общественного развития. Бернштейн возражал против энгельсовской характеристики утопического социализма, как учения, основанного на принятии исторической «чистой случайности».

В своем предисловии к «Развитию научного социализма» Энгельса Плеханов вскрыл всю необоснованность этого бернштейновского утверждения и показал, что «в словах Энгельса нет и тени преувеличения», что вера в историческое всемогущество случайности, особенно ярко выраженная в учении Фурье, характерна для всего утопического социализма.

«Фурье был твердо убежден в том, что ему удалось открыть законы нравственного тяготения, но он никогда не умел взглянуть на свою теорию, как на плод общественного развития Франции. Он сам не раз с удивлением спрашивает себя, почему люди не пришли несколькими столетиями или даже тысячелетиями раньше к тем открытиям, которые ему удалось, наконец, сделать. И он мог себе ответить только ссылкой на ослепление людей, да на силу случайности. По этому поводу он даже написал очень характерное рассуждение о «тирании случая», где он доказывает, что «эта колоссальная и презренная сила почти всецело обусловливает собою все открытия». По его словам, он сам принес ей большую дань в своем «открытии расчета притяжения» (dans la découverte du calcul de l'attraction)... В теории Фурье случай играет еще большую роль... случаем определяется в этой теории все историческое развитие человеческих взглядов и вся судьба человеческих предрассудков. Если люди так долго упорствовали в своем восхищении перед цивилизацией, — говорит Фурье,—то это произошло потому, что никто не последовал совету Бэкона и не сделал критического анализа пороков и недостатков каждой профессии. А почему никто не последовал совету Бэкона? Очень просто: потому что не произошло такого случая, который навел бы людей на мысль о том, что надо ему последовать» [1]).

Отвергая бернштейновскую критику энгельсовской характеристики учения утопистов о случайности, фактическими данными подтверждая полную правоту Энгельса, Плеханов, в противовес ревизионизму Бернштейна, развивает марксистское понимание общественного развития, особенно подчеркивая значение об'ективной категории необходимости, принятие которой исключает тем самым учение о чистой случайности утопистов.

«Основное положение материалистического об'яснения истории гласит, что мышление людей определяется их бытием или что в процессе исторического движения ход развития идей определяется в последнем счете ходом развития экономических отношений. Если это так, то ясно, что возникновение новых экономических отношений необходимо должно вести за собою появление новых людей, соответствующих изменившимся условиям жизни, и если тому или иному гениальному человеку пришла в голову та или другая новая социально-политическая идея; если он увидел, например, несостоятельность старого общественного порядка и не-

---

[1]) Плеханов, Предисловие к переводу, «Развитие научного социализма», Ф. Энгельса, Соч., т. XI, стр. 72-73.

обходимость замены его новым, то это произошло не «случайно»,—как представляли себе это дело социалисты-утописты,—а в силу вполне понятной исторической необходимости. И точно так же распространение этой новой социально-политической идеи, ее усвоение сторонниками гениального человека вовсе не может считаться случайным: она распространяется потому, что соответствует новым экономическим условиям и распространяется как раз в том классе или в том слое населения, который больше всех других испытывает невыгоды устарелого общественного порядка. Процесс распространения новой идеи оказывается тоже закономерным процессом. А так как за распространением идеи, соответствующей новым экономическим отношениям, должно рано или поздно последовать ее осуществление, т.-е. устранение старого и торжество нового общественного порядка, то значит весь ход процесса общественного развития,—вся общественная эволюция с ее различными сторонами и со свойственными ей революционными моментами,—представляется теперь под углом необходимости. И тут перед нами ярко выступает главная черта, отличающая научный социализм от утопического: последователь научного социализма смотрит на осуществление своего идеала, как на дело исторической необходимости, между тем как утопист возлагал главные свои упования на случайность»[1]).

Как видно из вышеизложенного и из приведенных отрывков, Плеханов в полемике с Бернштейном, борясь за самые основы диалектического материализма, вопрос о случайности рассматривает с точки зрения различия между научным социализмом и социализмом утопическим; бернштейновскому утверждению, что утопические социалисты якобы не стояли на точке зрения случайности, Плеханов противопоставляет фактические данные, непреложно доказывающие, что дело обстояло иначе; характеризовав существенные черты учения утопистов о случайности, как об об'ективной метафизической категории, исключающей категорию необходимости, Плеханов справедливо указывает, что это учение ненаучно, и противополагает ему марксистское понимание общественного развития как процесса закономерного необходимого. Делать из этого вывод, что случайность во всех ее значениях была для Плеханова категорией суб'ективной, это значит совершать логическую ошибку quaternio terminorum, не говоря уже о том, что подобному выводу противоречат прямые указания Плеханова, приведенные нами выше, главным образом, при рассмотрении его работы «К вопросу о роли личности в истории».

Было бы весьма интересно, если бы наши механисты, упорно твердящие о случайности как о суб'ективной категории при всяком ее значении, подробно изложили бы свой взгляд на позицию Плеханова в этом вопросе, а заодно высказали бы, наконец, вполне ясно и недвусмысленно свое отношение к энгельсовскому анализу случайности в «Диалектике природы», не ограничиваясь патетическими восклицаниями, туманными формулировками, утверждением азбучных истин, не имеющих никакого отношения к проблеме случайности, и приведением цитат, произвольно вырванных из контекста.

Все значение плехановского диалектического разрешения проблемы случайности особенно ярко проступает при сравнении его с выступлениями механистов. В этом отношении особенно показательна статья А. И. Варьяша «Об общих законах диалектики в книге Энгельса

[1]) Плеханов, ibid., Соч., т. XI, стр. 81.

—Диалектика природы—», напечатанная в третьем сборнике «Диалектика в природе».

В предисловии к этому сборнику,—предисловии анонимном, никем не подписанном, а следовательно, излагающем взгляды всех участников сборника,—одна из ядовитых полемических стрел механического лука направлена против «диалектики..., провозглашающей существование об'ективной случайности».

Как явствует из всего вышеизложенного, это, по существу дела,—выпад против учения о случайности Плеханова, а, вместе с тем, Маркса и Энгельса. Статья А. И. Варьяша целиком подтверждает эту печальную истину.

Статья эта заслуживает быть отмеченной в данном месте уже потому, что в ней делается попытка «ревизии» плехановского учения о роли личности в истории, а в связи с этим и плехановской постановки проблемы случайности.

Для опровержения «диалектики, провозглашающей существование об'ективной случайности», А. И. Варьяш заявляет, что «естествознание нигде не признает случайности в смысле события без достаточной причины» [1]).

Это верно, конечно, как верно, что Волга впадает в Каспийское море,—но ведь диалектический материализм вовсе не понимает случайности как об'ективной категории в смысле «события без достаточной причины». Вспоминая уже приведенную выше цитату из статьи Плеханова «Белинский и разумная действительность», приходится сказать, что диалектика плохо далась... «Герцену»: «Но Гегель никогда не удовольствовался бы таким общим местом, как «начало достаточной причины». Философы XVIII века тоже признавали это начало, однако они были очень далеки от гегелева взгляда на историю как на закономерный процесс. Все дело в том, где и как данная теория общества ищет достаточных причин общественных явлений».

А. И. Варьяш на нескольких страницах разбирает «точку зрения всех естественников, которые в самом деле занимаются экспериментальными исследованиями», и в конечном результате формулирует свой вывод по вопросу о случайности: «Таким образом естествознание нигде не признает случайности в смысле события без достаточной причины». А вот Г. В. Плеханов полагает, что это «начало достаточной причины» столь общее место, что «не дает никаких указаний относительно метода исследования этой причины».

По поводу попытки Герцена истолковать учение Гегеля о разумной действительности в смысле такого общего места, как «начало достаточной причины», Плеханов говорит, что «если кто плохо понял у нас гегелево выражение о разумности всего действительного, то это был блестящий, но поверхностный Герцен»; с еще большим блеском А. И. Варьяш выдает то же общее место за «точку зрения самого Энгельса» и притом «не только по части естествознания, но и по части общественных явлений».

Ревизуя марксистское понимание случайности как об'ективной диалектической категории, тов. Варьяш выдвигает против него утверждение, что «естествознание нигде не признает случайности в смысле события без достаточной причины»—тезис столь общего характера, что под ним охотно подписались бы многие сторонники учения о слу-

---

[1]) А. И. Варьяш, Об общих законах диалектики в книге Энгельса «Диалектика природы», Сборник «Диалектика в природе» № 3, 1928, стр. 103.

чайности как об об'ективной метафизической категории, что было указано уже Плехановым.

Действительно, ловя счастливую случайность, которая изменила бы законосообразный процесс общественного развития, социалисты-утописты отнюдь не исходили из предположения, что имеются «события без достаточной причины»,—наоборот, именно этот тезис и был ими положен в основу уверенности, что наступит же когда-нибудь такое случайное событие, которое послужит достаточной причиной для преобразования общества согласно их утопическим планам.

Как совершенно верно указывает Плеханов, они вовсе не отрицали «начала достаточной причины», и, предложи им в свое время тов. Варьяш «не признавать случайности в смысле события без достаточной причины», они бы ничего не возразили против подобной формулы перехода... к дальнейшей погоне за счастливой случайностью в лице «просвещенного законодателя».

Таково действительное содержание того конечного вывода, к которому приходит тов. Варьяш по вопросу о случайности: проблема случайности и необходимости, законосообразности в тех разрезах, в каких ее рассматривают не только диалектический материализм, не только гегелевская философия абсолютного идеализма, но даже и утопический социализм оказывается целиком вне поля зрения автора статьи «Об общих законах диалектики...».

Весь ход рассуждений А. И. Варьяша может быть представлен в виде следующего силлогизма:

I. Большая посылка: Событий без достаточной причины не существует ни в природе, ни в обществе.

II. Малая посылка: Случайность, это—событие без достаточной причины.

III. Вывод: Случайности не существует ни в природе, ни в обществе, или, выражаясь словами тов. Варьяша, «естествознание нигде не признает случайности в смысле события без достаточной причины» и «в области общественных явлений тоже нет случайностей».

Как ни ценны и оригинальны эти упражнения т. Варьяша в школьной силлогистике, нельзя не признать, что они не имеют никакого отношения к проблеме об'ективной случайности в том смысле, как она ставится в теории диалектического материализма; что ни диалектический материализм, ни гегелевский абсолютный идеализм, ни утопический социализм, говоря о случайности, не понимают ее в смысле события без достаточной причины и что, следовательно, А. И. Варьяш при всякой попытке распространить свой силлогистический вывод на «общие законы диалектики» совершает недопустимое quaternio terminorum.

Снова вспоминая Плеханова, приходится сказать, что не только диалектика, но и формальная логика плохо далась... «Герцену».

Предоставим слово тов. Варьяшу:

«Диалектическая связь между причинностью и случайностью часто понимается так, что так называемые случайные явления не только суб'ективно, но и об'ективно случайны, или, другими словами, что кроме строгой детерминации явлений, кроме ряда строго детерминированных явлений, существуют и другие явления, которые в об'ективном смысле случайны. Случайность, таким образом, имела бы «более глубокий об'ективный смысл», она означала бы не просто наше частичное неведение, а что-нибудь более глубокое. Этот взгляд, по нашему мнению, неправилен. Мы говорим о случайности в том условном

смысле, что мы не можем об'яснить все, что происходит в мире, в этом сложном нашем мире, вскрывая все причинные связи до последней черточки. Но из этого вовсе не следует, что «случайности» сами по себе не являются следствиями причин. Это есть та точка зрения, из которой, по-моему, стоял Энгельс, на которой стою и я, но которая не разделяется всеми. Приверженцы противоположного взгляда ссылаются на Энгельса и говорят, что случайность имеет в природе особое свое об'ективное бытие; что мы не только с человеческой точки зрения говорим о случайности, но что в самой природе существует случайность» [1]).

О том, что диалектические материалисты, «сторонники противоположного взгляда», отнюдь не понимают случайности в смысле события без достаточной причины, мы уже говорили достаточно; в данном месте необходимо остановиться на постановке вопроса о случайности у Энгельса, чтобы показать, что тов. Варьяш не только неправильно ставит проблему случайности, но и неправильно ее разрешает, энгельсовскую точку зрения, совершенно произвольно толкуя в том смысле, что случайность является суб'ективной категорией.

Ту же ошибку А. И. Варьяш совершает и по отношению к плехановской постановке вопроса.

Хотя тов. Варьяш, сам понимающий случайность, как событие без достаточной причины, пытается рассмотреть в этой плоскости учение о случайности как о пересечении необходимых процессов, также как и вопрос о роли личности в истории, он не считает нужным даже упомянуть при этом имени Г. В. Плеханова, но по существу же здесь идет дело о «пересмотре» плехановской позиции на основе ревизии всего марксистского учения о случайности.

Приступая к разрешению вопроса о роли личности в истории, а вместе с тем и к разрешению проблемы исторической случайности, Плеханов исходил из тех положений, какие были им обоснованы уже в более ранних работах («К шестидесятой годовщине смерти Гегеля»—1891 г., «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»—1895 г.), а именно из тех положений, что случайность, если ее понимать в том смысле, что она исключает закономерность, необходимость, должна быть признана категорией для общественной науки неприемлемой, и что исторический материализм методологически должен исходить из диалектического понимания необходимости. Конечным выводом Плеханова, как мы видели, было признание случайности об'ективной диалектической категорией.

В наши дни столь частого искажения марксистского, диалектического понимания случайности отнюдь не лишним будет показать, что все эти положения Плеханова находят себе полное подтверждение в прямых и достаточно определенных указаниях Фридриха Энгельса.

В «Анти-Дюринге» категория случайности употребляется в словосочетаниях: «кажущаяся случайность» и «чистая случайность». Над *кажущейся случайностью* исторических событий, так же, как и над хаосом бесчисленных изменений в природе, по мысли Энгельса, господствуют диалектические законы движения [2]); уже для Гегеля задача научной мысли свелась к тому, чтобы среди *кажущейся случайности* общественного развития обнаружить внутреннюю его закономерность, закономерность, чтобы проследить среди всех блужданий истории ее последовательные ступени [3]).

---

[1]) А. И. Варьяш, op. cit., стр. 97.
[2]) Фр. Энгельс, Анти-Дюринг, М. 1923, стр. 6.
[3]) Ibid., стр. 17—18.

О чистой случайности Энгельс говорит в связи с критикой взглядов утопических социалистов: ошибка их состояла в том, что они предполагали возможным переход к социализму вне зависимости от времени, пространства и исторического развития человечества, т.-е., другими словами, игнорировали действительные законы общественного развития; переход к социализму для них являлся в том смысле чистой случайностью, что они не связывали его с законами развития капитализма [1]).

Спрашивается, что же понимает Энгельс под случайностью, какое содержание вкладывает он в это понятие, является для него случайность об'ективной или суб'ективной категорией? Ответ на этот вопрос в «Анти-Дюринге» дан только намеком, ибо в данном месте Энгельс не занимается проблемой случайности специально. Во всяком случае, из контекста ясно, что чистая случайность исторических явлений, целиком исключающая общественную закономерность, необходимость социального процесса, решительно отвергается Энгельсом, ибо в установлении этой закономерности и состоит задача науки об обществе; говорить об историческом факте как о случайном, понимая под случайностью отсутствие законосообразности, необходимости—это значит впадать в ошибку утопических социалистов. По отношению к этой чистой случайности утопистов можно сказать, что для Энгельса она совершенно неприемлема; говорить о ней можно, только игнорируя действительные законы общественного развития; научный социализм, изучающий реальную необходимость социального процесса, целиком отвергает историческую случайность, если ее понимать как метафизическую категорию, исключающую категорию необходимости.

Путем противопоставления гегелевской точки зрения—позиции утопических социалистов Энгельс намечает диалектическое понимание случайности как категории, не только не исключающей необходимости, но, наоборот, ее предполагающей; именно поэтому Энгельс говорит о кажущейся случайности, над которой господствуют диалектические законы развития. Случайность имеет здесь значение об'ективной категории: вскрытие внутренней закономерности общественного развития отнюдь не исключает наличия того реального, эмпирически данного факта, что имеющие в действительности место «блуждания» истории по видимости являются случайностью, кажущейся случайностью—этой «оболочкой необходимости».

Следовательно, случайность и необходимость отнюдь не являются абсолютными противоположностями, взаимно друг друга исключающими; метафизическое понимание этих категорий следует заменить диалектическим. Прямые указания по этому поводу, устраняющие все недоразумения в истолковании марксистского понимания категории случайности, мы находим в «Диалектике природы» Энгельса.

Прежде всего, следует отметить, что абсолютное противопоставление случайности и необходимости Энгельсом характеризуется как их метафизическое понимание:

«Случайность и необходимость. Другая противоположность, в плену которой находится метафизика, это—противоположность между случайностью и необходимостью. Есть ли что-нибудь более противоречащее друг другу, чем обе эти логические категории?

---

[1]) Ibid., стр. 13.

Как возможно, что обе они тожественны, что случайное необходимо, а необходимое точно так же случайно?»[1]).

При метафизическом противопоставлении случайности и необходимости как категорий, целиком друг друга исключающих, возможна двоякая постановка проблемы случайности: во-первых, можно признать случайные явления сосуществующими на ряду с явлениями необходимыми (т.-е. понимать случайность как метафизическую об'ективную категорию), во-вторых, можно вообще отрицать существование случайных явлений (т.-е. понимать случайность как суб'ективную категорию). И та и другая постановка вопроса, по мысли Энгельса, совершенно неприемлемы для диалектического материализма.

Первая точка зрения характеризуется Энгельсом следующим образом: «Обычный здравый смысл, а с ним и большинство естествоиспытателей рассматривают необходимость и случайность как категории, безусловно исключающие друг друга. Какая-нибудь вещь, какое-нибудь отношение, какой-нибудь процесс либо случайны, либо необходимы, но не могут быть и тем и другим. Таким образом, оба существуют бок-о-бок в природе; в последней заключаются всякого рода предметы и процессы, из которых один случайны, другие необходимы, при чем важно только одно—не смешивать их между собой. Так, например, принимают главные видовые признаки за необходимые, считая остальные различия у индивидов одного и того же вида случайными, и это относится к кристаллам, как и к растениям и животным... А затем об'являют необходимое единственно достойным научного интереса, а случайное безразличным для науки. Это означает следующее: то, что можно подвести под законы, что, следовательно, з н а ю т, то интересно, а то, чего нельзя подвести под законы, чего, следовательно, не знают, то безразлично, тем можно пренебречь. Но при такой точке зрения прекращается всякая наука, ибо задача ее ведь в том, чтобы исследовать то, чего мы не знаем. Это обозначает следующее: что можно подвести под всеобщие законы, то считается необходимым, а чего нельзя подвести, то считается случайным. Легко видеть, что это такого сорта наука, которая выдает за естественное то, что она может об'яснить, сводя непонятное ей к сверх'естественным причинам. При этом по существу дела совершенно безразлично, назову ли я причину непонятных явлений случаем или богом. Оба эти названия являются лишь выражением моего незнания и поэтому не относятся к ведению науки. Наука перестает существовать там, где теряет силу необходимая связь»[2]).

Таким образом, первая метафизическая постановка проблемы случайности приводит к ограничению роли научного мирооб'яснения, раздваивает действительность на естественные и сверх'естественные явления и на ряду с наукой оставляет место и для религии.

Вторая метафизическая постановка проблемы случайности, исходящая из признания простой необходимости, исключающей какую бы то ни было случайность, целиком отвергается Энгельсом, между тем как представитель науки, стоящий на точке зрения детерминистического миропонимания, но не искушенный в диалектическом мышлении, легко может склониться к принятию именно этой точки зрения на случайность. Внимание, тов. Варьяш! «Mutato nomine de te fabula narratur»:

---

[1]) Э н г е л ь с, Диалектика природы, — «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. II, стр. 191.

[2]) Э н г е л ь с, ibid., стр. 191.

«Противоположную позицию занимает детерминизм, перешедший в естествознание из французского материализма и рассчитывающий покончить со случайностью тем, что он вообще отрицает ее. Согласно этому воззрению, в природе господствует лишь простая, непосредственная необходимость. Что в этом стручке пять горошин, а не четыре или шесть, что хвост этой собаки длиною в пять дюймов, а не длиннее или короче на одну линию...—все это факты, которые вызваны неизменным сцеплением причин и следствий, связаны незыблемой необходимостью, и газовый шар, из которого возникла солнечная система, был так устроен, что эти события могли произойти только так, а не иначе. С необходимостью этого рода мы все еще не выходим из границ теологического взгляда на природу. Для науки совершенно безразлично, назовем ли мы это, вместе с Августином и Кальвином, извечным решением божиим, или, вместе с турками, кисметом, или же назовем необходимостью. Ни в одном из этих случаев не может быть речи об изучении причинной цепи, ни в одном из этих случаев мы не двигаемся с места. Так называемая необходимость остается простой фразой, а благодаря этому и случай остается тем, чем он был... Таким образом, случайность не об'ясняется здесь из необходимости; скорее, наоборот, необходимость низводится до чего-то чисто случайного. Если тот факт, что определенный стручок заключает в себе шесть горошин, а не пять или семь, явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон превращения энергии, то значит, действительно, не случайность поднимается до уровня необходимости, а необходимость деградирует до уровня случайности... Хаотическое соединение предметов природы в какой-нибудь определенной области или даже на всей земле остается, при всем извечном, первичном детерминировании его, таким, каким оно было, случайным [1]).

Итак, ни признание случайности, существующей на ряду с необходимостью (случайность как метафизическая об'ективная категория), ни признание случайности вовсе не существующей (случайность как суб'ективная категория) не приемлемы для Энгельса. Первый взгляд он характеризует как бессодержательную метафизику в духе Вольфа, второй—как столь же бессодержательный механический детерминизм; диалектический же материализм должен, по мысли Энгельса, учесть историческую заслугу Гегеля, наметившего (хотя и на основе абсолютного идеализма) недоступное для метафизиков разрешение проблемы случайности, исходящее из понимания случайности как об'ективной диалектической категории:

«В противовес обоим этим взглядам выступает Гегель с неслыханными до того утверждениями, что случайное имеет основание, ибо оно случайно, но точно так же не имеет никакого основания, ибо оно случайно, что случайное необходимо, что необходимость сама определяет себя как случайность, и что, с другой стороны, эта случайность есть скорее абсолютная необходимость (Logik, II книга, отдел: Действительность). Естествознание предпочло игнорировать эти положения, как парадоксальную игру слов, как противоречащую себе самой бессмыслицу, закоснев теоретически в бессодержательности вольфовской метафизики, согласно которой нечто *либо* случайно, *либо* необходимо, но ни в коем случае ни то, ни другое одновременно, или в столь же бессодержательном механическом детерминизме,

---

[1]) Энгельс, ibid., стр. 191—193.

который на словах отрицает случайность в общем, чтобы на практике признать ее в каждом отдельном случае»[1]).

Таким образом, по мысли Энгельса, марксизм, отбрасывая метафизическое противопоставление случайности и необходимости, материалистически преобразовывает диалектическую точку зрения Гегеля: если для Гегеля «случайное необходимо», то равным образом и в формулировке Энгельса «тожество и различие—необходимость и случайность—причина и действие—оба главных противоречия, которые, рассматриваемые раздельно, превращаются друг в друга»[2]).

У Гегеля категория случайности получила диалектическое истолкование в применении к понятиям, к процессу саморазвития абсолютного духа,—Энгельс говорит о приложении категории случайности в ее диалектическом смысле к реальному историческому развитию: «В историческом развитии случайность играет свою роль, которая в диалектическом мышлении, как и в развитии зародыша, выражается в необходимости»[3]).

Энгельс усиленно подчеркивает значение об'ективной, диалектической категории случайности для естественных наук; указав на метафизическое понимание случайности большинством представителей естествознания, он следующими словами характеризует позицию Дарвина:

«В то время как естествознание продолжало так думать, что сделало оно в лице Дарвина?

Дарвин в своем составившем эпоху произведении исходит из крайне широкой, покоящейся на случайности фактической основы. Именно незаметные случайные различия индивидов внутри отдельных видов, различия, которые могут усиливаться до изменения самого характера вида, ближайшие даже причины которых можно указать лишь в самых редких случаях, именно они заставляют его усомниться в прежней основе всякой закономерности в биологии, усомниться в понятии вида, в его прежней метафизической неизменности и постоянстве... Случайность уничтожает необходимость, как ее понимали до сих пор. Прежнее представление о необходимости отказывается служить. Сохранять его—значит навязывать природе, в качестве закона, противоречащее самому себе и действительности произвольное логическое построение, значит отрицать всякую внутреннюю необходимость в живой природе, значит вообще об'явить хаотическое царство случая единственным законом живой природы. Неужели закон и пророки потеряли весь свой авторитет!—кричали вполне последовательно биологи всех школ.

Накопленный за это время материал, относящийся к случайности, устранил, уничтожил старое представление о необходимости»[4]).

Итак, случайность для Энгельса—об'ективная категория, находящаяся во внутренней связи с категорией необходимости; задача социальных и естественных наук состоит в том, чтобы устанавливать диалектические законы развития, исходя из того методологического положения, что «хаос бесчисленных изменений природы» и «все блуждания истории» случайны как форма проявления их внутренней необходимости.

---

[1]) Энгельс, Диалектика природы,—«Архив К. Маркса и Фр. Энгельса», т. II, стр. 193–195.

[2]) Ibid., стр. 201.

[3]) Ibid., стр. 199.

[4]) Ibid., стр. 195.

То разрешение проблемы случайности, какое дает Энгельс в «Диалектике природы», имеет громадное методологическое значение; у Плеханова мы не встретим столь широкой постановки вопроса, однако необходимо твердо усвоить то положение, что отправные пункты плехановской постановки проблемы случайности в ее связи с «вопросом о роли личности в истории» целиком соответствуют позиции Энгельса; как и последний, Плеханов отвергает метафизическое истолкование случайности и необходимости и самое случайность понимает как об'ективную диалектическую категорию.

Как видно из вышеизложенного, А. И. Варьяш, «рассчитывающий покончить со случайностью тем, что он вообще отрицает ее», называющий ее суб'ективной категорией, целиком стоит на точке зрения второй метафизической концепции случайности, отвергаемой Энгельсом.

Вместо того чтобы подробно проанализировать энгельсовскую постановку вопроса, тов. Варьяш предпочитает процитировать несколько отдельных фраз, совершенно произвольно вырванных из контекста и не менее произвольно толкуемых. Так, например, цитируя вне контекста слова Энгельса: «Наука перестает существовать там, где теряет силу необходимая связь», А. И. Варьяш толкует их в том смысле, что случайность для Энгельса—суб'ективная категория [1]). Между тем, в действительности, эти слова направлены против первой метафизической постановки вопроса, когда необходимость и случайность рассматриваются как категории, безусловно исключающие друг друга, когда признается, что «какая-нибудь вещь, какое-нибудь отношение, какой-нибудь процесс либо случайны, либо необходимы, но не могут быть и тем и другим».

Отрицание Энгельсом случайности как об'ективной метафизической категории т. Варьяш путем обычного приема quaternio terminorum превращает в отрицание случайности как об'ективной диалектической категории и, сам стоя на точке зрения второй метафизической концепции случайности, для Энгельса неприемлемой, пытается при помощи смешения понятий приписать свой ошибочный взгляд самому Энгельсу.

Таким образом, при рассмотрении проблемы случайности и при том, как излагая свое собственное мнение, так и возражая «приверженцам противоположного взгляда», тов. Варьяш остается целиком в пределах метафизической постановки вопроса, оба главных видоизменения которой столь ярко охарактеризованы в энгельсовской «Диалектике природы». Проводя свой взгляд на случайность, т. Варьяш грешит против диалектики, пытаясь же навязать его Энгельсу, он нарушает законы формальной логики.

Отношение А. И. Варьяша к плехановской постановке вопроса о случайности, в основном, как мы видели, вполне соответствующей позиции Энгельса,—отличается той особенностью, что, в корне ревизуя Плеханова, т. Варьяш не упоминает его имени и прямо не ссылается на него, но, вместе с тем, он целиком отказывается от его понимания случайности.

Тщательно проанализировав вопрос о роли исторической случайности, как результата пересечения необходимых процессов, Плеханов, как мы видели, пришел к тому выводу, как взгляд философов XVIII века и утопических социалистов, предполагавших, что случайность может совершенно изменить ход истории, так и взгляд буржуазных историков, считавших случайность суб'ективной категорией и впа-

[1]) А. И. Варьяш, op. cit., стр. 98.

давших, таким образом, в фатализм, неприемлемы для диалектического материализма, с точки зрения которого случайность является формой проявления необходимости и как об'ективная диалектическая категория не исключающая, но предполагающая категорию необходимости, проявляет свое действие в пределах «индивидуальной физиономии исторических событий».

Между тем, тов. Варьяш, высказываясь «по части общественных явлений», решительно заявляет, что «и здесь говорить о случайности, по-моему, не приходится» [1]).

Тов. Варьяш готов признать, что «роль личностей, стоящих во главе классовой борьбы, имеет большое значение, может ускорять и замедлять ход событий» [2]), но, вместе с тем, он утверждает, что «роль личности» только «кажется случайной» [3]).

Все дело в том, что в данном месте, как и повсюду, А. И. Варьяш понимает случайность в смысле события без достаточной причины и совершенно не касается того вопроса, какой имеет для диалектического материализма, как это показал Плеханов, действительное, а не мнимое значение, а именно вопроса о взаимоотношении общественной закономерности, необходимости и исторической случайности.

Этим обстоятельством и об'ясняется тот факт, что антиномия взглядов утопических социалистов и буржуазных историков начала XIX века, снятая, превзойденная диалектическим материализмом, о чем Плеханов говорит вполне недвусмысленно, для А. И. Варьяша оказывается непреодолимым препятствием на пути к разрешению проблемы случайности, и сам он становится на точку зрения фаталистического понимания истории, заявляя, что роль личности кажется случайной, а, вместе с тем, сам же себе противоречит, допуская, что роль личности может ускорять и замедлять ход событий.

Таким образом, выдвигая собственное понимание категории случайности как события без достаточной причины, А. И. Варьяш игнорирует прямое указание Плеханова на то обстоятельство, что диалектический материализм не может удовлетвориться этим общим местом и должен дать конкретный анализ диалектических законов общественного развития; когда же А. И. Варьяш пытается это свое понимание случайности применить к рассмотрению плехановской постановки вопроса о роли личности в истории, он не только совершает недопустимое смешение понятий, но и на этой новой стадии своих рассуждений, имманентно им, приходит к логическому противоречию.

Задача теории диалектического материализма в настоящее время состоит в том, чтобы, исходя из диалектической об'ективной категории случайности, как понимали ее Маркс, Энгельс, Плеханов, Ленин, разрабатывать дальше эту проблему на основе марксистского учения о диалектических законах природы и общества.

Плеханов дал много ценного в этой области, что вполне ясно из всего вышеизложенного; вместе с тем, при общей вполне правильной постановке проблемы случайности, он главное внимание сосредоточил на критике случайности как об'ективно-метафизической категории, сравнительно меньше останавливался на анализе позиции сторонников учения о случайности как о суб'ективной категории и в пределах диалектического понимания случайности, как результата пересечения необходимых процессов, только наметив общую по-

[1]) А. И. Варьяш, op. cit., стр. 103.
[2]) Ibid., стр. 127.
[3]) Ibid., стр. 126.

становку проблемы, логическое ударение делал на той стороне вопроса, которая специально касается роли личности в истории; кроме того, как мы видели, в отдельных случаях Плеханов давал не совсем ясные формулировки.

Дополняя и уточняя Плеханова, Ленин следующим образом формулирует методологические задачи, стоящие перед диалектическим материализмом при разрешении проблемы случайности:

«Противоположности (отдельное противоположно общему) тожественны: отдельное не существует иначе, как в той связи, к(ото)рая ведет к общему. Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное есть (так или иначе) общее. Всякое общее есть (частичка или сторона или сущность) отдельного. Всякое общее лишь приблизительно охватывает все отдельные предметы. Всякое отдельное неполно входит в общее и т. д. и т. д. Всякое отдельное тысячами переходов связано с другого рода отдельными (вещами, явлениями, процессами) и т. д. Уже здесь есть элементы, зачатки, понятия необходимости об'ект[ивной] связи природы etc. С л у ч а й н о е и н е о б х о д и м о е, я в л е н и е и с у щ н о с т ь имеются уже здесь, ибо говоря: Иван есть ч[елове]к, Жучка есть собака, это есть лист дерева и т. д., мы отбрасываем ряд признаков, к[а]к с л у ч а й н ы е, мы отделяем с у щ е с т в е н н о е о т я в л я ю щ е г о с я и противополагаем одно другому.

Так[им] образом, в любом предложении можно (и должно), как в «ячейке-клеточке», вскрыть зачатки всех эл[ементов] диал[екти]ки, показав так[им] обр[азом], что всему познанию ч[елове]ка вообще свойственна диал[екти]ка. А ес[тество]знание показывает нам... об'ективную природу в тех же ее качествах, превращение о т д е л ь н о г о в о б щ е е, с л у ч а й н о г о в н е о б х о д и м о е, переходы, переливы, взаимную связь противоположностей. Диалектика и есть теория познания (Гегеля) марксизма; вот на какую сторону дела (это не «сторона» дела, а суть дела) не обратил внимания Плех(ано)в, не говоря уже о других марксистах».

Здесь идет речь о дальнейшем более углубленном развитии плехановской постановки вопроса о случайности. В этом направлении и работают те «приверженцы противоложного взгляда», о которых говорит А. И. Варьяш и которые по отношению к нему оказываются таковыми именно потому, что они придерживаются взгляда Маркса, Энгельса, Плеханова, Ленина.

# Проблема свободы и необходимости у Плеханова[1]).

*Л. Спокойный.*

Нет никаких сомнений в том, что Георгий Валентинович Плеханов является одной из крупнейших фигур в истории ортодоксального марксизма, и притом вовсе не только в масштабе России, но и в масштабе международном. Это мнение разделял, как известно, и В. И. Ленин.

В настоящей статье мы коснемся воззрений Плеханова о свободе и необходимости. Это тем уместнее, что именно разрешением этой проблемы Плеханов оказал наибольшее влияние на развитие ортодоксально-марксистской мысли.

Плеханов отдавал себе вполне ясный отчет в том, что свобода и необходимость диалектически взаимосвязаны друг с другом. Вся его полемика с народничеством пронизана мыслью о том, что признание необходимости общественного развития отнюдь не означает отказа от борьбы за идеал, и что, напротив, бороться за идеал имеет смысл лишь в том случае, если действительно существует необходимость в общественном развитии. Народники, сторонники суб'ективной школы в социологии, никак не могли усвоить точку зрения об'ективной необходимости в истории. По их мнению, об'ективная необходимость упраздняет суб'ективную деятельность. Против такой точки зрения и ополчился Плеханов. «Об'ективная действительность поможет нам выяснить суб'ективную сторону истории» (т. VII, стр. 226),—так формулирует Плеханов основную идею марксизма. Народники же, как убедительно показал Плеханов не понимают самой этой постановки вопроса. Поэтому и спор их с марксистами очень мало касается существа вопроса. Плеханов так изображает этот спор: «Тут-то и повторяется обыкновенно нечто удивительно похожее на разговор Чацкого с Фамусовым.—«В процессе производства своей общественной жизни люди наталкиваются на известные, определенные, от их воли не зависящие отношения отношения производства»...—Ах, батюшки, он фаталист!..—«На экономической основе возвышаются идеологические надстройки»...—Что говорит! И говорит, как пишет! Он совсем не признает роли личности в истории!..—«Да выслушайте же хоть раз; ведь из предыдущего следует, что»...—Не слушаю, под суд! Под нравственный суд активно-прогрессивных личностей, под явный надзор суб'ективной социологии!!» (т. VII, стр. 226).

Итак, нельзя понимать об'ективизм в социологии, как отрицание целей, деятельности, и вовсе не нужно поэтому отвергать об'ек-

---

[1]) Доклад, читанный на заседании Ленинградского Научно-Исследовательского института марксизма, посвященном десятилетию со дня смерти Г. В. Плеханова.

тивную необходимость, чтобы оставить место для целей и деятельности. Плеханов прекрасно понимал, что обосновать такое воззрение можно только диалектическим методом. По крайней мере, в своей статье, посвященной 60-летней годовщине смерти Гегеля, Плеханов высказал это вполне ясно: «На первый взгляд кажется, что если в истории господствует необходимость, в ней нет уже места для свободной деятельности человека. Эта огромная ошибка была исправлена немецкой идеалистической философией. Уже Шеллинг показал, что при правильном взгляде на дело свобода оказывается необходимостью, необходимость — свободою. Гегель окончательно разрешил антиномию между свободой и необходимостью. Он показал, что мы свободны лишь постольку, поскольку познаем законы природы и общественно-исторического развития и поскольку мы, подчиняясь им, опираемся на них. Это было величайшее приобретение как в области философии, так и в области общественной науки, — приобретение, которым в полном его об'еме воспользовался, однако, только современный, диалектический материализм» (т. VIII, стр. 48).

Учение Гегеля о свободе и необходимости Плеханов справедливо считал величайшим приобретением как для философии, так и для общественной науки. Что касается философии, материалистическую интерпретацию этого учения Гегеля дал уже Энгельс. Плеханову этой стороной дела не пришлось заниматься подробно. Нужно не забывать, что его собственные философские интересы вращались больше в плоскости гносеологии, да отчасти в плоскости проблемы психического и физического. Но зато значение проблемы свободы и необходимости для общественных наук было блестяще вскрыто никем другим, как именно Плехановым.

Характерно, что все те классические философы, к которым Плеханов относился с симпатией—Спиноза, Шеллинг, Гегель, — все они интересны именно своей постановкой проблемы свободы и необходимости. Спиноза, несмотря на обще-метафизическую тенденцию своей системы, проблему свободы и необходимости решает, несомненно, диалектически. Шеллинг и Гегель — диалектики par excellence, при чем в воззрениях их обоих эта же проблема занимает весьма видное место. Правда, здесь может появиться некоторое сомнение. Кроме Спинозы, Шеллинга, Гегеля, Плеханов придавал громадное значение французским материалистам XVIII века, особенно Гельвецию и Гольбаху. Между тем, Гельвеций и Гольбах, во-первых, вообще являются метафизиками, а, во-вторых, особенно ярко проявляют свою метафизичность именно тогда, когда берутся за проблему свободы и необходимости. Это верно. Но это нисколько не противоречит ни тому, что проблема свободы и необходимости была центром интересов Плеханова, ни тому, что его внимание привлекали именно те философские системы, которые диалектически решали вышеупомянутую проблему.

Гельвеция и Гольбаха Плеханов справедливо ценил, как материалистов. Излагая их, Плеханов неустанно подвергал их воззрения критике. Те мысли, которые Маркс вкратце наметил в статье о французском материализме и в тезисах о Фейербахе, Плеханов развивал подробно и обстоятельно. Правда, в лаконических формулировках Маркса дано разрешение не только социологических проблем, но и многих других. Плеханов многих мыслей Маркса не использовал. Но зато Плеханов блестяще показал, что материализм метафизический

неспособен об'яснить историю, неспособен смотреть на человека иначе, как на «об'ект». Так как, с другой стороны, идеализм также не может научно решить проблему общественного развития, то эта проблема может быть решена только диалектическим материализмом. Гете, по мнению Плеханова, был не совсем неправ, когда считал материализм «сухим, мрачным, печальным» (см. Плеханов, т. VIII, стр. 125). Гете имел в виду именно французских материалистов XVIII века, имел в виду фаталистическое воззрение, согласно которому человек абсолютно подчинен слепой необходимости материи.

В «Очерках по истории материализма» Плеханов показал, что одним из главнейших затруднений для французского материализма была неразрешимая антиномия: «человек есть продукт социальной среды», а «социальная среда создается общественным мнением». Но ведь это и есть другими терминами выраженная антиномия необходимости и свободы.

Как материалисты Гольбах и Гельвеций утверждали, что человек—продукт среды, утверждали зависимость человека от слепой необходимости, от «шального атома». Как революционеры, верившие во всемогущество разума (в этом смысле их принято называть «рационалистами»), они искали все об'яснение исторического развития в мнениях, сознании людей. Другими словами, необходимость, как они ее понимали, оказывалась абстрактной, над'исторической, а история представлялась проявлением свободы, исключающей всякую необходимость.

Поскольку необходимость не включает в себя, в качестве своих составных звеньев, конкретных людей определенной эпохи с их «мнениями» и идеалами, постольку эти «мнения» приходится относить к абсолютной свободе. Но поскольку свобода не связана с пониманием необходимости, она сама превращается в слепую необходимость.

«Когда, — писал Плеханов, — суб'ективный мыслитель говорит: «мой идеал»,—он тем самым говорит: торжество слепой необходимости. Суб'ективный мыслитель не умеет обосновать свой идеал на процессе развития действительности; поэтому у него тотчас же за стенами крошечного садика идеала начинается необ'ятное поле случайности, а следовательно, и слепой необходимости» (т. VII, стр. 245).

В другом месте та же мысль высказана еще более заостренно-полемически: «Синица уверяет, что она—героическая птица и что ей, в качестве таковой, ничего не стоит зажечь море. Когда ее приглашают об'яснить, на каких физических или химических законах основывается ее план зажжения моря, она попадает в затруднение и, чтобы выпутаться из него, начинает бормотать грустным и неразборчивым говорком, что, мол, это так ведь говорится «законы», а в сущности законы ничего не об'ясняют, и никаких планов на них обосновывать невозможно; что надо уповать на счастливый случай, так как давно уже известно, что, на грех, и из палки выстрелишь, но что вообще la raison finit toujours par avoir raison. Какая легкомысленная, какая неприятная птица!» (т. VII, стр. 241).

Конечно, таким полемическим тоном Плеханов никогда не говорил о Гольбахе и Гельвеции. Обе цитаты направлены против русских суб'ективистов — Михайловского и К°. Это, конечно, понятно. Гольбаха и Гельвеция Плеханов рассматривал как гениальных пред-

шественников диалектического материализма, как передовых мыслителей своего времени; Михайловского же—как мыслителя, чуждого крупнейшим достижениям своей эпохи и тянущегося назад, в прошлое.

Однако мы сочли уместным процитировать сарказмы Плеханова по адресу суб'ективистов в связи с критикой французского материализма.

В самом деле Михайловский кое в чем повторяет ошибки старых материалистов. Он, правда, хочет решить их антиномию. Для этого он просто отрицает один из моментов антиномии и признает другой, отрицает необходимость и признает свободу. А французские материалисты? Они признавали то одно, то другое, но по существу в области истории они не видели необходимости, но видели свободу. И в то же время свобода, как они ее понимали, и как ее понимает Михайловский, тождественна слепой необходимости.

Антиномия свободы и необходимости должна разрешаться вовсе не отрицанием одного из моментов. Разрешить эту антиномию—значит, понять, что свобода осуществляется в необходимости, и что необходимость переходит в свободу. Об этом мы читаем у Плеханова следующее:

«Из сознательных свободных поступков отдельных людей необходимо вытекают неожиданные для них, непредвиденные ими последствия, касающиеся всего общества, т.-е. влияющие на совокупность взаимных отношений тех же людей. Из области свободы мы переходим таким образом в область необходимости.

«Если несознаваемые людьми общественные последствия их индивидуальных действий ведут к изменению общественного строя,—что происходит всегда, хотя далеко не одинаково быстро,—то перед людьми вырастают новые индивидуальные цели. Их свободная сознательная деятельность необходимо приобретает новый вид. Из области необходимости мы опять приходим в область свободы» (т. VII, стр. 146).

Маркс указал на связь между воззрениями французских материалистов и утопическим социализмом начала XIX века. Плеханов развил эту мысль Маркса. Утопизм унаследовал от XVIII века идею абстрактной «природы человека», утопизм унаследовал над'историчность. Поэтому он и видит задачу в том, чтобы конструировать абсолютный идеал, соответствующий «природе человека».

«Итак,—писал Плеханов,—утопист есть всякий тот, кто стремится построить совершенную социальную систему, исходя из какого-либо отвлеченного принципа» (т. XVIII, стр. 127).

Утопизм игнорирует действительность, он занят не «сущим», а «должным».

В полемике с народниками Плеханов не раз повторял, что нельзя социализм рассматривать, как «этическое» учение. Так, он писал:

«Нечего и говорить, что это неправда, будто социализм есть учение этическое по преимуществу. Это неверно даже по отношению к старому, утопическому социализму и уже совсем вздор в применении к новейшему, научному социализму—социализму Маркса и Энгельса... Этот социализм есть несомненно учение революционное (хотя и не «этическое по преимуществу»)» (т. IX, стр. 306 и 307).

Совершенно ясно, что Плеханов не потому протестовал против «этичности» социализма, что его идеалом была какая-то «аэтичность».

Если бы Плеханов был чужд вопросам этики, тогда он, конечно, не интересовался бы проблемой свободы и необходимости. Плеханову этика была органически чужда лишь постольку, поскольку она выступала как «чистая этика», как «должное» вне связи с «сущим», т.-е. постольку, поскольку такая «этика» означала учение о свободе, игнорирующее необходимость.

В этом смысле Плеханов и противопоставляет этике Канта и Фихте этику Гегеля.

«Таким образом, для Канта,—как и для Фихте,—нравственный закон был чем-то в роде ключа, отворяющего дверь в потусторонний мир. Гегель взглянул на него совершенно иначе. Согласно его учению, нравственность представляет собою ненадежный продукт и необходимое условие общественной жизни. Гегель напоминает слова Аристотеля о том, что народ существует раньше, чем отдельный человек. Отдельное лицо есть нечто несамостоятельное и потому должно существовать в единстве с целым. Быть нравственным значит жить согласно нравам своей страны. Чтобы дать человеку хорошее воспитание, надо сделать его гражданином благоустроенного государства. Выходит, что этика коренится в политике» (т. XVIII, стр. 143).

В этом все дело. Плеханов не признавал этики, которая не коренилась бы в политике.

Как известно, Плеханов очень высоко ценил Белинского. В одной из статей о Белинском, касаясь того периода в развитии идей этого мыслителя, когда он чувствовал себя проникнутым жаждой деятельности и «ненавидел мысль», Плеханов подробно в прочувствованном тоне раз'ясняет, что это была за «ненависть»:

«Впоследствии, в одном из своих писем (20 июня 1838 г.) Белинский высказал убеждение в том, что он «ненавидел мысль». «Да, я ненавижу ее, как отвлечение,—писал он.—Но разве она может приобретаться, не будучи отвлеченною, разве мыслить должно всегда только в минуту откровения, а в остальное время ни о чем не мыслить? Я понимаю всю нелепость подобного предположения, но моя природа враждебна мышлению». Эти простодушные, трогательные строки лучше всего характеризуют отношение Белинского к философии. Он не мог удовольствоваться «отвлечениями». Его могла удовлетворить только такая система, которая, сама вытекая из общественной жизни и сама об'ясняясь этой жизнью, в свою очередь, об'ясняла бы ее и давала бы возможность широкого и плодотворного на нее воздействия. В этом и состояла его мнимая ненависть к мысли: он ненавидел, разумеется, не философскую мысль вообще, а только такую мысль, которая, довольствуясь философским «созерцанием», поворачивается спиною к жизни» (т. X, стр. 219).

Итак, Белинский ненавидел только такую мысль, которая не понимает, что вне связи с жизнью она сама, мысль, есть ничто; другими словами говоря, Белинский ненавидел утопию, ненавидел за ее фантастичность. Спешим оговориться, что в данном случае нас интересует не столько сам Белинский, как таковой, сколько Белинский в интерпретации Плеханова.

Но утопия, мысль, отрешенная от действительности, это свобода, мыслимая, как абсолютное отрицание необходимости.

Плеханов ненавидел этику и свободу совершенно так же, как Белинский ненавидел мысль. Плеханов ненавидел этику и свободу постольку, поскольку они представляются трансцендентными необходимости. И это понятно. Ведь Гегель совершенно прав: «Die Freiheit ist

dies: nichts zu wollen als sich». Значит тот, кто действительно свободен, тот хочет не безразлично все, что угодно, что было бы, если бы свобода исключала необходимость, но, наоборот, тот, кто действительно свободен, тот необходимо хочет лишь самого себя, т.-е. нечто совершенно определенное. Но тот, кто несвободен, тот, для кого необходимость является внешней, стихийной, тот полагает, что свобода могла бы быть лишь при отсутствии необходимости. Таким образом, кантианство со своей трансцендентной этикой и суб'ективизм в социологии оказываются психологически свойственными тем социальным классам, которые не в состоянии необходимость воспринимать иначе, как внешнюю. В «Основных вопросах марксизма» мы читаем:

«Привыкнув думать, что мышление отделено целой пропастью от бытия, «критики» Маркса знают только один оттенок необходимости: они—скажем опять словами Аристотеля—представляют себе необходимость лишь как силу, препятствующую нам поступать согласно нашему желанию и вынуждающую нас делать то, что противоречит ему. Такая необходимость в самом деле противоположна свободе и не может не быть для нас более или менее тяжелой. Но и тут не надо забывать, что сила, представляющаяся человеку внешней силой принуждения, идущего вразрез с его желанием, может при других обстоятельствах представляться ему в совершенно другом свете. Возьмем для примера нам современный аграрный вопрос. Умному помещику-кадету «принудительное отчуждение земли» может казаться более или менее, — т.-е. обратно пропорционально величине «справедливого вознаграждения»,—печальной исторической необходимостью. А вот крестьянину, стремящемуся достать «землицы», более или менее печальной необходимостью будет представляться, наоборот, только это «справедливое вознаграждение», а само «принудительное отчуждение» непременно покажется ему выражением его свободной воли и самым драгоценным обеспечением его свободы... крестьянин, требующий передачи ему помещичьей «землицы», не хочет «ничего, кроме себя». А вот помещик-кадет, соглашающийся уступить ему эту «землицу», тот хочет уже «не себя», а того, к чему вынуждает его история. Первый свободен, второй — разумно подчиняется необходимости» (т. XVIII, стр. 241—242).

Коротко говоря, свобода либо представляет собою абсолютную бессмыслицу, либо есть сама момент необходимости.

«Когда данный класс, стремясь к своему освобождению, совершает общественный переворот, он поступает при этом более или менее целесообразно и, во всяком случае, его деятельность является причиной этого переворота. Но эта деятельность, со всеми теми стремлениями, которые ее вызвали, сама есть следствие известного хода экономического развития и потому сама определяется необходимостью» (т. XVIII, стр. 245).

Отсюда следует, что историческое развитие есть не что иное, как деятельность людей. Отсюда следует, что, вопреки всем суб'ективистам, необходимость исторического развития вовсе не исключает деятельность людей, но, напротив, непременно ее предполагает. Понятно, почему Плеханова чрезвычайно интересовала проблема роли личности в истории.

Народники всячески старались навязать марксизму представление о личности, как о «quantité négligeable». Такое представление совершенно чуждо марксизму, чуждо оно было, конечно, и Плеханову.

Свою статью «К вопросу о роли личности в истории» Плеханов кончал следующими словами:

«И не для одних только «начинателей», не для одних «великих» людей открыто широкое поле действия. Оно открыто для всех, имеющих очи, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и сердце, чтобы любить своих ближних. Понятие великий есть понятие относительное. В нравственном смысле велик каждый, кто, по евангельскому выражению, «полагает душу свою за други своя» (т. VIII, стр. 306).

Эти слова звучат на первый взгляд несколько странно. Обычно не принято пользоваться евангельской терминологией для выражения марксистских идей. Но ведь дело здесь не в терминологии. Дело все в том, что человек живет всегда в обществе, что, живя в обществе, он так или иначе всегда неизбежно действует, т.-е. играет какую-то роль в истории, и что, главное, чем больше человек понимает необходимость исторического процесса и необходимость себя самого в этом процессе, тем более «широкое поле действия» раскрывается перед ним.

Люди, для которых историческое развитие является стихийным процессом, тоже действуют в истории. Но такие «действия» Плеханову не очень нравятся.

Анализируя тип Ивана Ермолаевича, героя одного из произведений Глеба Успенского, Плеханов высказывает следующую мысль:

«Ассирийские самодержцы, по восточному обычаю, нестерпимо хвастаются своими победами и одолениями... Само собой понятно, что на самом-то деле усмирения производили не цари, а находившиеся в их распоряжении войска, состоявшие из ассирийских Иванов Ермолаевичей. Эти последние наверное находили, что истребляемые ими племена и народы были «ничего», и сами по себе решительно ничего против них не имели, но свирепствовали просто в силу того, что для них политика «сосредоточивалась в царе» и что, «как царь говорил, так и было». Ассирийским Иванам Ермолаевичам давали в руки лук и стрелы, ассирийские Муравьевы кричали им—«ну-ко!», и они «усмиряли», не мудрствуя лукаво, и трупы усмиряемых «плыли по реке, как бревна» (т. X, стр. 30—31).

Любопытно: для людей, совершенно не разбирающихся в политике, она, политика, «сосредоточивается в царе». «Царь» олицетворяет собою в этом случае абстрактную, фатальную, непреодолимую необходимость. «Царь оказывается совершенно тем же самым, чем являлись «шальные атомы» в мировоззрении французских материалистов. От «царя», также как и от «шальных атомов», можно было постоянно ждать все, что угодно. Необходимость, источником которой являлся этот «царь», в силу своей фатальности, превращалась в абсолютную случайность. Поэтому ясно, что искать в деятельности «ассирийских Иванов Ермолаевичей» осмысленности отнюдь не приходится.

Но личность, осознающая историческую необходимость, не как фатальность, а как необходимость конкретную, включающую в себя и деятельность самой личности,—личность, осознающая все это, действует осмысленно и тем энергичнее, чем успешнее, чем яснее ее убеждение в необходимости ее деятельности. «Ее свободная деятельность,—как говорил Плеханов,—явится сознательным и свободным выражением необходимости» (т. VIII, стр. 279).

Человек, который считает какое-то историческое событие необходимым, и при этом сочувствует ему, не может не принять участия в его достижении, не может сложить руки. Если он не станет добиваться осуществления этого события, если он сложит руки, он только покажет, по мнению Плеханова, что он плохо знаком с арифметикой.

В самом деле. Необходимо данное событие, которое осуществится деятельностью определенных людей. Если я есть один из этих людей и убежден в необходимости этого события, естественно, я буду действовать. «... если я не понимаю этого, если я думаю, что S (сумма всех условий, необходимых для осуществления события. — Л. С.) остается S и после моей замены, то единственно потому, что не умею считать... Почему я позабыл самые простые правила арифметики? Вероятно, потому, что по обстоятельствам моего воспитания у меня уже было сильнейшее стремление к бездействию...» (т. VIII, стр. 280—281).

Но вопрос о роли личности в истории тесно связан с очень сложной проблемой—проблемой случайности. Правда, Плеханов очень мало написал о случайности. Он ведь не участвовал в дискуссии между «деборинской школой» и «механистами». Но поскольку Плеханову приходилось затрагивать проблему случайности в связи с ролью личности в истории, постольку он решал эту проблему диалектически, а не механистически. Плеханов вполне сочувственно цитирует Гегеля: «In allen Endlichen ist ein Element des Zufälligen» (см. том VIII, стр. 294). Гегелевская диалектика дает возможность Плеханову поставить вопрос о случайности.

«Обусловленная организацией общества возможность общественного влияния личностей открывает дверь влиянию на исторические судьбы народов для так называемых с л у ч а й н о с т е й» (том VIII, стр. 293—294). Плеханову важно было показать, что, во-первых, случайности есть, и что, во-вторых, они вовсе не означают отсутствие необходимости. Это важно потому, что, если бы случайностей не было, не было бы и роли личности в истории; а если бы случайности означали бы отсутствие необходимости, то торжествовала бы суб'ективная школа в социологии—Михайловский и Лавров.

«С л у ч а й н о с т ь  е с т ь  н е ч т о  о т н о с и т е л ь н о е. Она является лишь в точке пересечения н е о б х о д и м ы х процессов. Появление европейцев в Америке было для жителей Мексики и Перу с л у ч а й н о с т ь ю в том смысле, что не вытекало из общественного развития этих стран. Но не случайностью была страсть к мореплаванию, овладевшая западными европейцами в конце средних веков; не случайностью было то обстоятельство, что сила европейцев легко преодолела сопротивление туземцев. Не случайны были и последствия завоевания Мексики и Перу европейцами; эти последствия определялись в конце концов в равнодействующую двух сил: экономического положения завоеванных стран, с одной стороны, и экономического положения завоевателей—с другой» (т. VIII, стр. 294—295).

Нельзя сказать, что понимание случайности, как точки скрещения необходимых процессов, точно и исчерпывающе разрешает вопрос. Конечно, эта формулировка создает некоторые затруднения. Создается впечатление, что те отдельные процессы, которые скрещиваются в «точке», сами по себе, в отдельности взятые, не содержат никакой случайности. Смешно было бы требовать, чтобы Плеханов, между прочим упомянув о случайности, дал бы при этом исчерпывающее изложение проблемы. Важно другое. Плеханов вполне правильно понял громадное значение категории случайности, понял, что нельзя трактовать категорию необходимости вне связи с категорией случайности, если только не стоять на точке зрения необходимости фатальной.

Проблема свободы и необходимости интересовала Плеханова в связи с социологическими проблемами, в связи с обоснованием мате-

риалистического понимания истории. Это понимание истории непременно предполагает, в качестве одной из своих предпосылок, диалектическое разрешение проблемы свободы и необходимости.

Рамки темы не позволяют нам подробно останавливаться на социологических вопросах. Однако один пример мы все же должны привести.

Плеханов много внимания посвятил развитию учения Маркса о «базисе» и «надстройках». Плеханов неустанно доказывал, что «в конечном счете» все «надстройки» зависят всегда от «базиса», и что, в то же время, всякая «надстройка» обладает относительной внутренней закономерностью своего развития, взаимодействует с «базисом» и всеми прочими «надстройками», и должна быть понята во всей сложности этого взаимодействия. Поэтому никогда нельзя сведение «надстройки» к «базису» «в конечном счете» подменять непосредственным сведением.

Заслуги Плеханова в развитии этой проблемы общеизвестны и бесспорны. Мы упоминаем здесь об этих заслугах, чтобы подчеркнуть громадное значение вопроса о свободе и необходимости для всего теоретического мышления Плеханова.

В самом деле. Учение о «базисе» и «надстройках», составляющее один из важнейших моментов материалистического понимания истории, обнаруживает универсальную необходимость, характеризующую исторический процесс. В то же время учение о «базисе» и «надстройках», правильно понятое, показывает, как в этой необходимости возможна сознательная деятельность людей, их сознательное воздействие на развитие общества в целом.

Вот почему Плеханов горячо отстаивал учение о «базисе» и «надстройках» и не менее горячо нападал на всевозможные попытки упростить, вульгаризировать это учение. В связи с этой борьбой против вульгаризации марксизма Плеханов полемизировал с «теорией факторов» и настаивал вслед за Лабриолой на «синтетическом» понимании общества.

Если бы мы и забыли теперь, что для марксизма проблема свободы и необходимости отнюдь не устарела, а, напротив, продолжает оставаться одной из центральных проблем, то нам все равно пришлось бы вспомнить об этом под свежим впечатлением последней капитальной работы Карла Каутского. Во втором томе «Die materialistische Geschichts-Auffassung» Каутский посвящает обширную заключительную часть вопросу о «смысле истории» («Der Sinn der Geschichte»).

Оказывается, этот, когда-то ортодоксальный марксист, обнаруживавший, правда, даже в пору своей ортодоксальности подозрительную терпимость к идеалистической философии, теперь дошел до полного сознательного отрицания взаимосвязанности свободы и необходимости, взаимосвязанности сознательной, целесообразной деятельности и причинной зависимости. Подобно кантианцам, Каутский видит главную задачу в том, чтобы разрушить представление о едином универсальном научном методе и создать классификацию наук, принципиально противополагающую два вида познания—«reine und angewandte Wissenschaft» (см. стр. 720 и след.). Первые науки устанавливают причинные связи, вторые пользуются знанием этих причинных связей для достижения практических целей. Цели же черпаются из жизни, а вовсе не из науки. Таким образом, первые науки абсолютно об'ективны и с жизнью, с целями не имеют (в логической своей структуре) ничего общего. Вторые же суб'ективны; результаты

первых наук для них только—средства; основные их предпосылки лежат вне области познания.

Один из перепевов кантианского дуализма каузальности и телеологии. С одной стороны, предполагается возможность абсолютного об'ективизма, с другой стороны, все цели отодвигаются в плоскость абсолютного суб'ективизма. Тут есть все, кроме диалектического метода, кроме идеи о том, что всякая цель сама есть момент об'ективной действительности и что всякая об'ективная действительность в себе самой, имманентно содержит суб'ективные цели. Тут забыто, что об'ективные законы развития и суб'ективная деятельность людей—это вовсе не различные «факторы» исторического развития, а только два взаимосвязанные и необходимо предполагающие друг друга момента этого развития.

Но кто же, однако, в марксистской литературе показал эту диалектику об'ективного и суб'ективного, необходимости и свободы, кто показал, как следует вскрывать всю фальшь и несостоятельность кантианства?—Георгий Валентинович Плеханов.

Полагаем, что значение этого мыслителя для дальнейшего развития марксистской мысли в области интересующей нас проблемы не вызывает никаких сомнений.

# Плеханов и классовая психология.

*Ю. Франкфурт.*

Значение Плеханова для марксистской психологии огромно, ибо он часто и много касался психологических проблем. Об'ясняется это следующими обстоятельствами.

Во-первых, психология в системе наук была на протяжении долгого времени связана с философией и имеет с последней общие проблемы,—например, психофизическую. Поэтому Плеханов, много занимавшийся философией вообще, философией марксизма в частности, не мог не касаться также и психологии.

Во-вторых, исторический материализм вплотную подходит к психологии, поскольку проблема истории является в известной, хотя и ограниченной, степени также и проблемой психологической. Кроме того, целый ряд историко-материалистических положений (о базисе и надстройке, о соотношении биологии и социологии, естественной и социальной среды, об обществе и классе, обществе и личности, об общественной психологии и общественной идеологии) являются исходными методологическими принципами для марксистской психологии. Поэтому Плеханов, посвятивший много внимания историческому материализму, тем самым высказался по целому ряду основных методологических принципиальных вопросов психологии.

В-третьих, исследуя специально историю общественного движения и общественной мысли, Плеханов не мог не столкнуться также и с проблемой общественной психологии, должен был формулировать свое принципиальное отношение к последней и не смог не высказаться также и по конкретным вопросам общественной психологии.

Наконец, в-четвертых, как общественный политический деятель Плеханов также сталкивался с конкретными вопросами общественной психологии.

Все это привело к тому, что мы имеем у Плеханова в общем и целом методологию психологии, хотя и в несистематизированном виде.

С точки зрения современного состояния марксистской психологии особенно важны взгляды Плеханова на классовую психологию. Марксистская психология прошла уже через первый этап своего развития, этап своего формирования в борьбе между суб'ективной эмпирической психологией и рефлексологией, этап выковывания своих основных методологических принципов. Марксистская психология стоит на грани второго периода ее развития, когда, продолжая углублять и уточнять свои методологические принципы, она должна перейти к их применению на практике, в частности и в особенности к изучению классовой психологии.

Для разрешения этой задачи марксистская психология может найти у Плеханова не только принципиальную установку, но и практические указания.

Суб'ективная эмпирическая психология, как и большинство об'ективистов и бихевиористов изучают человека вообще. Но такого человека вообще нет. Человек вообще — это метафизическая абстракция, историческая нереальность. В противоположность абстрактно-метафизической установке, марксизм утверждает, что человек—существо конкретно-историческое, конкретно-классовое. Исходя из этой марксистской установки, Плеханов заявляет, что мы каждый раз имеем дело с человеком «данного времени, данной страны и данного общественного класса» [1]). Нельзя, следовательно, изучать человека вообще, а надо изучать конкретного человека, т.-е. человека как члена определенного класса определенной страны и определенного исторического периода.

Для доказательства марксистского положения о том, что человек существо конкретно-исторического, конкретно-классового порядка, Плеханов дает очень интересный анализ содержания человеческого поведения и человеческой психики по источнику его (содержания) происхождения.

Историческое движение человечества, детализирует Плеханов одно из основных положений исторического материализма, определяется причинами: 1) общими, например, развитием производительных сил капиталистического общества, 2) особенными, например, особенностями капитализма в Англии, и 3) причинами «случайными», т.-е. частными обстоятельствами жизни людей» [2]).

Таким образом, поведение и психика людей определяется: 1) общими причинами, 2) особенными причинами и 3) «случайными», частными обстоятельствами.

Поскольку общие и особенные причины, определяющие поведение и психику людей, являются исторически-основными, а «случайные», частные обстоятельства жизни второстепеными, постольку поведение и психика людей определяется в основном и главном, в основной и главной части, причинами первого и второго порядка, а не причинами третьего порядка. Это с одной стороны.

А, с другой, поскольку эти основные общие и особенные причины одинаковы для всех членов данного класса страны и эпохи и действуют на поведение и психику всех их и только второстепенные частные обстоятельства различны у разных членов данного класса, постольку поведение и психика всех членов данного класса в основном и главном, в основной и главвой части, одинаковы, постольку каждый человек может и должен быть познан в основном и главном не как человек вообще, а как член данного класса страны и эпохи.

Этот классовый подход к поведению и психике людей в связи с анализом источника их происхождения, ставит Плеханова в необходимость установить свое отношение к тем направлениям психологии, которые изучают только индивида в его индивидуальной

[1]) Т. VIII, стр. 250—251.
[2]) Т. VIII, стр. 304.

характеристике, видя в нем определяющую общественную силу.

В отношении к этим направлениям встают два вопроса: 1) исключает ли классовый подход изучение индивида, и, во-вторых, может ли и должно ли изучение индивида быть основной задачей психологии. Исходя из признания марксизмом роли и значения личности в истории, Плеханов критикует теории тех историков XIX в., которые игнорировали совершенно личные индивидуальные черты. Он утверждает, что «как результат исчезновения индивидуального в общем явился бы фатализм»[1]). Это отношение Плеханова вытекает также из его анализа источников содержания психики и поведения.

Общие и особенные причины действуют на поведение и психику всех членов данного класса, данной страны, данной эпохи. Если бы мы имели действия только этих общих и особенных причин, то поведение и психика всех членов класса данной эпохи и данной страны были бы одинаковы. Но так как, кроме одинаковых для всех членов класса общих и особенных причин, мы имеем действия «случайных» причин, различных для отдельных индивидов, то в поведении и психике каждого индивида есть и черты общие с поведением и психикой других сочленов того же класса и черты чисто личные. Поскольку общие и особенные причины, воздействующие на поведение и психику всех членов данного класса, данной эпохи и данной страны являются определяющими для положения класса, постольку, обладая обусловленной ими, основной для характеристики класса, общей у него с другими сочленами класса частью поведения и психики, каждый индивид может быть представителем своего класса. Поскольку, однако, общие и особенные причины преломляются через «случайные» частные обстоятельства бытия каждого индивида, различные для разных индивидов, и, следовательно, по разному воздействуют на разных индивидов, постольку и общеклассовые черты поведения и психики людей преломляются через их чисто личные черты. Поэтому-то разные индивиды в разной степени представительствуют класс. Поэтому-то одни хуже представительствуют свой класс, а некоторые личности, благодаря более благоприятным «случайным» обстоятельствам их бытия, определяющим лучшее восприятие ими в их поведении и психике общих и особенных причин, выделяются в качестве вождей, руководителей класса. Следовательно, личные черты играют большую роль. Игнорировать их нельзя. Наоборот. «Необходимо,—говорит Плеханов,—изучать подробно личный характер и частные обстоятельства жизни»[2]).

Таким образом, Плеханов отвечает положительно на первый из поставленных выше двух вопросов. Но он указывает на необходимость правильно учитывать роль и значение поведения и психики индивида. «Единичные причины не могут произвести коренных изменений в действиях общих и особенных причин, которыми к тому же обусловливается направление и пределы влияния единичных причин»[3]). Поэтому отдельная лич-

---

[1]) Т. VIII, стр. 303.
[2]) Т. X, стр. 300.
[3]) Т. VIII, стр. 304.

ность, даже великий человек, *не* может, по мнению Плеханова, «*остановить или изменить* естественный *ход* вещей» [1]. Но, по мнению Плеханова, «все-таки, *несомненно*, что *история* имела бы *другую физиономию*, если бы влиявшие на нее *единичные* причины были бы *заменены другими причинами того же порядка*» [2].

Отдельная личность, даже великий человек, благодаря своим индивидуальным особенностям, накладывает на события *только* индивидуальный отпечаток, представляющий собой общественное явление *не* коренного, *не* основного, а *второстепенного* порядка.

Сила, огромная роль и значение личности, даже великого человека, определяется, однако, «*не* тем, что его *личные* особенности придают *индивидуальную* физиономию великим историческим событиям», а *тем*, «что у него есть особенности, делающие его наиболее способным для служения *великим общественным* нуждам своего времени, возникшим под влиянием *общих и особенных* причин» [3].

*Великий* человек является *великим* благодаря тому, что он *лучше представляет себе и лучше выполняет общественные классовые задания*. Следовательно, сила, роль и значение личности, даже великого человека, лежит *не* в *чисто личных* чертах его поведения и психики, а в *общеклассовых*. Сославшись с большим удовольствием на мысль Гегеля о том, что психологические процессы, происходящие в душе *индивидуума*, интересны для него лишь как выражение *общего*, лишь как отражение процесса развития *абсолютных идей*, Плеханов переводит эту мысль на язык материализма и утверждает, что «*психология действующих лиц* потому и приобретает в наших глазах *огромную важность*, что она есть психология *целых общественных классов* или, по крайней мере, *слоев* и что, следовательно, процессы, происходящие в душе *отдельных лиц*, являются отражением *исторического движения*» [4]. Вот это-то *общее* и составляет *силу* великого человека, которую не отнимут у него ни насмешки, ни оскорбления, ни остракизм, ни цикута» [5].

Поэтому Плеханов видит ошибку *не* в изучении индивида, а в *преувеличении* его роли и значения и в *смешении чисто личных и общеклассовых* черт его. Он заявляет, что *беда, недостаток* «эмпирической» критики состоит *не* в том, что она *изучает* имеющие *скромную, ограниченную роль, значение и интерес индивидуальные* штрихи, а в *том*, что она *превращает личные* особенности психики в *общие* [6], что она *не* различает *личные* особенности и *общеклассовые* в психике индивида.

Но если личность с ее индивидуальными, чисто личными чертами накладывает *только второстепенный* отпечаток на исторические события, если сила ее *не* в ее *личных*, а в ее *общеклассовых* чертах, если *основную* часть поведения и пси-

---

[1]) Там же, стр. 305.
[2]) Там же, стр. 304—305.
[3]) Там же, стр. 304—305.
[4]) Т. X, стр. 190—191.
[5]) Там же, стр. 299.
[6]) Там же, стр. 300.

хики людей составляют общеклассовые черты, то ясно, что поведение и психика индивида не могут и не должны быть основным об'ектом изучения, что основным об'ектом должны быть поведение и психика класса. Мало того. Если основная часть поведения и психики индивида—это его общеклассовые черты, то индивид может быть познан только на фоне классовой психологии. Только исходя из классовой психологии мы сумеем понять психику индивида в ее основной общеклассовой части. Психология должна прежде всего и раньше всего изучать психологию классовую и лишь на втором месте индивидуальную—вот установка марксизма, данная Плехановым в противовес индивидуалистической установке. Таков ответ с точки зрения Плеханова на второй из поставленных выше вопросов.

Однако психология не ограничивалась изучением только индивида. В ней была другая ветвь, так называемая социальная психология, изучавшая общественную психологию. Но и эта ветвь не удовлетворяла Плеханова.

Плеханова не удовлетворяло, во-первых, то направление социальной психологии, которое, подобно Тарду, изучало «массы», как «толпу», противостоящую, в качестве низшего образования, культурной личности, в качестве высшего образования, «толпу», цементируемую только подражанием. Из всей установки Плеханова, во-первых, вытекает, что «массы», «толпы» вообще нет, что есть «масса», «толпа», как коллективы классового порядка, точнее, что нет «массы», «толпы», а что конкретно-исторически есть классовые коллективы определенной страны и эпохи [1]) и что надо, следовательно, изучать не «массы», не «толпу», а классовые коллективы, как основные общественные образования.

Из установки Плеханова, во-вторых, вытекает, что классовый коллектив представляет собой образование не низшего порядка в отношении культурной личности, а высшего порядка, ибо личность, как мы видели, сильна не своими, чисто индивидуальными чертами, а общеклассовыми, т.-е. теми чертами, которые общи у нее с классовым коллективом. Мало того, Плеханов подчеркивает, в интересующем нас теперь отношении, один момент, очень важный для взаимоотношений между поведением и психикой коллектива и индивида и для характеристики поведения и психики самого коллектива. Плеханов считает «решительно противоречащим всем известным фактам истории и психологии» мнение о том, что «община убивает энергию в человеке». «Напротив,—говорит он,—в союзе укрепляется ум и воля человека» [2]).

В коллективе поведение и психика индивида меняется, повышаясь в темпе, силе, интенсивности. В коллективе поведение и психика индивида приобретают новые качества. Одним качеством обладают действия и переживания индивида, когда он один, и совсем другими качествами обладают они, когда он в коллективе. Но это означает также и другую, повышенную возбудимость и всего коллектива. Поведение и психика коллектива—

[1]) Т. VIII, стр. 250—251.
[2]) Т. II, стр. 119.

это не простая сумма поведения и психики отдельных индивидов, а нечто большее, качественно другое, качественно высшее новообразование.

Плеханов, в-третьих, констатирует, иллюстрируя свою мысль анализом взаимоотношений дворян и пуритан Англии, что классовый коллектив не только подражает своим лучшим представителям, что класс цементируется не только помощью подражания, но и помощью антитеза, противоречий в отношении противоположных классов [1]).

Таково отношение Плеханова к тому направлению социальной психологии, которое изучало «толпу».

Плеханов не соглашается также и с тем направлением социальной психологии, которое считало основным своим об'ектом народы, нации, как образование внеклассовое, надклассовое. Понятие «человеческое общество данной эпохи и страны» представляет собой историческую абстракцию в отношении определенных исторических периодов. «Всякая данная идеология,—пишет Плеханов,—выражает собой стремления и настроения данного общества или, если мы имеем дело с обществом, разделенным на классы—данного общественного класса» [2]). Используя эту мысль Плеханова об идеологии в нашем аспекте, т.-е. в отношении к психологии, мы должны сказать, что только в отношении бесклассового общества может итти речь о поведении и психике всего общества, в классовом же обществе нет поведения и психики общества в целом, а есть только поведение и психика определенных классов.

«Словом, каждый из этих двух классов, говорил Плеханов о французских крестьянах и феодалах, смотрел на вещи со своей собственной точки зрения, особенности которой обусловливались его положением в обществе. Борьба классов окрашивала собой психологию борющихся сторон» [3]).

Итак, поведение и психика социальная в смысле принадлежности их всему данному обществу—есть абстракция, если ее применять для всех времен и эпох. Они были реальным фактом для первобытного общества, они будут реальны в будущем бесклассовом коммунистическом обществе, но в классовом обществе есть только классовое поведение и психика, только поведение и психика определенных классов, групп, сословий и прослоек. Только имея в виду бесклассовое общество, мы можем говорить о поведении и психике общества в целом и о психике, как отражения социального бытия. Когда же мы имеем дело с классовым обществом, то последнее определение уже неверно, недостаточно точно охватывает, формулирует соотношения реальной действительности. Здесь поведение является классовым, а психика уже не отражением общественного бытия вообще, а отражением определенного классового бытия.

В поведении и психике разных классов данного общества есть и «общие» черты. Но это «общее» в поведении и психике

[1]) Т. XIV, стр. 12.
[2]) Там же, стр. 183.
[3]) Т. XVIII, стр. 225

разных классов в данном обществе, во-первых, незначительно, во-вторых, не характерно, находится в снятом виде, снимается специфическими особенностями классового поведения и психики и, в-третьих, если уже устанавливать эти «общие» черты поведения и психики разных классов, то это правильнее и точнее возможно только на фоне изучения конкретно-исторического поведения и психики классов.

Наконец, Плеханов резко критикует и то направление в социальной психологии, которое изучало классовую психологию, но с точки зрения психики господствующего буржуазного класса. В противоположность этой установке Плеханов утверждает, что нельзя подходить к психологии угнетенных классов с меркой от психологии господствующих классов. Занимая различные, противоположные положения в обществе, эти классы имеют различные, противоположные поведения и психические отражения. Даже тогда, когда мы имеем дело как будто с «общими» чертами, то это «общность» только формальная, а не по существу. Так, когда Зомбарт, исходя из индивидуализма господствующей буржуазии, заявляет, «что в пролетарской среде по самым условиям ее существования,—необходимость с ранних лет собственным трудом зарабатывать себе хлеб насущный—должен распространяться свойственный нашему времени «сильный индивидуализм», то Плеханов как будто соглашается с ним, замечая: «это так». Мы говорим как будто потому, что Плеханов тут же вносит принципиальной важности корректив. Он пишет: «Необходимо заметить, что характер индивидуализма изменяется в зависимости от того, в какой среде он пускает корни. Пролетарский индивидуализм совсем не похож на буржуазный. Пролетариат—индивидуалист преимущественно в том смысле, что жизнь рано и сильно развивает в нем чувства самостоятельности, буржуазный же индивидуализм равносилен развитию чувства себялюбия, эгоизма. Легко было бы осветить эту параллель очень яркими примерами. Но наш автор совсем упустил ее из виду. И это жаль. Если бы он задумался над ними, то увидел бы, что в «опустошенной душе пролетариата много богатого содержания, а еще больше богатейших возможностей»[1].

Поведение и психика различных классов данного общества настолько различны, что даже формально «общие» черты, даже одно и то же психическое переживание имеет по существу разное содержание, разный характер у разных классов.

Психология различных классов не только различна по своему содержанию, но, поскольку разные классы играют различную роль в общественной жизни, постольку и психология их также играет различную роль и является общественно неравноценной. «Действия низшего класса,—говорит Плеханов, — тем более соответствуют общему благу, чем более растет его классовое сознание. О высших классах этого сказать нельзя. Чем лучше сознают они свой классовый интерес, тем больше их действия проти-

[1] Т. XIV, стр. 206- 207.

воречат интересам целого, тем эгоистичнее они становятся [1]). Следовательно, психика эксплоатируемых рабочих прогрессивна, психика же буржуазии, обреченной историей на гибель, реакционна.

Плеханов не удовлетворяется этой общей оценкой и на целом ряде примеров вскрывает различную общественную ценность, положительную у эксплоатируемых революционных классов, и отрицательную у господствующих консервативных классов, одних и тех же переживаний. Так, говоря о чувстве солидарности, Плеханов заявляет, что «солидарность—великое дело, но не солидарность эксплоатируемых с эксплоататорами», что «работник, чувствующий себя солидарным с предпринимателем, еще не человек, а живая вещь, говорящий инструмент» [2]). Чувство солидарности—это огромная общественная сила, но если оно у рабочего класса направлено на угнетающий господствующий буржуазный класс, то оно играет роль отрицательную для рабочего класса, а, следовательно, и для прогрессивного развития человеческого общества. Только тогда, когда оно направлено к членам своего класса, к угнетенным классам, оно становится силой революционной, прогрессивной.

В этой мысли Плеханова содержится еще один принципиальный момент, а именно: что нет абсолютной роли и значения того или другого переживания, что эти роль и значения определяются, по законам исторической диалектики, интересами, точкой зрения определенного класса, ибо чувство солидарности у рабочих в отношении к буржуазии полезно для последней, но вредно для пролетариата.

Еще один пример. Очень резко, отрицательно отзываясь об эгоистическом себялюбивом индивидуализме буржузии, Плеханов совсем по другому, а именно: положительно, оценивает роль и значение, характер индивидуализма русской пореформенной деревни. «Индивидуализм, внедряясь в деревне, со всех сторон окрашивает решительно все чувства и мысли крестьянина. Но в высшей степени ошибочно было бы думать, утверждает Плеханов,—что его торжество характеризуется одними только мрачными чертами. Историческая действительность никогда не отличается подобной односторонностью. Вторжение индивидуализма в русскую деревню пробуждало к жизни такие стороны крестьянского ума и характера, развитие которых было невозможно при старых порядках и в то же время было необходимо для дальнейшего поступательного движения народа» [3]). Таким образом и индивидуализм не имеет, по мнению Плеханова, абсолютного значения. Его общественная роль меняется в зависимости от социально-классовой обстановки, от условий исторической диалектики, от того, какому классу, какой эпохе он присущ.

С такой же дифференциально-классовой меркой Плеханов подходит к оценке не только содержания психологии различных классов, но и к оценке роли и значения психических законов. Критикуя взгляды Барта на подражание и соглашаясь с тем, что подражание играло очень большую роль в истории всех наших идей, вкусов,

---

[1]) Т. XVIII, стр. 27.
[2]) Т. XXII, стр. 174.
[3]) Т. X, стр. 92.

моды и обычаев, Плеханов вносит, однако, два существенных, принципиальной важности, *корректива*, которые дают в итоге установку, диаметрально противоположную установке Тарда. Об одном коррективе—наличии, кроме подражания, также и противоречия, мы уже говорили выше. Второй же корректив сводится к указанию *отрицательной* роли подражания *низшими* классами *высшим* классам.

Плеханов утверждает, что низший класс подражает высшему лишь тогда, когда он еще не поднялся до своего классового самосознания, когда он еще является классом «в себе» [1]).

Подражание возможно в двух видах: во-первых, в пределах одного и того же класса, и, во-вторых, между классами. Если первый вид подражания помогает сплачиванию членов одного и того же класса в один коллектив, выполняя этим большую задачу с точки зрения данного класса, то второй вид, будучи *полезен* подражаемому классу, *вреден* подражающему классу, как это можно было видеть на примере с английским рабочим классом. Рассмотрим эту мысль на английских горняках. Почему они не поняли необходимости превращения стачки экономической в борьбу политическую? Это произошло потому, что большинство английских горняков, как и большинство английского пролетариата, не освободилось еще от *буржуазного* взгляда на *государство*, находится еще под влиянием *буржуазных* иллюзий о *демократичности* государства, идут еще пока за *реформистскими* вождями, этими проводниками *буржуазного* влияния среди английских рабочих. Английские горняки *подражают господствующим классам в их* взглядах *на государство*, и это-то *подражательное* сознание и мешает английскому пролетариату подняться на *высшую* ступень *классового сознания и классовой борьбы*. Подражание господствующим классам—вот *психологическая* механика классовой отсталости, бытия классов в себе, механика *вредная* для пролетариата, но *полезная* для буржуазии.

Таков общий, *методологический*, *принципиальный* подход Плеханова к классовой психологии.

Но у Плеханова мы находим также и *конкретную характеристику психологии различных классов*.

Начнем с *буржуазии*. Ее психологию Плеханов характеризует следующими штрихами:

1) *Самодовольство*. По мнению Плеханова, буржуазия как и «всякий класс, добившийся господства, естественно, склоняется к самодовольству» [2]).

2) *Себялюбие*, *эгоизм* или, как Плеханов выражается, *нравственный солипсизм*. «*Буржуазия*, господствующая в обществе, основанном на взаимной, ожесточенной *конкуренции* товаропроизводителей,—говорит Плеханов,—естественно, склоняется *к такому* самодовольству, которое *лишено* всякой примеси *альтруизма*. Драгоценное «я» всякого достойного представителя буржуазии *целиком* заполняет собой *все* его стремления и все его мышление. Нравственный солипсизм—вот два слова, которые лучше всего характеризуют настроения более типичных представителей буржуазии [3]).

---

[1]) Т. XI, стр. 113.
[2]) Т. XVII, стр. 20.
[3]) Там же.

3) Суб'ективизм и идеализм. Эгоистический индивидуализм, характерный, по мнению Плеханова, для типичного буржуа в период господства буржуазии, ведет к суб'ективизму и идеализму во всех его формах и видах. «На почве подобного настроения (т.-е. нравственного солипсизма.—Ю. Ф.) возникают системы, которые не признают ничего, кроме суб'ективных переживаний, и которые непременно приходили бы к теоретическому солипсизму, если бы не спасла от него нелогичность их основателей» [1]).

4) Консерватизм. Борясь за сохранение своего господства, за сохранение существующего строя, господствующие классы, буржуазия в том числе, становится консервативной.

5) Религиозность. Для подкрепления своего господства, буржуазия обращается не только к суб'ективизму и идеализму, этим замаскированным формам религии, но она обращается к последней и в открытой форме, как средству идеологического укрепления существующего строя. Так поступали, по мнению Плеханова, все господствующие классы, так поступает и буржуазия.

Правда, был момент, когда и буржуазия выступала против религии, проповедуя атеизм. Но это было тогда, когда она выступала только на историческую арену, борясь за господство с классами старого феодально-церковного строя. Но даже в отношении этого революционно-положительного периода в истории буржуазии Плеханов вносит корректив, характеризующий ее психологию новой чертой, а именно:

6) Религиозное ханжество, религиозное двуличие. Ссылаясь на пример с Вольтером, Плеханов утверждает, что уже и тогда часть буржуазии считала, что атеизм хорош для нее, а не для «народа». Двуличие, ханжество религиозное—вот характерные черты буржуазии, за исключением, и то неполным, недолгого периода ее исторической юности. Это двуличие и ханжество религиозное было вначале, может быть, и бессознательным, но затем оно становится и сознательным.

7) Дуализм теоретико-познавательный, философский. Плеханов отмечает его у буржуазии в связи с тем, что она отшатнулась от Гегеля и повернула к Канту, превознося его не за положительные черты, а за то, что в нем было отрицательным, т.-е. за дуализм.

8) Нравственный дуализм, т.-е. дуализм в общественной жизни, в котором совмещаются вся жестокость эксплоатации и вся жестокость мер по сохранению существующего строя, с одной стороны, и допущение веры в лучший строй, или «борьба» против «злоупотреблений» существующим строем, с другой стороны [2]).

9) Все эти виды дуализма охватываются одной чертой психики буржуазии—раздвоенностью.

10) Трусливость, робость, нерешительность в политической борьбе, политическое уныние и пессимизм. В этом смысле интересно отношение Плеханова к буржуазии, как к силе, борющейся против старого строя.

«Что значит,—пишет Плеханов,—уверение в том, что в такой-то исторический период буржуазия или,—что почти то же самое, —

[1]) Там же.
[2]) Там же, стр. 57.

общество боролось в такой-то стране против абсолютизма? Ни более, ни менее как то, что буржуазия толкала и вела рабочий класс на борьбу или по крайней мере рассчитывала на его поддержку. До тех пор, пока ей не была обеспечена такая поддержка, она была труслива, потому что была бессильна». В доказательство этой мысли Плеханов ссылается на революцию 1830 и 1848 гг. «Когда появилось мужество у революционной буржуазии 1830 и 1848 годов?—спрашивает он и отвечает:—Когда рабочий класс уже одерживал верх на баррикадах» [1]).

Даже в лучшую эпоху своего исторического существования буржуазия сама была труслива. Конечно, исключения отсюда были, но в массе эта характеристика Плехановым буржуазии верна. Буржуазия даже на заре своей истории черпала свое мужество в фактической борьбе рабочих масс, поддерживавших ее борьбу и ведших эту борьбу.

Такую же характеристику Плеханов дает и российской буржуазии в отношении ее борьбы с самодержавием.

«Наше общество,—говорит он,—не может еще рассчитывать на такую поддержку рабочих; оно не знает даже, на кого направит свое оружие рабочий-инсургент: на защитников абсолютной монархии или на сторонников политической свободы. Отсюда его робость и нерешительность, отсюда овладевшее им теперь тяжелое и безнадежное уныние. Но измените положение дел, обеспечьте нашему «обществу» поддержку одних только городских предместий, — и вы увидите, что оно знает, что хочет и умеет говорить с властью языком, достойным гражданина» [2]).

Нужно, однако, отметить, что сам Плеханов, призывая рабочих к политической борьбе, преувеличил политическую роль буржуазии, чем допустил не только политическую ошибку, но и впал в противоречие со своей собственной характеристикой буржуазии, как класса самого по себе трусливого. Но это мимоходом, ибо нас интересует не эта сторона, а та характеристика, которую он дал буржуазии.

Итак, трусливость в борьбе, дуалистическое совмещение материалистических и идеалистических настроений и мыслей, жестокости эксплоатации и «веры» в лучшее нравственное будущее где-то в потустороннем мире, религиозное ханжество и лицемерие, нравственный эгоистический индивидуализм, ведущий к суб'ективизму, идеализму и солипсизму во всех его формах и видах,—вот наиболее характерные черты психики буржуазии, подчеркиваемые Плехановым.

Теперь остановимся на указываемых Плехановым некоторых чертах психики отдельных слоев буржуазии, а именно мелкой буржуазии:

1) Национальная ограниченность, ненависть ко всему инонациональному. Присущий буржуазии консервативный дух принял, по мнению Плеханова, у русской торговой буржуазии до, во время и после петровской эпохи, в силу стечения общественных обстоятельств, характер национализма, национальной ограниченности, приверженности к своей национальной старине, неприязнь ко всему иноземному, а у низших

---

[1]) Т. II, стр. 344—345.

[2]) Там же.

ее торгово-ремесленных слоев характер *жесточайшего человеконенавистничества* в форме «черносотенца» [1]).

Консерватизм в форме национальной ограниченности, приверженности своей национальной старине, присущ, по мнению Плеханова, *всей и всякой* мелкой буржуазии.

2) Эта национальная ограниченность связана, как с ее оборотной стороной, еще с одной чертой, — *приверженностью к привычному* образу жизни, мыслей и чувств, *боязнью всего нового, оригинального.*

«К числу отличительных нравственных свойств мелкобуржуазной среды,—пишет он,—принадлежит *ненависть* ко всему *оригинальному*, ко всему тому, что *хоть немного* расходится с *установившимися* общественными *привычками*» [2]).

3) Две только что указанные черты приводят к *третьей* черте—*тирании общественного мнения.* «Еще Милль жаловался когда-то,—пишет Плеханов,—на *тиранию* общественного мнения. Чтобы узнать, до чего может доходить *тирания общественного мнения*, надо пожить в одной из *мелкобуржуазных* стран Западной Европы» [3]).

Преданность старине, боязнь всего нового, доходящая до тирании против нового,—вот характерная черта общественной психики всякой мелкой буржуазии.

4) Эта черта определяет другие две черты, — *умственную отсталость и грубость нравов.* «В мелкобуржуазном обществе есть богатые и бедные, но бедный слой населения,—говорит Плеханов,—поставлен в такие общественные отношения, которые *не будят, а усыпляют его мысль и делают его послушным орудием* в руках сплоченного большинства, более или менее богатых, более или менее зажиточных филистеров», а это приводит к тому, что «народ в классических странах мелкой буржуазии является совершенно *неразвитой массой*, погруженной в *умственную спячку* и отличающейся от ведущих ее за нос «столпов общества» только более *грубыми* манерами и менее чистыми жилищами» [4]).

5) Тирания общественного мелкобуржуазного мнения, умственная спячка и грубость нравов приводят к дальнейшим последствиям, порождают новые психические черты, — *лицемерие, лживость, бессовестность, приниженность, половинчатость, непоследовательность.*

«Беспредельная, всевидящая и мелочная тирания мелкобуржуазного общественного мнения приучает людей к *лицемерию*, ко *лжи, к сделкам со своей совестью*; она *принижает* их *характеры, делает их непоследовательными, половинчатыми*» [5]).

Мелкобуржуазная ограниченность характерна, по мнению Плеханова, как мы уже сказали, для *всей и всякой* мелкой буржуазии, не только для мелкой буржуазии стран *отсталых*, но и стран *передовых*, пользующихся *политической свободой.* Мелкобуржуазная ограниченность накладывает свой отпечаток даже и на характер их политической свободы, который Плеханов рисует очень резкими штрихами, а именно:

1) Т. XX, стр. 324—325.
2) Т. XIV, стр. 211.
3) Т. XIV, стр. 211—212.
4) Т. XV, стр. 217.
5) Т. XIV, стр. 212.

1) Узость политических взглядов.

«Страшно узкий во всем, мелкий буржуа страшно узок и в понимании политической свободы»[1]).

2) Боязнь конфликтов, стремление к стойкой, обеспечивающей мир и спокойствие, политической власти.

«Стоит только ему (мелкому буржуа.—Ю. Ф.) увидеть перед собой конфликт, хоть отчасти похожий на те крупные столкновения, которыми так богата жизнь новейшего капиталистического общества, и он позабудет о свободе и завопит о порядке»[2]).

3) Боязнь конфликтов, стремление к порядку так у них велико, что они перерастают в свою противоположность и превращают их в политических контрреволюционеров. «Мелкий буржуа,—пишет Плеханов,—самым постыдным образом, без малейшего зазрения совести, примется нарушать на практике ту свободную конституцию, которой он гордится в теории»[3]).

4) Отсюда новая черта его психологии — «у мелкобуржуазного филистера слово расходится с делом»[4]).

5) Мелкобуржуазная боязнь к конфликтам, мелкобуржуазное стремление к покою, к спокойствию, ведущее к расхождению между словом и делом в отношении к политической свободе является базой, основой еще одной психологической черты, а именно—оппортунизма.

«Мелкий буржуа—прирожденный оппортунист»[5]).

Такова общая характеристика мелкой буржуазии в целом. Но Плеханов этим не ограничивается. Мы находим у него характеристику психики отдельных слоев этой мелкой буржуазии.

Так, Плеханов указывает на одну характерную черту ремесленника, а именно—формальный характер его чувства уважения к самому себе, его чувства собственного достоинства, сводящегося фактически к Плюшкинскому скопидомству, скряжничеству, самоограничению и урезыванию своих потребностей. Плеханов сомневается в том, что «самостоятельный ремесленник» имеет больше самоуважения, чем наемный работник». Он указывает на то, что «почтительное отношение к самому себе вовсе не есть истинное самоуважение». Он заявляет, что: «Свойственное мелкому буржуа «самоуважение» ведет его к бережливости, к урезыванию расходов на себя, к скопидомству»[6]).

Плеханов не оставляет без внимания, наоборот, очень часто возвращается к характеристике другого большого мелкобуржуазного слоя, а именно крестьянства, но при этом нужно помнить, что она относится, главным образом, к крестьянству дореволюционной, самодержавной России:

1) Он подмечает прежде всего безграничную покорность, терпеливость крестьян по отношению к природе. «Зависимость земледельческого труда от непонятных крестьянину и, повидимому, совершенно случайных явлений природы», приво-

[1]) Т. XIV, стр. 219.
[2]) Там же.
[3]) Там же.
[4]) Там же.
[5]) Там же, стр. 226.
[6]) Т. VI, стр. 121—122.

дит, по мнению Плеханова, к тому, что природа «учит его (крестьянина.—Ю. Ф.) признавать власть и притом власть бесконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно-жестокую», а это приводит к тому, что крестьянин «умеет терпеть; терпеть не думая, не об'ясняя, терпеть беспрекословно», так что «решительно нет возможности определить этому терпению более или менее точного предела»[1]).

2) Терпеливость и покорность в отношении крестьянина к природе связана еще с одной чертой—религиозным суеверием. По мнению Плеханова, оно «представляет собою естественный продукт отношений крестьянина к природе, особенностей земледельческого труда». В лучшем случае крестьянин «может дойти до сознания какой-нибудь «рационалистической секты», но никогда он не может возвыситься до материалистического и единственно-правильного взгляда на природу, до понятия о власти человека над землей»[2]).

3) Порабощенность и покорность, бесконечная и беспрекословная терпеливость в отношении к природе, религиозное суеверие сочетаются у крестьянина с узостью общественного кругозора и общественных интересов, неподвижностью и нечуткости мысли в отношении к окружающему его обществу.

«Область, в которой может безопасно вращаться крестьянская мысль, ограничивается пределами крестьянского хозяйства. Занимаясь хозяйством, крестьянин становится в известные отношения к земле, к навозу, к орудиям труда, к рабочему скоту. Допустим,—говорит Плеханов,—что эти отношения чрезвычайно разнообразны и крайне поучительны, но они не имеют ничего общего со взаимными отношениями людей в обществе», а «пока мысль человека не выходит за пределы его хозяйства, до тех пор мысль эта спит мертвым сном, а если и пробуждается под влиянием каких-либо исключительных обстоятельств, то пробуждается лишь для галлюцинаций. Натуральное хозяйство очень неблагоприятно для развития чуткой общественной мысли и широких общественных интересов»[3]).

4) Занятый только своим производством, своим индивидуальным хозяйством, крестьянин умственно спит. Мысль его ограничена узкой областью хозяйства, за пределы коего она не выходит.

«Пока такой человек находится в состоянии умственного равновесия, т.-е., проще говоря, в здравом уме и твердой памяти, ему и в голову не приходит задаваться вопросами, не имеющими прямого отношения к процессу производства, поглащающему все его духовные и физические силы. Он пашет, сеет, блюдет хозяйство, соблюдает, чего с него начальство требует, но отнюдь и никогда «не вникается». Это не его дело. Вникаться должны люди, живущие в центре, а он обязан обеспечить им экономическую возможность вникания, т.-е. опять-таки пахать, сеять, соблюдать хозяйство и пр. Роскошь «думы» могут позволить себе только производители, почему-либо поврежденные в уме»[4]).

5) Эта общественно-психологическая ограниченность связана с индивидуализмом. По мнению Плеханова, положение дела

[1]) Т. X, стр. 20.
[2]) Там же.
[3]) Т. X, стр. 125.
[4]) Т. X, стр. 129.

не изменяется от того, что крестьяне живут общинами. Плеханов считает неосновательной привычку «превозносить чувство солидарности, будто бы в высокой степени свойственное крестьянам-общинникам». «В действительности, крестьяне-общинники такие же индивидуалисты, как и крестьяне-собственники»[1].

6) Эта общественно-экономическая забитость приводит и к забитости в политическом отношении, к приверженности и беспрекословной покорности государственной власти и ее местных ставленников.

«Как случайности природы сосредоточиваются для крестьянина в боге, так случайности политики сосредоточиваются для него в царе»[2],—говорит Плеханов.

«Его кругозор ограничивается узкими пределами крестьянского хозяйства. Смутны его представления обо всем, что выходит из этих пределов. Он очень плохой политик, он ничего не знает о происхождении и значении начальства. Когда на его широкую спину это начальство взваливает тягости войны, он не дает себе отчета о том, за что она ведется и где находится враждебная земля» и т. п. Он помнит одно: «что царь скажет, то и будет», и по царскому приказанию он готов «усмирять» кого угодно»[3].

7) Отсюда отсутствие чувства собственного достоинства, отсутствие даже чувства самоуважения, отсюда самоунижение, приниженность даже в собственных глазах.

«В своих сношениях с центром производитель-варвар выступает не как человек, а лишь как некое жалкое подобие человека. Он называет себя не полным человеческим именем, а уничтожительной кличкой, распространяя свое принижение на все, что имеет к нему известное касательство: у него не жена, а женка, у него не дети, а детишки, не скот, а животишки»[4].

Покорный сильным, крестьянин в силу своей тяжелой борьбы за существование приобретает, однако, и другие психические черты в своем характере, а именно:

8) Суровость, беспощадность, безжалостность.

«Со всех сторон теснимый гнетом суровой и беспощадной действительности,—говорит Плеханов,—варвар-земледелец сам становится суровым и беспощадным. Он не знает никакой жалости там, где ему приходится вести борьбу за свое жалкое существование. Известны расправы крестьян с конокрадами»[5].

9) Плеханов отмечает не только суровость и беспощадность, которые в известном смысле необходимы и нужны крестьянину в его тяжелой борьбе за существование, но и такие черты, которые сами по себе бесполезны для крестьянина, но которые являются следствием вышеуказанных черт, а именно:

10) Бессердечное издевательство и презрение к бедности и беспомощности.

«Такое бессердечное издевательство над бедностью,—пишет Плеханов,—возможно только там, где во всей силе царит суровое правило: каждый за себя, а бог за всех, и где человек, не умеющий собствен-

[1]) Т. X, стр. 125.
[2]) Там же, стр. 22.
[3]) Т. X, стр. 30.
[4]) Т. X, стр. 127—128.
[5]) Т. X, стр. 129.

ными силами справиться с нуждою, не вызывает в окружающих ничего, кроме презрения»[1]).

Эта психологическая характеристика дореволюционного крестьянства очень мрачна.

Но это только одна сторона картины. Плеханов подмечает и другую сторону, вскрывает у крестьянства и положительные черты характера, а именно:

1) Сочувствие, жалость к страдающему. Говоря о крестьянах, одетых в солдатскую форму и расстреливающих по приказу царя и начальства «непокорных» царю, Плеханов добавляет:

«Перебивши и усмиривши их, он скажет вам, что все они были люди «ничего», и от души пожалеет об их несчастном «непокорстве»[2]).

Солдат-крестьянин, расстреливая, по приказанию царя, начальства непокорных царю, сам, внутренне не испытывает к ним никакой злобы, не ожесточается при виде их крови, а даже сочувствует им, жалеет их.

Покорный, бессловесный, он не черств сам по себе, не лишен человеческих чувств.

Так отсутствие собственного достоинства, приниженность, душевная спячка, узость кругозора, беспрекословное повиновение, жестокость по принуждению, суровость и беспощадность в борьбе за существование, бессердечное издевательство над бедностью и слабостью совмещаются в крестьянине с внутренней человечностью.

2) Плеханов идет еще дальше и указывает на пробуждение крестьянства, на расширение его умственного кругозора, на любовь к знаниям.

«Крушение старых экономических порядков, пробудив русский народ от его вековой спячки, вызвало в нем небывалую прежде жажду знаний, которая заметна даже в деревнях»[3]).

К этому надо прибавить, что ведь и сам рабочий класс наш вышел из крестьянства.

Теперь перейдем к характеристике Плехановым психологии рабочего класса. Он делит рабочих на две группы: 1) на фабричных рабочих и 2) на так называемых заводских рабочих.

Фабричные рабочие—это те, которые только что пришли из деревни, остаются в течение некоторого времени настоящими крестьянами и жалуются «не на хозяйскую прижимку, а на тяжелые подати да на крестьянское малоземелье»[4]).

1) В отношении к ним особенно интересно и важно то обстоятельство, что Плеханов показывает, как новое бытие ломает психику этого нового рабочего слоя, выделяющегося из крестьянства, вскрывая этим гибкость психики, ее изменчивость под давлением общественного бытия.

«Мало-по-малу городская жизнь подчиняла его своему влиянию: не заметно для себя он приобретал привычки и взгляды горожанина. Проработав в городе несколько лет, он уже плохо чувствовал себя в деревне и неохотно возвращался в нее, в особенности если ему удавалось столкнуться с «умственными» людьми, столкновения с которыми возбудили в нем интерес к книге. Деревенские нравы и порядки становились

---

1) Т. X, стр. 126.
2) Т. X, стр. 30.
3) Т. IV, стр. 118.
4) Т. III, стр. 136.

невыносимыми для человека, личность которого начинала хоть немного развиваться. И чем даровитее был рабочий, чем больше думал и учился он в городе, тем скорее и решительнее разрывал он с деревней. Фабричный, несколько лет принимавший участие в революционном движении, обыкновенно не мог и несколько месяцев выжить у себя на родине. Иногда отношения рабочих к их старикам-родителям принимали поистине трагический характер. «Старцы» горько плакались на непочтительность «детей», а дети с тяжелым сердцем убеждались, что стали в семье чужими, и их неудержимо тянуло в город, в тесные дружеские кружки товарищей революционеров[1]).

2) Рост сознания личности—вот новая психическая черта, приобретаемая фабричными рабочими в новом общественном революционном котле. В этом отношении интересно следующее замечание Плеханова:

«На телесное наказание,—рассказывает он,—рабочие смотрят как на крайнюю степень унижения человеческого достоинства. Иногда они с негодованием показывали мне газетные сообщения о порках крестьян, и я всегда затруднялся решить, что больше возмущало их: свирепость истязующих, или безответная покорность истязуемых»[2]).

3) В основе самосознания личности лежит рост новых потребностей, такой сильный рост потребностей, что пролетариат превосходит в этом отношении не только крестьян, но и городского мелкого буржуа.

«При равном заработке пролетарий, наверное, будет позволять себе больше расходов, чем мелкий буржуа, т.-е. будет отличаться более высоким уровнем потребностей»[3]).

4) С ростом самосознания, личности рабочего, его потребностей расширяется его умственный кругозор, растет его интерес к книге, к знанию. Плеханов характеризует в этом отношении русских рабочих так же, как и Маркс в свое время в предисловии к «Капиталу» характеризовал германских рабочих.

«Можно сказать без преувеличения,—пишет он,—что рабочий класс—это тот класс, который всего прилежнее учится в современной России[4]).

«Городской, неземледельческий труд не может поглощать всей мысли, всего нравственного существа человека,—пишет Плеханов.—Напротив, по справедливому замечанию Маркса, жизнь рабочего начинается только тогда, когда оканчивается его работа. Таким образом, он может иметь другие интересы, лежащие вне среды его. При благоприятных обстоятельствах, которые, как мы видели, встречаются в русских городах, его незанятая трудом мысль пробуждается и требует пищи. Рабочий набрасывается на науку, проходит «грамматику», арифметику, физику, геометрию, читает хорошие книги»[5]).

Устроенные в больших городах бесплатные народные читальни буквально осаждаются рабочими. Чтобы нас не заподозрили в преувеличении, сошлемся на «Новое Время», газету, которую никто не упрекнет в излишнем пристрастии к пролетариату»[6]).

[1]) Т. III, стр. 136.
[2]) Там же, стр. 135.
[3]) Т. VI, стр. 122.
[4]) Т. III, стр. 141—142.
[5]) Т. X, стр. 54—55.
[6]) Т. III, стр. 141—142.

5) При этом Плеханов отмечает еще один очень яркий, очень характерный момент. Неверие в умственные способности рабочих, мысль об их слабости и отсталости заставляет многих преподносить им легкие, доступные, специально для народа издаваемые брошюры и книги. И вот оказывается, что рабочие недовольны, неудовлетворяются такой литературой, что они очень остро и болезненно воспринимали эту недооценку их умственных способностей и требовали, искали серьезную, даже научную книгу.

«Вообще, я заметил,—пишет Плеханов,—что, читая книжку, изданную специально для «народа», способный рабочий чувствует себя, как бы несколько униженным, поставленным в положение ребенка, читающего детскую сказку. Ему хочется скорее перейти к сочинениям, предназначающимся для всех вообще толковых читателей, а не только для «серого» народа. Для многих рабочих чтение серьезных и даже ученых книг было своего рода вопросом чести» [1]).

6) Растет не только умственный кругозор рабочего, но весь его духовный облик. «У него необходимо должны пробуждаться и другие духовные потребности» [2]).

Так Плеханов рисует процесс переварки вышедших из крестьян фабричных рабочих.

Что же касается заводских рабочих, т.-е. тех, которые уже «совершенно свыклись с условиями городской жизни и в большинстве оказались уже непригодными к деревенской жизни, которым трудно было сойтись с крестьянами», то Плеханов отмечает у них чувство собственного достоинства, вызывающее презрительное отношение к отсталому крестьянству, презрение, смешанное с сочувствием. По мнению Плеханова, они «смотрели сверху вниз на деревенского человека, называли его серым и в душе всегда несколько презирали, хотя совершенно искренно сочувствовали его бедствиям» [3]).

Плеханов вскрывает в рабочем классе и еще целый ряд психических черт:

1) Рабочий класс не только умственно пробуждается, но, как самый молодой класс, он оказывается наиболее восприимчивым, чутким, подвижным, отзывчивым, нетерпеливым, с более широким горизонтом, непокорным и революционным. «Под влиянием экономического развития, в нашем «народе»,—пишет Плеханов,—появился новый класс, несравненно более чуткий, подвижной, отзывчивый, нежели крестьянство». Этот класс—класс пролетариев—очень недвусмысленно показывает нам, что он совсем не намерен «почтительно» предоставить высшим классам наслаждение всеми материальными и духовными благами жизни, ничего не оставляя на свою долю, кроме тяжелого физического труда. Русский пролетарий живет уже не в «безрассветной», глубокой ночи: он в лице лучших представителей своего класса уже видит яркую зарю своего освобождения. Его «суровые» очи не «плачут»: они горят благородной жаждой борьбы с гордым сознанием своей силы. Его «уста» не остаются» «немыми»: они зовут на битву. И странно было бы

[1]) Т. III, стр. 142.
[2]) Т. X, стр. 55.
[3]) Т. III, стр. 133.

желать ему «доброй ночи»—ему, который стряхизает с себя тяжелый сон и бодро принимается за свою великую историческую работу» [1]).

Более молодые, более предприимчивые, устраненные в городе от влияния более консервативных и боязливых членов крестьянской семьи, более видавшие и слышащие, более широко наблюдавшие все общественные отношения, наши городские рабочие одинаково с западными, составляют самый подвижной, наиболее удобовоспламеняющийся, наиболее способный к революционизированию слой населения» [2]).

2) При этом Плеханов вскрывает механику взаимоотношений между повышением умственного уровня рабочих и их революционной борьбой.

«Чем менее развит рабочий класс, чем меньше он понимает свои интересы, тем покорнее несет он то ярмо, которое надевает на него хозяин. И наоборот. Чем сильнее начинает шевелиться мысль рабочего, тем лучше понимает он свое положение, а чем лучше понимает он свое положение, тем энергичнее восстает он против хозяйских прижимок, тем чаще пытается он сбросить хозяйское иго». Вот почему «всякий новый шаг на пути умственного развития рабочих сопровождается новым нападением на царство капиталистической эксплоатации». А эта «борьба с эксплоататорами, неизбежно сопровождающая умственное пробуждение рабочего класса, является в свою очередь новым источником его умственного и нравственного развития» [3]).

Но рабочий не ограничивается одной экономической борьбой и приходит к борьбе политической, которая еще более расширяет его кругозор, которая «на место забитых обывателей рабов, покорно подставляющих свою спину под царские, хозяйские и полицейские удары, ставит граждан, сознающих свое достоинство человека и умеющих сознательно бороться за свое освобождение» [4]).

3) Экономическая и политическая борьба не только расширяет умственный и духовный горизонт рабочих, но и превращает их из индивидуалистов в коммунистов, в коллективистов, ибо она показывает им, «что они не добьются ничего, пока будут действовать в одиночку, что они непременно должны поддерживать друг друга, если не хотят быть побеждаемы на каждом шагу, что для торжества над темной силой капитала нужно сознательное об'единение трудящихся» [5]). Борьба рабочих «является лучшей школою, какую только можно придумать», лучшей школой роста умственных способностей и коллективистических черт.

Этот революционный коллективистический дух рабочих проявляется даже при таких обстоятельствах, когда борьба, казалось, физически невозможна.

Плеханов рассказывает о следующем случае.

Когда увещевавший рабочих одной фабрик какой-то полковник закончил свою речь указанием на то, что у него сейчас 25.000 солдат под оружием, которых он направит против них, если они попробуют только бунтовать, — это рабочие с обычным юмором про-

[1]) Т. X, стр. 394.
[2]) Т. I. стр. 69—70.
[3]) Т. IX стр. 288.
[4]) Т. IX, стр. 290.
[5]) Там же, стр. 288—289.

стого русского человека ответили: «Больно уж много ты, ваше благородие, для нас наготовил-то, нас всего-то здесь 300 человек, и с бабами и с ребятами, а мужиков-то не будет и 70».

Казалось бы, что кучка рабочих в 70 человек, окруженная женами и детьми, должна была испугаться угрозы человека, могущего направить против них огромную армию, а между тем, угроза не производит на них никакого впечатления и вместо страха они юмористически высмеивают угрожающего им полковника.

Но этого мало.

«Полковник понял,—пишет Плеханов,—что зарапортовался, и для поддержания своего авторитета приказал схватить одного из остряков, но толпа окружила его и не позволила бросившимся городовым исполнить начальническое приказание»[1]).

Не только юмористическая насмешка, но и прямое противодействие, вот как ответила эта группа рабочих грозному начальнику, так сильны в них бесстрашие и чувство солидарности, революционный коллективизм.

4) И еще одну черту характера рабочих показывает Плеханов.

«Противодействие равняется действию, и странно удивляться, что дикий произвол полиции вызывает дикую, подчас, ярость «народа»,—говорит Плеханов по поводу ростовской стачки.

Казалось бы, что раз'яренная толпа не в состоянии себя ни в чем сдержать, что она должна забыть все «нормы», а между тем оказывается, что это совсем не так.

«Никто из опустошителей не позволил себе взять ничего из уничтожаемого имущества полицейских. Это тогда подтверждено было всеми очевидцами. Только когда стали разносить дом полицмейстера и выкинули на улицу несколько штук прекрасного полотна, какой-то солдат попросил себе кусок на рубаху. Толпа удовлетворила просьбу «служивого», тут же уничтожив остаток»[2]).

Несмотря на ярость, рабочие сохранили свое человеческое достоинство, не тронув, не взяв для себя ничего из имущества ненавистных им полицейских, так велика их личная честность.

Очень интересно также, какими штрихами Плеханов рисует рабочую молодежь, подростков и детей.

«Насколько я заметил,—пишет он,—рабочая молодежь, подростки и дети, отличаются гораздо большей самостоятельностью, чем молодежь высших классов. Жизни в более раннем возрасте и с большей суровостью толкает их на борьбу за существование, чем и налагает особую печать находчивости и закаленности на тех из них, которым удается спастись от преждевременной гибели»[3]).

Дело не ограничивается этими личными качествами.

Столкновения с мастерами и хозяевами развивают в рабочей молодежи замечательное единодушие и коллективизм. Плеханов приводит следующий пример: «Весной 1878 года, во время стачки на Новой Бумагопрядильне, было арестовано и посажено в участок несколько малолет-

---

[1]) Т. I, стр. 49.
[2]) Т. III, стр. 191.
[3]) Там же, стр. 138.

них фабричных. Товарищи, такие же малолетние и такие же бунтовщики, как и арестованные, немедленно отправились толпою в участок, требуя их освобождения. Вышла своеобразная детская демонстрация. Они принимали в стачке самое деятельное и самое полезное участие, прекрасно понимая, в чем дело. Многие из этих маленьких стачечников были подвергнуты тогда «неправительному наказанию при полиции». Не думаю, однако, чтобы наказание «исправило» их в желательном для начальства смысле» [1]).

Не только взрослые рабочие, но и подростки и дети представляют собой богатый запас психических возможностей—вот вывод из всего сказанного.

Лучшим резюме для характеристики Плехановым психики рабочего класса является следующее его замечание:

«Чутье поэта, не выносившего мелкобуржуазной умеренности, опошляющей даже благороднейшие движения души, не обмануло Ибсена, указав ему на рабочих, как на тот общественный элемент, который внесет в общественную жизнь Норвегии недостающей элемент благородства» [2]).

Итак, из всего сказанного вытекают следующие положения:

а) психика человека очень гибка, ломка, изменчива, приспособляясь к общественному бытию;

б) психика различных классов различна по своему содержанию и общественному значению;

в) психика рабочего класса, этого самого восприимчивого, чуткого, подвижного, благородного класса таит в себе колоссальные возможности;

г) если уже во времена Плеханова нельзя было недооценивать умственные возможности рабочих, то тем менее это допустимо теперь, в условиях социалистического строительства.

Плеханов в свое время призывал следовать примеру Зомбарта и изучать классовую психологию. Этот призыв ждет еще своего выполнения. Изучение классовой психологии очень важно для мирового пролетариата. Оно поможет пролетариату СССР в его социалистическом строительстве, в укреплении союза с крестьянством. Оно поможет пролетариату империалистических стран в его борьбе за революционный захват власти. Изучение классовой психологии является, как мы указали в начале главы, одной из основных задач марксистской психологии в настоящий момент.

Методологические и практические указания Плеханова бесспорно помогут марксистской психологии выполнить стоящие перед ней задачи по изучению классовой психологии.

---

[1]) Там же, стр. 138—139.
[2]) Т. XIV, стр. 233.

# Плеханов как экономист.

*Гр. Деборин.*

Георгий Валентинович Плеханов, со дня смерти которого недавно исполнилось десять лет, обладал самыми разносторонними и притом чрезвычайно глубокими знаниями. Нет почти ни одной теоретической проблемы, мало таких практических вопросов революционного движения, которых он бы так или иначе не затрагивал в своих многочисленных работах, неизменно поражая проницательностью анализа, своеобразием мысли и блестящим изложением.

В его беспрестанной, продолжительной борьбе с самыми разнообразными противниками и ревизионистами марксизма Плеханову приходилось переходить с одного теоретического фронта на другой, выступать по самым различным вопросам. Сегодня критикуя народников, а завтра обрушиваясь на махистов, разбирая вопросы искусства и литературы на ряду с серьезным и продуманным анализом французского материализма и англо-германского утопизма, Плеханов не только способствовал популяризации марксизма, не только отстаивал его от всяческих враждебных покушений, но был также и его непосредственным продолжателем. Он углублял, уточнял и развивал все, без исключения, основные вопросы марксистского миросозерцания.

Плеханова, очевидно, больше всего интересовали вопросы социологического и философского характера. Однако в его работах немало места отведено также и экономическим вопросам, различным категориям и проблемам политической экономии. В совершенстве владея диалектическим методом Маркса, Плеханов неоднократно давал жестокий отпор многочисленным противникам марксизма, выступавшим против экономической стороны последнего. Он доказывал всю теоретическую неприемлемость, буржуазно-апологетический характер и явную или скрытую классовую сущность выдвигаемых ими положений. В процессе этой тридцатилетней борьбы как с отечественными, так и с иноземными «критиками» марксизма Плеханов, неизменно оставаясь на ортодоксальной точке зрения, затрагивал и исследовал всевозможные экономические вопросы как теоретические, так и практические.

В его многочисленных работах, на ряду с критикой теории стоимости Чернышевского и Родбертуса, мы встречаем анализ динамики русского капитализма, основанный на детальном изучении экономики страны и имеющегося статистического материала. Рассуждения о предмете и методе политической экономии переплетаются с критикой мальтузианства и своеобразной трактовкой теории кризисов. Такие всевозможные темы экономических работ Г. В. Плеханов, на ряду с его тщательным исследованием изучаемого об'екта и сокрушительной, чрезвычайно остроумной, критикой антимарксистских теорий,

свидетельствуют о свойственной автору силе теоретического мышления и поистине гениальных, выдающихся способностях.

В настоящей статье мы подвергнем исследованию всего лишь несколько главнейших теоретических вопросов политической экономии, разбираемых Плехановым, не ставя себе неразрешимой задачи исчерпать в рамках одной небольшой статьи—все то обилие интереснейшего материала, которое имеется в его литературном наследстве, как в виде целых экономических работ, так и в форме отдельных мест и частных замечаний.

* * *

Остановимся, прежде всего, на п р е д м е т е и м е т о д е политической экономии. Плеханов совершенно справедливо придавал громадное значение этим основным, важнейшим вопросам экономического анализа, ибо без их правильного разрешения невозможно сколько-нибудь полное, безошибочное познание законов существования и развития капиталистического хозяйства. Поэтому он очень часто затрагивает как исторический характер политической экономии, так и ее методологические вопросы.

Критикуя то или иное направление, ту или иную экономическую школу или отдельного экономиста, Плеханов всегда останавливается на методе, применяемом разбираемым направлением, отмечая при этом социальное значение данного метода и его историческое происхождение. Мы считаем, что плехановская трактовка этих вопросов представляет собой в настоящее время особо значительный интерес, так как даже в среде наших марксистов до сих пор еще не достигнуто полное единство в их разрешении.

Характеризуя коренные изменения, внесенные Марксом в изучение капиталистического способа производства, по сравнению с предшествовавшими ему различными экономистами, Плеханов неоднократно отмечает, что эти изменения самым тесным образом связаны с применением в политической экономии диалектического метода. «Диалектическая критика Маркса,—говорит он,—устранила односторонние, метафизические взгляды буржуазных экономистов, пополнила недостатки и исправила ошибки их теорий и поставила политическую экономию на совершенно новое основание» [1]). Тем самым изменился и предмет политической экономии, ее подход к изучаемому об'екту. Если классическая политическая экономия рассматривала законы буржуазного хозяйства, как законы вечные, естественные и неизменные, к тому же присущие всем, без исключения, экономическим формациям, если она изучала хозяйство «вообще», не ставя себе целью изучить именно данный конкретный способ производства, то марксистская политическая экономия становится теорией только лишь одного определенного—капиталистического—хозяйства, которое она изучает в его возникновении, развитии и грядущем исчезновении.

Плеханов четко формулирует эти важнейшие изменения в изучении капиталистического общества, последовавшие в связи с применением нового метода, значительно более совершенного, нежели пред'идущие, облегчающего проникновение вглубь экономических явлений. «Быстрые теоретические успехи социализма были в то же время теоретическими успехами экономической науки. Теперь политическая экономия стала н а у к о й о б э к о н о м и ч е с к о м р а з в и т и и о б щ е с т в а. Что касается буржуазного порядка, то она изучает его

[1]) Г. В. П л е х а н о в, Н. Г. Чернышевский, Соч., под ред. Д. Б. Рязанова, т. VI. стр. 69.

историю, его законы и показывают, как постоянное и неотвратимое их действие подрывает этот порядок и подготовляет материальные условия для нового общественного устройства. Иначе сказать, буржуазная политическая экономия изучала буржуазный порядок в его готовом законченном виде, который она считала неизменным. Современная нам политическая экономия (марксистская политическая экономия.—Г. Д.) изучает буржуазный порядок с точки зрения развития, с точки зрения его возникновения и уничтожения»[1]). Само собой разумеется, что изучение общественной жизни с точки зрения присущего ей развития является одним из важнейших последствий применения диалектического метода. На это Плеханов неоднократно указывает.

Отмечая новые, отличительные черты современной политической экономии, Плеханов никогда не забывает в то же время подчеркнуть значения громадной теоретической работы, проделанной основоположниками научного социализма. Он считает, что только «Маркс и Энгельс поставили изучение экономической истории человечества на твердую научную почву, показавши ее внутреннюю необходимость и строгую закономерность»[2]).

В противоположность почти всем немарксистским экономическим системам и теориям как тогдашним, так и теперешним, а равно также и некоторым из современных «марксистов», Плеханов считает, что политическая экономия, по самому существу своему, является исторической наукой. Он неоднократно возвращается к этому вопросу, десятки раз указывает и раз'ясняет исторический характер как всей политической экономии в целом, так и ее отдельных категорий. Он беспрестанно заявляет, что все без исключения понятия политической экономии связаны только с капиталистическим способом общественного производства и являются абстрактным выражением свойственных ему производственных отношений.

Высмеивая убеждения со свойственной ему силой критического мышления Михайловского и К°, Плеханов особо отмечает этот исторический характер «критики капиталистического способа производства». «Вы признаете экономические взгляды Маркса, отрицая его историческую теорию...—пишет он.—Надо сознаться, что этим сказано очень много, а именно: этим сказано, что вы не понимаете ни исторической его теории, ни его экономических взглядов.. В первом томе «Капитала»... говорится, что стоимость есть общественное отношение производства. Согласны ли вы с этим? Если — нет, то вы отказываетесь от своих собственных слов насчет согласия с экономической теорией Маркса. Если—да, то вы признаете его историческую теорию, хотя, очевидно, и не понимаете ее»[3]).

Несколько раз возвращаясь к вопросу об историческом характере политической экономии, углубляя и оттеняя отдельные стороны этой, весьма существенной, проблемы, Плеханов не только придал большую ясность определению исторических рамок данной науки, но также осуществил большой и глубокий научный анализ той теснейшей неразрывной связи, которая существует между экономической и исторической сторонами марксизма вообще, политической эконо-

---

[1]) Там же, курсив наш.

[2]) Плеханов, Н. Чернышевский, Соч., т. V, стр. 50.

[3]) Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю, Соч., т. VIII, стр. 228. Курсив здесь и всюду дальше, где это не оговорено,—автора.

мии в частности. В его статье «Двадцатипятилетие смерти Маркса» мы находим чрезвычайно интересный отрывок, как бы подводящий некоторый итог отдельным мыслям Плеханова по этому вопросу. «Марксизм не есть только известное экономическое учение (учение о характере и развитии производительных отношений, присущих капиталистическому обществу); он есть не только известная историческая теория (исторический материализм); он не есть известное экономическое учение плюс известная историческая теория. У Маркса экономическое учение не поставлено рядом с исторической теорией; оно насквозь пропитано ею. То, что говорится у него о характере и развитии производительных отношений, свойственных капиталистическому обществу, является плодом изучения экономики данной эпохи с точки зрения исторического материализма. Вот почему безусловно правы те, которые говорят, что «Капитал» есть не только экономическое, но также и историческое сочинение»[1].

Но, говоря это, подчеркивая историческую сторону марксизма, Плеханов одновременно указывает, что она не представляет собой чисто умозрительный, исходный пункт исследования, оторванный от конкретной действительности. Наоборот, вся ценность этой точки зрения как раз и заключается в том, что она полностью соответствует реальному ходу вещей, ибо «поле исследования, охватываемое «Капиталом», есть именно то поле, которое уже обработано с новой точки зрения, с точки зрения исторической теории Маркса»[2].

Как мы уже говорили, Плеханов внимательно разбирает различные методы экономического исследования. При этом он наглядно показывает все преимущества диалектического метода Маркса, отмечает его основные характерные черты. Он указывает также и на то, что, помимо исторического подхода, свойственного диалектическому методу, ему присуща материалистическая сущность. «Чтобы критиковать Маркса,—говорит он,— необходимо сначала понять его, а для его понимания необходимо помнить, что метод Маркса есть материалистический по своему существу. Кто отворачивается от материализма, тот сам создает себе огромное препятствие для понимания марксова метода, а следовательно, и для употребления его в дело. Неудивительно поэтому, что «критики Маркса» охотнее всего отвергающие его материалистическую философию, обыкновенно не умеют пользоваться его методом и в других областях знания, например, в политической экономии»[3]. Марксистский метод в политической экономии, равно как и в «других областях знания», самым неразрывным образом связан с этой материалистической философией. Он представляет собой не только исторический, но и материалистический метод диалектического изучения общественных явлений.

Уделяя, аналогично Марксу и Энгельсу, столь значительное внимание методологическим вопросам, Плеханов отмечает всю важность правильно выбранного метода для плодотворного теоретического и практического анализа. Он считает, что «Гегель не даром отводил в своей философии такое важное место вопросу о методе, и не даром

---

[1]) Плеханов, Двадцатипятилетие смерти Маркса. Соч., т. XVI, стр. 293.

[2]) Плеханов, К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. Соч., т. VII, стр. 234.

[3]) Плеханов, Двадцатипятилетие смерти Маркса, Соч., т. XVI, стр. 294. Курсив наш.

также те из западно-европейских социалистов, которые с гордостью «ведут свою родословную», между прочим, «от Гегеля и Канта», придают гораздо большее значение методу исследования общественных явлений, чем данным его результатам. Ошибка в результате непременно будет замечена и исправлена при дальнейшем применении правильного метода, между тем, как ошибочный метод, наоборот, лишь в редких частных случаях может дать результаты, не противоречащие той или другой частной истине» [1]).

Через 27 лет после того, как им были написаны вышеприведенные строки, Плеханов, критикуя теоретические работы Жан-Жака Руссо, вновь возвращается к вопросу о значении метода в деле научного исследования общественных явлений. Здесь несколько в иной форме и в другой связи он вновь указывает на громадное значение метода, уточняет и углубляет свои прежние формулировки. «Метод, это—орудие, служащее для открытия истины. Он важен не сам по себе, а по отношению к тем выводам, которые делаются с его помощью, точно так же, как в области материального производства орудие важно не само по себе, а по отношению к тем предметам потребления, которые получаются при его посредстве. Но в области материального производства польза, приносимая данным орудием, определяется суммой тех предметов, которые могут быть получены благодаря его употреблению в дело, а не каким-нибудь одним из них, взятым в отдельности. Подобно этому и в области умственного труда достоинство данного метода зависит от совокупности всех тех правильных заключений, к которым приходит исследователь, его применяющий, а не от какого-нибудь одного из них... Хотя можно сделать ошибку, держась более современного метода исследования истины, и можно притти к правильному выводу, пользуясь методом менее современным, но это еще вовсе не доказывает малого значения метода. Более современный метод все-таки плодотворнее менее современного... Правильность метода может с избытком искупить и неправильность отдельных выводов, и недостатков блеска изложения» [2]).

В полном согласии со своими взглядами на значение метода, Плеханов, разбирая какое-либо экономическое направление или точку зрения, всегда уделяет особое внимание методологической стороне вопроса, тщательно анализирует тот метод, которого придерживается данная школа, разбирает свойственные ему недостатки и достоинства и, в случае небходимости, горячо критикует данный метод.

В своих работах, говоря о классической политической экономии, Плеханов, между прочим, доказывает полнейшую несостоятельность той методологической основы, на которой она базировалась и которой она не могла не придерживаться в силу тогдашних исторических условий. «Экономисты-классики твердо держались того мнения, что капитализм представляет собой единственный нормальный способ производства, единственный экономический порядок, который способен удовлетворить естественным, неискаженным требованиям человеческой природы. Неудивительно поэтому, что те же экономисты считали законы, свойственные этому порядку, естественными, вечными и непреложными законами общественного хозяйства» [3]). Плеханов об'ясняет, чем было детерминировано это

---

[1]) Плеханов, Наши разногласия. Соч., т. II. стр. 151.

[2]) Плеханов, Жан-Жак Руссо и его учение о происхождении неравенства между людьми. Соч., т. XVIII, стр. 3–4.

[3]) Плеханов, Обоснование народничества в трудах г. Воронцова, Соч., т. IX, стр. 71.

убеждение классиков политической экономии и показывает, как в их убеждениях сказывалась и проявлялась об'ективная историко-экономическая обстановка молодого, развивающегося капитализма. Классическая политическая экономия, появившаяся во время этого первого этапа продвижения капитализма, полностью ему соответствовала, выражала потребности его развития. Поскольку же «буржуазная экономия соответствует определенной фазе общественного развития, постольку она заключает в себе научную истину. Но эта истина относительна именно потому, что она соответствует только известному фазису общественного развития. А теоретики буржуазии, воображающие, что общество навсегда должно остаться в своей буржуазной фазе, приписывают своим относительным истинам абсолютное значение. В этом заключается их коренная ошибка...» [1]).

Однако, если в ту эпоху, когда процветала политическая экономия классиков, производственные отношения капитализма еще соответствовали интересам развития производительных сил, по мере дальнейшего роста общественного производства, это соответствие нарушилось. Тогда же стали очевидными те крупнейшие недостатки, которые присущи капиталистическому способу производства. Плеханов раз'ясняет, что это выявление недостатков данного способа производства способствовало тому, что с течением времени «теория естественных законов народного хозяйства потеряла почти всякий кредит». Он говорит о том, что непригодность метода, применяемого экономистами-классиками, на фоне последующего исторического развития стала очевидной даже для тех людей, «которые продолжают еще по уши сидеть в предрассудках старых экономистов».

Плеханов выступает также против другой точки зрения, довольно широко распространившейся после теоретического краха классической политической экономии,—точки зрения социалистов-утопистов. Эти последние неправильно подходили к изучению общественных явлений, так как они «смотрели на общественную жизнь с отвлеченной точки зрения «здравой теории», т.-е. с точки зрения того общественного устройства, которое казалось им нормальным. Поэтому они в своих исследованиях придерживались отвлеченного метода сравнения действительности с идеалом» [2]). Плеханов подробно разбирает все недостатки этого метода, который по существу своему не может дать ничего большего, кроме отвлеченных рассуждений на абстрактные темы, вместо того, чтобы способствовать проникновению вглубь вещей, изучению реальной экономической действительности. Он вновь подчеркивает необходимость исторического подхода к анализируемому об'екту,—подхода, отсутствовавшего у социалистов-утопистов. «Критиковать данное учреждение значит постараться понять, какая степень развития производительных сил вызвала его к жизни, какая его упрочила и какая приведет к его падению... В утопической же критике отсутствует самый важный, т.-е. исторический элемент» [3]).

Этого же, разобранного Плехановым, отвлеченного метода социалистов-утопистов придерживался также и русский утопист Чернышевский, назвавший его—«гипотетическим методом». Черны-

---

[1]) Плеханов, Предисловие к переводу «Развитие научного социализма» Соч., т. XI, стр. 88.

[2]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 76.

[3]) Там же, стр. 73—74.

шевскому почему-то казалось, что гипотетического метода придерживались очень многие экономисты, в том числе и Давид Рикардо. Плеханов, посвятивший анализу Чернышевского несколько крупных работ, опровергает это заблуждение и доказывает, что в то время, как «Рикардо никогда не покидал реальной почвы, Чернышевский и все социалисты-утописты не считали нужным держаться ее, по крайней мере, в «теории» [1]). Плеханов считает, что в этом отрыве от «реальной почвы» как раз и заключается главнейший недостаток метода Чернышевского, который не может быть признан пригодным для действительного, научного изучения как общественных вообще, так и, в частности, экономических явлений. Плеханов указывает, что «принятый автором метод исследования постоянно увлекает его из области действительных, существующих отношений в область отвлеченного мышления... Недостатки метода кидаются, таким образом, в глаза, и его, конечно, не одобрит ни один из современных научных противников капитализма, так как противники эти опираются теперь не на требования отвлеченной «теории», а на те внутренние противоречия существующего ныне строя, которые в своем дальнейшем развитии неизбежно должны повести к его устранению» [2]).

Однако, если метод социалистов-утопистов, равно как и гипотетический метод Чернышевского, действительно следует считать непригодным, то чем тогда можно об'яснить его довольно широкое распространение? Плеханов дает исчерпывающий ответ и на этот вопрос, указывает на кое-какие достоинства, которые когда-то принадлежали этому методу. «Гипотетический метод... не имеет ровно никакого значения, как метод исследования, но на известной ступени развития социализма он был самым лучшим методом р а з ' я с н е н и я социалистических учений» [3]).

Говоря о Родбертусе, Георгий Валентинович опять-таки не забывает упомянуть о применяемом им методе, указывая на некоторые его положительные стороны. «Одной из характернейших особенностей учения Родбертуса было убеждение его в том, что существующие ныне формы общественно-экономических отношений нельзя рассматривать, как постоянные и неизменные, возникшие с первых же шагов экономической деятельности человека и безусловно для нее необходимые. Свойственный капиталистическому обществу способ производства, обмена и распределения представлялся ему не более, как «и с т о р и ч е с к о й к а т е г о р и е й», созданной экономической необходимостью и носящей в самой себе задатки дальнейшего своего развития и преобразования» [4]). Однако эти несомненные достоинства метода Родбертуса не смогли предохранить его от ряда ошибок. Прежде всего самая эта историческая точка зрения не проводится Родбертусом с должной последовательностью; в ряде случаев он от нее отступает. С другой стороны, несмотря на свой исторический подход, Родбертус не смог взглянуть на общественные явления с точки зрения их развития. Все эти ошибки отмечаются Плехановым, который, указывая на достоинства метода Родбертуса, не забывает указать также и на его недостатки.

Относясь чрезвычайно отрицательно к суб'ективным экономистам всяческих направлений и оттенков, Плеханов, естественно, рас-

[1]) Там же, стр. 79.
[2]) П л е х а н о в, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. V, стр. 52.
[3]) Там же, стр. 78.
[4]) П л е х а н о в, Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова. Соч., т. I, стр. 225.

простирнял это свое отношение также и на их метод. По адресу применяемого этим течением метода он посылает прямо-таки убийственное замечание. «Что касается нынешних суб'ективных экономистов,— гласит это замечание,—то их метод как-будто нарочно придуман для того, чтобы сделать невозможным обнаружение причинной связи между экономическими явлениями. Эти светильники науки горят именно затем, чтобы ничего не было видно» [1]).

Таким образом, отстаивая в политической экономии единственно правильный, наиболее плодотворный, диалектический метод Маркса, Плеханов выступает против всех других, самых разнообразных методов экономического исследования. В процессе этой длительной критики методологических основ немарксистских экономических систем, он значительно уточнил и, пожалуй даже впервые, ясно сформулировал важнейшие методологические вопросы марксистской политической экономии. С другой стороны, Плеханов указав на полную непригодность основных исходных установок различных течений экономической мысли, тем самым расчистил путь для их дальнейшей критики, создал еще даже раньше печатного появления «Теорий прибавочной ценности» почву для марксистского изучения истории экономических учений. Поэтому имеющиеся у Плеханова, рассуждения и исследования на эти темы (к сожалению, недостаточно изученные нашими современными экономистами) имеют громадный интерес, представляют собой большую теоретическую и научную ценность.

Только посредством применения диалектического метода можно достичь наиболее глубоких и наиболее существенных результатов. Подчеркивая это значение диалектического метода, Плеханов одновременно указывает, что вопросы метода всегда самым тесным образом связаны с общей установкой и социальной физиономией данного направления. «Метод исследования вообще подсказывается той точкой зрения, с которой смотрит на них исследователь. Маркс смотрел на общественные явления с точки зрения присущей им диалектики. Поэтому он и держался конкретного, диалектического метода» [2]), с помощью которого ему и удалось создать стройную и выдержанную экономическую науку, критикующую капиталистический способ производства, вскрывающую основные законы его развития, доказывающую неизбежность его революционного ниспровержения и грядущего возникновения нового, значительно более совершенного, нежели предыдущие, социалистического общества.

Плеханов, разумеется, не ограничивается одним только лишь проповедыванием диалектического метода, его усиленной защитой от мыслителей с метафизическим складом ума; в своих экономических работах, он превосходно пользуется этим методом, дает нам блестящие образцы его применения. Плеханов пользуется, главным образом, дедукцией, однако он не пренебрегает и индукцией, к которой он довольно часто прибегает, использовывая для этого всевозможные статистические материалы. Вообще, по его мнению, эти два метода научного исследования неразрывно связаны друг с другом. Он считает, что посредством их совместного применения можно получить гораздо более важные результаты, чем если пользоваться исключительно только одним каким-нибудь из них. «В экономической науке, так же как и в науках естественных, дедукция должна и может стоять в тесной связи с индукцией, и добытие путем вывода положения

[1]) Плеханов. Н. Г. Чернышевский. Соч., т. VI, примечание на стр. 113.
[2]) Там же, стр. 76. Курсив наш.

должны быть проверены на фактах. Разумеется, в социальной науке невозможен опыт, составляющий такой могучий рычаг в развитии некоторых отраслей естествознания, но история и статистика представляют из себя обширное поле для наблюдения, играющего немаловажную роль в точных науках».

В своей полемике с народниками автор «Наших разногласий», широко пользуясь индукцией, в то же время указывает на необходимость соответствующего применения этого метода, подчеркивает, что без изучения конкретного, экономического развития нельзя притти ни к чему иному, кроме как к абстрактным выводам, не соответствующим реальной действительности. «Абстрактная возможность еще не есть конкретная вероятность; тем менее можно считать ее окончательным доводом там, где речь идет об исторической необходимости. Чтобы сколько-нибудь серьезно говорить об этой последней, нужно было бы перейти от алгебры к арифметике... необходимо было бы обратиться к статистике, к оценке внутреннего хода развития данной страны или данного племени и внешних влияний на них, иметь дело уже не с родом, а с видом или даже с разновидностью, не с первобытной, коллективной недвижимой собственностью вообще, а с русской, или сербской, или ново-зеландской поземельной общиной в частности, принимая в соображение как все враждебные или благоприятные ей влияния, так и то состояние, в которое она пришла в данное время, благодаря этим влияниям» [1]).

* * *

Перейдем теперь от изложения взглядов Г. В. Плеханова на предмет и метод политической экономии к его пониманию категории стоимости. Он, конечно, совершенно прав, заявляя, что «учение о стоимости по справедливости считается краеугольным камнем науки о законах буржуазного хозяйства. Кто ошибается относительно этой простейшей категории буржуазной экономии, тот необходимо должен ошибаться и относительно других ее категорий. Меновая стоимость выражает самое простое отношение производителей в общественном процессе производства. Другие категории, как, например, капитал, выражают собою уже гораздо более сложные и притом производные отношения. Поэтому правильное понимание их невозможно без правильного понимания стоимости» [2]).

Эти соображения Плеханова о громадном значении категории стоимости для познания законов развития капиталистического хозяйства, разумеется, являются бесспорными. Поэтому мы считаем необходимым остановиться на том, как он понимал и разрешал эту основную проблему политической экономии. Это тем более надо проделать, что Плеханову неоднократно приходилось излагать самым подробным образом сущность и регулирующее действие закона стоимости, так как эта категория для очень многих теоретиков и «теоретиков» того времени оставалась книгой за семью печатями. В этих своих многочисленных, терпеливых раз'яснениях смысла и значения категории стоимости Плеханов, давая превосходную, доподлинно марксистскую трактовку этого понятия, равно как некогда Маркс и Энгельс, сугубо подчеркивает общественный характер всех категорий политической экономии, в том числе и категории стоимости; возражает против различных попыток рассматривать эти понятия вне их связи с определенными, историческими, социальными условиями.

---

[1]) Плеханов, Наши разногласия, Соч., т. II, стр. 117.
[2]) Плеханов. Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 104.

Плеханов указывает, что «так как все важнейшие категории политической экономии—«капитал», «труд» и т. д. — выражают собою лишь взаимные отношения производителей, и при том не в мастерской, а в общественном процессе производства, то рассматривать производство независимо от его общественных условий значит добровольно затруднять себе путь к пониманию названных категорий» [1]).

Превосходно понимая теорию товарного фетишизма и хорошо разбираясь в ее сущности, Плеханов, в отличие от всех и всяческих буржуазных экономистов, никогда не забывает лишний раз отметить, что категории политической экономии представляют собой производственные отношения людей, скрытые под формой движения вещей. «Все категории политической экономии являются не чем иным, как выражением производственных отношений: отвлечься от этих отношений значит закрыть себе путь к пониманию этих категорий» [2]). В соответствии с этим он, в своем исследовании о Родбертусе, указывает, что тот не совсем разобрался в этой специфической особенности товарного производства, так как «попытка Родбертуса установить различие между историческими и логическими категориями есть не более, как неудавшаяся попытка понять и формулировать ту особенность товарного способа производства, благодаря которой «общественные отношения людей являются в виде общественного отношения вещей» [3]).

Во второй части его книги о Н. Г. Чернышевском Плеханов посвящает категории стоимости специальную главу. Мы считаем, что эта глава до сего времени остается непревзойденной по исключительной ясности изложения и отчетливости анализа наиболее трудных, основных понятий политической экономии. Впрочем, весь экономический отдел этой книги, озаглавленный «Политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского», в котором Плеханов останавливается на всех почти без исключения проблемах и категориях теории капиталистического способа производства, отличается глубокой продуманностью и, в то же время, на редкость легко воспринимается.

Начиная изложение категории стоимости с общественного разделения труда, Плеханов тут же переходит к характеристике обмена при буржуазном способе производства, останавливается на превращении продуктов в товары. Здесь мы узнаем, что «при буржуазном порядке вещей ... обмен является единственной общественной связью между производителями. Только вывозя свой продукт на рынок и обменивая его на другие, производитель получает возможность удовлетворять своим собственным потребностям. Таким образом, продукты буржуазных производителей становятся товарами... Каждого производителя, естественно, интересует прежде всего и больше всего вопрос о том, какое именно количество других товаров может он получить в обмен за свой собственный, иначе сказать, какова меновая стоимость его товара» [4]).

В несколько иной связи, критикуя теорию стоимости Родбертуса, Плеханов также затрагивает этот переход продукта в товар, образование их меновой стоимости. Он отмечает незамеченную Родбертусом, несмотря на его «историческую» точку зрения, преходящую, историческую сущность этих понятий, указывает на существенные ошибки,

[1]) Там же, стр. 75—76.
[2]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский. Соч., т. V, стр. 134.
[3]) Плеханов, Экономическая теория Карла Родбертуса - Ягецова, Соч., т. I, стр. 351.
[4]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 80

сделанные данным автором в этом вопросе, и которые с неизбежностью привели его теорию к ряду крупнейших противоречий. «Историческое развитие» совсем не ведет к превращению одного рода стоимости в другой, а только к превращению продуктов в товары. Из этого хода «исторического развития» можно сделать лишь тот вывод, что продукты не всегда бывают товарами и что не всякое производство продуктов есть производство меновых стоимостей. Если бы Родбертус ограничился этим выводом, то он бы не стал заботиться о способах определения стоимости в «будущем всемирно-историческом периоде», характерную особенность которого составляет, по его мнению, отсутствие товарного производства. Тогда рассуждения его о «будущем периоде» не противоречили бы его понятию о меновой стоимости, как «исторической категории». Но, не выяснивши себе разницы между продуктом и товаром, Родбертус попадает в целый ряд самых удивительных противоречий» [1]).

Разобрав происходящее в товарном хозяйстве превращение продуктов в товары и появление стоимости, Плеханов затем анализирует меновую стоимость обменивающихся товаров. Он указывает, что «меновые отношения товаров выражают взаимные общественные отношения их производителей», возникающие в процессе общественного производства. Сущность же этих меновых отношений товаров лежит не в свойствах обменивающихся вещей, а в производственных отношениях людей. Раз'яснив это, Плеханов переходит к следующему вопросу: чем определяются меновые отношения товаров? Очевидно, они зависят только от количеств труда, употребленного на их производство, так как то общее, что имеется между различными видами производительной деятельности человека, заключается в том, что «и тот и другой вид производительной деятельности, при всех своих различиях, сводится в сущности к одному и тому же: к известному расходу человеческой силы, к известной работе мускулов и нервов... А это, очевидно, означает, что труд есть единственный источник меновой стоимости, и продолжительность его служит ее мерилом» [2]).

Однако, для того, чтобы притти к этому правильному выводу, полностью соответствующему реальным отношениям товарного хозяйства, следует исходить из правильного методологического отправного пункта, понимать, что стоимость представляет собой производственное отношение людей, выраженное в вещной, товарной форме. Поэтому тот факт, что труд есть источник меновой стоимости, «становится очевидным только тогда, когда мы смотрим на вопрос о меновой стоимости с точки зрения общественных отношений производителей. Если же мы отвлечемся от взаимных отношений людей и станем искать ключа к пониманию меновой стоимости в свойствах обмениваемых вещей, то необходимо придем к самым нелепым выводам. Этим и об'ясняется то обстоятельство, что о меновой стоимости написано невероятнейшее количество всякого вздора: просто вздора, вздора педантического, вздора красноречивого, вздора наивного, вздора благонамеренного и даже вздора, окрашенного некоторою склонностью к потрясению основ» [3]).

Плеханов подробно об'ясняет, как действует закон стоимости, как он руководит развитием капиталистического способа производ-

---

[1]) Плеханов, Новое направление в области политической экономии, Соч., т. I, стр. 347.
[2]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 81.
[3]) Там же, стр. 81.

ства. Он показывает, как отклонения цен от стоимостей, нарушения равновесия в общественном воспроизводстве создают тенденцию к совмещению цен со стоимостями, к восстановлению нарушенного равновесия. Регулирующее действие меновой стоимости основано на ее специфической особенности, заключающейся в том, что стоимость «проявляется лишь посредством постоянных «переворотов», посредством постоянных отклонений от нормы, посредством своей собственной противоположности»[1].

В результате всего вышеизложенного, подробно проанализировав сущность и действие категории стоимости, Плеханов дает ей краткое определение, полностью соответствующее сути экономического учения Маркса. Плеханов считает, что «меновая стоимость есть определенная общественная форма труда, употребленного на производство вещи. Меновые отношения товаров выражают собой взаимные отношения производителей в общественном производстве»[2]. И это, конечно, совершенно бесспорно.

Пропагандируя и развивая ортодоксально-марксистскую точку зрения по вопросу о меновой стоимости, Плеханов одновременно опровергал всевозможные иные, немарксистские представления, существующие об этой основной категории товарного хозяйства. Как мы уже видели, он считал большинство таких определений меновой стоимости вздорными, проистекающими вследствие неправильного подхода к изучению товарного хозяйства, из-за непонимания сущности неорганизованного производства. Но, помимо ошибочного понимания стоимости, встречающегося у различных экономистов, мы зачастую сталкиваемся и с такими теориями стоимости, основная задача которых сводится к оправданию и даже, иногда, открытой защите капиталистического способа производства. Против такого рода «теорий» Плеханов выступает особенно горячо и энергично.

Еще на заре своей литературной деятельности, в 1881 г., он доказывает неправильность теории Лавелэ, который пытался доказать, что меновая стоимость пропорциональна не труду, а «полезности» данного предмета. Плеханов подвергает эту теорию меткой критике, в результате которой он приходит к чрезвычайно интересному заключению об ее действительной сущности, которое может быть полностью применено и ко всем другим, гораздо более поздним, теориям «предельной полезности».

Плеханов цитирует Лавелэ, который, в поисках источника меновой стоимости, приходит к утверждению, что величина меновой стоимости будто бы определяется «полезностью» данной вещи, а затем, желая найти мерило полезности, заключает, что сама полезность находится в зависимости «от необходимости пожертвовать **деньгами** или усилиями». Таким образом, фактически, Лавелэ определяет самую полезность через меновую стоимость, т.-е. попадает со своими определениями меновой стоимости в порочный круг.

Эту путаницу, свойственную точке зрения Лавелэ, и доказывает Плеханов в своей статье, посвященной «новому направлению в области политической экономии». «Оказывается, следовательно, что «полезность», о которой говорит Лавелэ, есть «полезность» совершенно особого рода, не имеющая ничего общего с потребительной ценностью предмета. Эта «полезность» определяется не потребностями челове-

---

[1]) Там же, стр. 86.
[2]) Там же, стр. 111–112.

ческого организма, а потребностью мелкого буржуа быть уверенным в том, что ему не скоро еще придется расстаться с находящимися у него в кармане франками и сантимами. Эта «полезность» определяется, словом, по отношению к кошельку, и равняется она меновой ценности предмета. Мы пришли, таким образом, к следующему замечательному открытию: «Предметы имеют тем большую меновую стоимость, чем они полезнее», а полезны они тем более, чем большую меновую ценность они имеют» [1]). Очевидно, что не только даже в определении меновой стоимости, но также и в определении потребительной стоимости Лавелэ не смог покинуть ограниченный кругозор мелкого буржуа.

Говоря о Чернышевском, Плеханов также разбирает ряд значительных недостатков, присущих экономической стороне его учения. В теории стоимости Чернышевский, к сожалению, явился верным последователем Джона Стюарта Милля и отчасти Прудона, повторил и увеличил их многочисленные ошибки и противоречия. Вследствие же ошибочности его основной точки зрения он не смог понять теории стоимости Рикардо и совершенно запутался в определении этой категории товарного хозяйства. «Чернышевскому казалось невероятным, чтобы труд мог быть единственным источником стоимости в обществе предпринимателей, не заботящихся ни о чем, кроме прибыли и обращающихся с «трудом» [2]) как с простым товаром. Он говорил, как мы знаем, что количество труда, необходимое на приготовление продуктов, никому не известно в буржуазном обществе» [3]). Из этой основной ошибки Чернышевского, считавшего невозможным, чтобы величина стоимости находилась в зависимости только от количества труда, потребного на производство данного товара, путавшего труд с рабочей силой, искавшего, чем может определяться величина стоимости в будущем социалистическом обществе; и последовал ряд свойственных его теории противоречий, полнейшее непонимание категории стоимости. Поэтому же величина меновой стоимости определяется, по мнению Чернышевского, то через количество труда, то через издержки производства данного товара.

Говоря о Чернышевском, Плеханов не может не перейти к выдающемуся эклектику в экономической науке—Джону Стюарту Миллю, ошибки которого столь некритически воспринял этот величайший русский утопист. Плеханов указывает на те противоречия, в которые попадает теория стоимости Милля, на тот безысходный круг, который описывает мысль этого экономиста в поисках источника меновой стоимости. «Чем же определяется стоимость? — спрашивает Плеханов.—Милль говорит нам, что она определяется издержками производства данного товара в соединении с прибылью, которую должны принести эти издержки предпринимателю. Пользуясь этим определением... мы приходим к следующему поучительному выводу: величина прибыли определяется величиной стоимости того «лишнего», которое произвели работники сверх стоимости своего «корма»; а стоимость этого лишнего, как и всякого другого товара, определяется издержками его производства и прибылью, которую должны принести эти издержки. Прибыль зависит от стоимости, а стоимость—от прибыли. Это уже и само по себе мудрено; но еще более мудреным предста-

[1]) Плеханов, Новое направление в области политической экономии, Соч., т. I, стр. 213.

[2]) Т.-е., собственно, с рабочей силой. (Примечание Плеханова).

[3]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 101—102.

вится нам все дело, когда мы вспомним, что интересующее нас «лишнее» получается предпринимателем сверх сделанных им издержек, и, следовательно, ни о каких издержках его на производство этого «лишнего» не может быть и речи. Выходит, что, следуя определениям Милля, мы не только не попадаем на прямой путь для разрешения вопроса..., но странствуем по такой логической кривой, которую можно назвать кривою двойной кривизны»[1]).

Плеханов указывает на некоторые положительные стороны теории стоимости Родбертуса, который в своих работах «твердо держался того великого положения», что «все предметы потребления стоят труда и только труда». Стоя на этой точке зрения, Родбертус разрушал, как карточные домики, аргументы экономистов, стремившихся доказать, что «рента вообще» обязана своим существованием не труду работников, а производительным «услугам» почвы и капитала. С этой стороны, навсегда остается неоспоримой заслугой его, как писателя, много способствовавшего распространению здравых экономических понятий. Но,—подчеркивает Плеханов,—даже признание труда единственным источником материального богатства общества, не предохранило Родбертуса, как и многих других экономистов, от некоторой неясности в понятии о меновой стоимости»[2]). И дальше Плеханов подробно останавливается на этих «неясностях»: об'ясняет ряд неправильностей и ошибок, допущенных Родбертусом, главным образом, вследствие того, что он не смог остаться до конца верным выбранному им «историческому» методу.

Относительно теории предельной полезности Плеханов замечает, что эта, по существу своему, бессмысленная теория, не претендующая на сколько-нибудь глубокий анализ, никогда не была бы столь широко распространена, если бы она не носила апологетический характер. «Теория предельной полезности встречает теперь чрезвычайно радушный прием со стороны буржуазных экономистов именно потому, что она покрывает густым туманом вопрос об эксплоатации работника капиталистом и даже делает весьма сомнительным самый факт такой эксплоатации»[3]).

* * *

Многочисленные «критики» Маркса, по причине крайней метафизичности их ограниченного мышления, никак не могли понять того диалектического перехода, который имеется в «Капитале», в виде перерастания меновой стоимости в цены производства, перехода от тенденции к продаже товаров по ценам, равным их трудовой стоимости, к тенденции уравнивания различных индивидуальных норм прибыли в некоторую ее среднюю общественную величину. Не поняв же этого перехода от I к III т. «Капитала», они решили, что между этими томами имеется «явное противоречие», свидетельствующее о полной непригодности экономической теории Маркса. На этом мнимом «противоречии» и строили свою «уничтожающую критику» всякие Бем-Баверки, Воронцовы, Кроче, Франки и другие им подобные.

В нескольких своих статьях и «Критических заметках», направленных против выше названных «критиков» Маркса, Плеханов доказывает стройность и логичность «Капитала», отсутствие в этой гран-

[1]) Там же, стр. 138—139.

[2]) Плеханов, Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова, Соч. т. I, стр. 345.

[3]) Плеханов, Предисловие к переводу «Развитие научного социализма». Соч., т. XI, стр. 90.

диозной работе каких-либо противоречий. В оригинальной и остроумной форме он опровергает всяческие, выдвигаемые господами «критиками» возражения, сомнения и недоумевающие «вопросы». Помимо того, он останавливается на различных ошибках тех экономистов, которые, быть может, и не ставили себе задачей «критику» Маркса, но, тем не менее, не смогли понять различия между стоимостью и ценой производства, смешивали действие закона стоимости в товарном хозяйстве с ее ролью в хозяйстве капиталистическом.

Отвечая одному из «критиков», Плеханов отчетливо об'ясняет сущность этого кажущегося «противоречия». «Меновая стоимость выражает собою отношения товаропроизводителей в общественном процессе производства. Пока и поскольку мы имеем дело с обществом простых товаропроизводителей, до тех пор и постольку она выражает их точно и *в общем* совпадает *с трудовою стоимостью* продуктов. Простые товаропроизводители становятся капиталистическими товаропроизводителями (ведь капитал, это—то же общественное отношение производства). Меновые стоимости производятся теперь ради производства *прибавочной* стоимости. Это усложнение общественных отношений производителей влияет на меновую стоимость в смысле ее отклонения от трудовой стоимости»[1]), вследствие чего на первый план выступает регулирующее действие тенденции к уравниванию норм прибыли на авансированные, в общественном процессе производства, капиталы. Трудовая же стоимость теперь воздействует лишь в последнем счете.

*Отсюда следует, что* «*меновая ценность есть форма, которую принимает действие закона ценности*, способ действия этого закона. Она—не более, как *историческая* категория. Но если *способ* действия названного закона изменяется в зависимости от изменяющихся общественных отношений, то *действие* его неустранимо... Поэтому, если мы видим, что *способ* действия *изменяется* или *осложняется* по той или другой причине, например, вследствие конкуренции между капиталистами, то это отнюдь не значит, что *само это действие* прекращается или устраняется хотя бы только отчасти. Нет, проявляясь иначе или переплетаясь с действием другого закона, *оно все-таки остается во всей своей силе*, и задача исследователя заключается в том, чтобы проследить его через все разнообразие новых форм и сплетений»[2]).

Отвечая Бендетто Кроче, также принадлежащему к числу «критиков», Плеханов в качестве доказательства приводит несколько страниц цитат из «Капитала», подтверждающих, что как в I, так и во II томах Маркс уже предвидел дальнейшие пути своего исследования, знал о существовании антиномии между законом стоимости, с одной стороны, и законом равного уровня прибыли,—с другой. Про себя же Плеханов говорит, что с начала 80-х годов он уже предвидел пути разрешения этой антиномии. Что же касается гг. «критиков», то они только потому не смогли разобраться в этом вопросе, что все написанное ими (в частности Бем-Баверком) «носит на себе глубокую печать того мышления, которое Маркс, вслед за Гегелем, называл *метафизическим*». Да и вообще, если подходить к изучению общественных явлений с той методологической точки зрения, которой придерживаются

[1]) *Плеханов*, Обоснование народничества в трудах г. Воронцова, Соч., т. IX, стр. 100.
[2]) *Плеханов*, О книге Кроче, Соч.. т. XI, стр. 341.

эти экономисты, то тогда, действительно, перед исследователем предстанет большое количество неразрешимых противоречий,—противоречий не мышления, а реальной, конкретной общественной жизни.

Для того, чтобы облегчить «недоумевающим» «критикам» понимание перехода от I к III тому, Плехановым приводится любопытно задуманный пример из области физики.—«Физика говорит, что лучи света распространяются по прямой линии. И она, разумеется, нас не обманывает... Но при переходе светового луча из одной прозрачной среды в другую, отличающуюся другою плотностью, происходит его преломление. Движение светового луча совершается в этом случае уже *по ломаной, а не по прямой* линии... Устраняют ли законы преломления света закон его прямолинейного распространения? Нет, они видоизменяют *окончательный результат его действия*, а сам он ни на одно мгновение не перестает действовать. И это всякому понятно; всякий образованный человек знает, что столкновение двух законов природы не прекращает действие ни одного из них. А вот в области политической экономии этому многие продолжают удивляться» [1]).

Плеханов находит, что в вопросе о действии стоимости при господстве капиталистического способа производства аналогичную ошибку делает и Родбертус, так как для него «весь закон стоимости состоит в том, что *меновые отношения товаров определяются количеством труда*, затрачиваемым на производство каждого из них. Иначе сказать, Родбертус *смешивает действие закона с одним из способов («форм») его действия, определяемых в каждое данное время экономической структурой общества*. И ту же самую ошибку повторяют все те, которые думают, что в третьем томе «Капитала» Маркс отказался от своего учения о ценности» [2]). На самом же деле Маркс в пресловутом III томе, разумеется, не отказался и отказаться не собирался от сказанного им в I томе. Весь вопрос заключается лишь в том, что производимое Марксом исследование буржуазного способа производства поднимается в III томе на новую, высшую, значительно более усложненную ступень теоретического анализа.

* * *

Категория стоимости представляет собой основное, наиболее важное производственное отношение капиталистического способа производства. К тому же для ее правильного понимания следует, в достаточной мере, овладеть тем диалектическим методом изучения и изложения, который применяется Марксом, а также понять его теорию товарного фетишизма. Таким образом, познание категории стоимости оказывается не таким уж мелким делом. Этим и об'ясняется то обстоятельство, что вокруг стоимости, как в некоем фокусе, сосредоточено наибольшее количество всевозможных ошибок и недоразумений. Ясно, поэтому, что Плеханову пришлось уделить этой категории максимальное внимание, тем более, что «критика» Маркса всегда была направлена, главным образом, на этот круг вопросов.

Тем не менее, Плеханов весьма подробно анализирует также и все другие категории политической экономии. Мы не можем, конечно, затронуть его анализ всех этих понятий буржуазного способа производства. Поэтому, не останавливаясь на других категориях политической

[1]) Плеханов, Обоснование народничества в трудах г. Воронцова, Соч., т. IX, стр. 100.
[2]) Плеханов, О книге Кроче, Соч., т. XI, стр. 341.

экономии, разберем еще вкратце капитал, так как мы считаем, что плехановская трактовка этой категории, несомненно, представляет собой значительный интерес.

На вопрос о том, что такое капитал, Плеханов отвечает словами Маркса:—«капитал есть общественное отношение производства». Он шаг за шагом разбирает ошибки Родбертуса и Чернышевского (повторявшего и здесь ошибки Милля), сделанные ими в этом вопросе, и доказывает, что основной недостаток, свойственный пониманию капитала этими экономистами, заключается в полном игнорировании социальной стороны данной категории. Доказывая полнейшую несостоятельность подобного «абстрагирования» от важнейшей определяющей черты капитала, Плеханов ясно разграничивает средства производства «вообще» от капитала.

Он утверждает и убедительно доказывает, что если средства производства всегда играют определенную техническую роль в процессе производства материальных благ, то «общественные отношения, среди которых совершается этот процесс производства, далеко не одинаковы на различных ступенях общественного развития... Современный пролетарий порабощается машиной, между тем как дикарь, которого европеец презрительно называет фетишистом, не мог бы и вообразить себя в зависимости от своего собственного орудия труда. Дикарь эксплоатирует средства производства, современный же рабочий, напротив, эксплоатируется ими. Теперь уже не «капитал» существует для удовлетворения потребностей трудящихся, а трудящийся существует ради удовлетворения потребностей капитала—создания, так назыв., прибавочной стоимости. «Капитал» был вещью для дикаря; он является в виде общественного отношения для современного работника» [1]). Средства производства попрежнему продолжают служит для облегчения и ускорения материального производства,—процессе потребления человеческого труда. Однако в современную эпоху, характеризующуюся эксплоатацией одного общественного класса другим, эти же средства производства приобретают определенную социальную характеристику,—становятся капиталом. Теперь применение того или иного орудия труда—имеет своей непосредственной целью не облегчение процесса труда, а выкачивание прибавочной стоимости, получение максимальной нормы прибыли на капитал, вложенный в производство.

Поэтому нельзя говорить, как это делает Родбертус, что «капитал есть предварительно совершенный труд», ибо подобное определение, будучи общим для всех эпох общественного производства, не отмечает специфических свойств капитала, присущих ему исключительно во время буржуазного производства. Такого рода определение капитала, превращающее эту категорию в «общее» понятие, лишенное каких-либо исторических качеств, не может быть применяемым к изучению данного конкретного капиталистического хозяйства, а тем самым, не может претендовать и на какую-либо научность. Зато такое представление о капитале вполне приемлемо для буржуазии и ее защитников, так как, «рассматривая «капитал» независимо от общественных отношений производителей, мы, как и следовало ожидать, не открываем в нем решительно ни одного из тех неприятных свойств, с которыми приходится считаться пролетариату. В качестве «продуктов, употребляемых для дальнейшего производства», капитал есть

[1]) Плеханов, Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова, Соч., т. I, стр. 350.

нечто не только совершенно безобидное, но и необходимое, полезное, «вечное» и «разумное». С этой точки зрения всякие нападки на «капитал» оказываются вопиющей нелепостью» [1]).

Резко критикуя эти совершенно непригодные определения капитала, Плеханов отмечает, в противоположность им, что «свойства капитала обусловливаются в действительности отношениями людей, а не какими-нибудь таинственными свойствами вещей, употребляемых на дальнейшее производство и называемых в политической экономии производительными средствами. Мы видим также, что будто бы парадоксальное определение «капитал есть общественное отношение производства»—вполне соответствует фактическому положению дела в буржуазном обществе» [2]). Политическая экономия, отмечая техническую сторону капитала, его свойство быть средством производства, дальше этой стороной дела не интересуется. Она изучает только различные общественные отношения людей. С точки же зрения этих последних капитал представляет собой отношение эксплоатации, свойственное буржуазному способу производства.

Капитал, представляя собой общественную категорию, самым тесным образом связан с другим общественным отношением,—с стоимостью. Поэтому «всякий капитал представляет собой известную меновую стоимость...—Но если всякий капитал непременно представляет собою меновую стоимость, то не всякая меновая стоимость есть капитал, так как не всякая меновая стоимость имеет тенденцию обрастать «доходом». Капитал есть меновая стоимость, одаренная способностью к совершенно, повидимому, произвольному возрастанию» [3]).

Основная ошибка Родбертуса в том и заключается, что он не смог взглянуть на капитал, как на общественное отношение людей, возникающее только в одном определенном—капиталистическом—обществе, отношение, тесно связанное с существованием классов и господством буржуазии. Если бы Родбертус не изменил своей «исторической точке зрения, если бы он понял, что в капиталистическом обществе отношения людей скрыты под вещной оболочкой, то тогда «капитал в логическом смысле этого слова» был бы назван им просто средствами производства; капиталом же эти средства производства явились бы для него лишь в известную эпоху общественно-экономического развития, когда посредством их эксплоатируется труд работника с целью производства прибавочной стоимости, и когда рабочая сила сама является товаром, продаваемым в розницу различным предпринимателям» [4]).

Такого рода определение капитала полностью соответствовало бы смыслу этой категории, было бы доподлинно научным определением. Однако на подобную точку зрения по вопросу о капитале никогда не согласится стать буржазный экономист, ибо «человеку, считающему буржуазный порядок самым лучшим и наиболее соответствующим «человеческой природе», не легко притти к тому заключению, что приятные и похвальные свойства капитала проистекают в сущности из эксплоатации одного общественного класса другим, эксплоатации ни мало не похвальной и вовсе не приятной, по крайней мере, для одного из этих классов. Так об'ясняются нападки буржуазных экономистов на данное

[1]) Плеханов, Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 113.
[2]) Там же, стр. 112.
[3]) Там же, стр. 111.
[4]) Плеханов, Экономическая теория Карла Родбертуса-Ягецова, Соч., т. I, стр. 351—352.

Марксом определение капитала с точки зрения того, что Кант называл психологической логикой. С точки же зрения формальной логики, они об'ясняются просто тем, что буржуазные экономисты видели только поверхность общественно-экономической жизни, а потому почти никогда не были в состоянии до конца проследить взаимную связь общественно-экономических явлений»[1]). Поэтому-то в буржуазной политической экономии и продолжают господствовать такие представления о капитале, которые ни в коей мере не отражают реальных общественных отношений, абстрактным выражением которых и являются все категории политической экономии, в том числе и капитал.

* * *

В настоящей статье нам пришлось ограничиться всего лишь несколькими вопросами политической экономии, разбираемыми Г. В. Плехановым. Но если бы мы обратились к другим ее проблемам и отдельным категориям:—к деньгам, заработной плате, прибавочной стоимости, прибыли, ренте, проценту, теории рынка и кризисов, проблеме народонаселения и т. д. и т. п., то и по всем этим важнейшим вопросам теории капиталистического способа производства мы бы нашли в сочинениях Плеханова богатейший материал, глубокое и оригинальное марксистское изложение всех этих проблем. Не желая выходить за рамки статьи, мы, разумеется, не могли, разобрать все эти затрагиваемые Плехановым вопросы. Однако даже те немногие из них, на которых мы здесь остановились, дают ясное представление об экономической стороне литературного наследства Плеханова, подтверждают, что великий родоначальник русского марксизма был не только философом и социологом, первым марксистским искусствоведом и блестящим литературным критиком, но представлял собой также и не менее выдающегося своими знаниями, выдержанностью основной позиции и теоретической деятельностью,—э к о н о м и с т а.

Однако Плеханов не был только лишь теоретиком, изучавшим отвлеченные экономические проблемы. Свои теоретические взгляды и убеждения он блестяще применял также и по отношению к конкретному, реальному капитализму. В своих спорах с народниками, Плеханов использовал громаднейший, собранный им материал: статистический и литературный, отдельные замечания и газетные сообщения, подтверждающие его теоретические положения о развитии капитализма в России. В ряде различных своих работ Плеханов останавливается также и на развитии капитализма в других странах, положении рабочего класса, доходах буржуазии и т. д. Он мастерски разбирается в экономических фактах и безошибочно устанавливает правильный марксистский прогноз.

Во всех своих экономических работах Плеханов неизменно остается на правильной марксистской точке зрения. Он продолжает и углубляет отдельные мысли и замечания Маркса и Энгельса, отстаивает чистоту марксизма от враждебных наскоков с самых различных сторон. В то же время не подлежит никакому сомнению вся грандиозность проделанной им работы по популяризации марксистской политической экономии. Учение Маркса, известное в то время в России лишь немногим, и то лишь по наслышке, представлявшееся им полным противоречий и мало понятным, становится после работ Плеханова известным почти всем, интересующимся изучением экономической стороны общественной жизни, ясным и вполне понятным для всех тех, кто только не отказывается его понять.

[1]) П л е х а н о в. Н. Г. Чернышевский, Соч., т. VI, стр. 112 113.

Подводя краткий итог сказанному нами о Г. В. Плеханове, мы должны отметить, что его экономические работы, несомненно, являются лучшими из всей той многочисленной литературы, которая создалась в связи с политической экономией Маркса. Мы считаем, что эти работы до сих пор еще не утратили ни своего значения, ни своей свежести и еще не скоро их лишатся. Поэтому длительное и тщательное изучение соответствующих работ Плеханова должно способствовать гораздо более глубокому пониманию политической экономии, а также и конкретному применению ее теоретических положений. Работы Плеханова в этой области интересны еще и в том отношении, что они ни в коей мере не страдают тем упрощенством, которое сейчас довольно сильно распространено в области политической экономии, всецело направлены против всяких попыток видоизменить марксистскую основу данной науки.

# Эстетика Плеханова.

*Л. Зивельчинская.*

Под эстетикой Плеханов разумел, так же, как Н. Г. Чернышевский, общее учение об искусстве. Искусство он рассматривал как многосложное, изменчивое, общественное явление надстроечного порядка. Задача Плеханова состояла в том, чтобы доказать, что не природа человека, не характер данного народа, а его история и его общественное устройство, или, точнее говоря, состояние материальных производительных сил и тип производственных отношений об'ясняют литературу и искусство. Необходимо твердо помнить, что Плеханов не имел возможности заняться специальным изучением искусства и эстетики. У него были для его времени более насущные, неотложные задачи и заботы, теоретического и практического порядка. Нужно раз навсегда запомнить, что теоретики пролетариата могут вплотную подойти к задачам искусства и искусствознания только после победоносной пролетарской революции. Когда рассуждают об «эстетике Плеханова», то вовсе не имеется в виду, что Плеханов написал три увесистых фолианта, наподобие исследований Фолькельта. Но можно смело утверждать, что 3—4 небольших исследования—о первобытном искусстве, о французском искусстве XVIII века, о драмах Ибсена и очерки о трех беллетристах-народниках стоят выше, в смысле содержательности и плодотворности мысли, многочисленных тяжеловесных книг по искусству и эстетике. Самое ценное в эстетике Плеханова, это—его метод, его приемы применения марксистского метода к об'яснению наиболее сложного идеологического материала, так как искусство охватывает не только систему мыслей, но весьма бессистемную область, хаотическую, пеструю сферу человеческих эмоций и желаний.

На обширном материале, добытом этнологами, Плеханов обстоятельно доказал, как примитивное искусство вырастает из смены труда и отдыха, из игры, которая есть дитя труда, и оформляет такие мотивы, которые непосредственно вытекают из способа производства. Например, охотничьи и отчасти пастушеские племена рисуют, вырезывают, моделируют, воспевают и в пляске воспроизводят всякие предметы, играющие важную роль в их быту, в их борьбе с природой. У земледельческих племен художественные мотивы сильно осложняются,—включают, кроме животных, физический, растительный и человеческий мир. Не только темы, но и ритмы заимствуются примитивной поэзией, музыкой и пляской, которые на первых ступенях не обособлены, от ритмов работы. Это положение признается и буржуазными мыслителями, как Карл Бюхер, и др. Орнаментика восходит своими корнями к первым попыткам ткацкой и других видов ремесленной деятельности.

Гораздо сложнее и труднее об'яснение искусства в классовом обществе, так как то искусство, которое до сих пор, главным образом,

изучалось искусствоведами, принадлежит классам непроизводительным, господствующим. И чем сильнее дифференцируется, расчленяется классовое общество, тем сложнее и запутаннее художественная жизнь его, так как мало того, что каждый из составляющих его классов имеет свое собственное искусство, но художественная идеология одного класса воздействует на другой в той мере, в какой развертывается классовая борьба между ними. Сначала, когда класс существует только «в себе», он сознательно и бессознательно подражает в значительной степени искусству класса господствующего и в то же время уже творит нечто новое, подсказываемое его собственными общественными потребностями. Далее, когда класс конституируется как «класс для себя», он всеми средствами противопоставляет себя господствующему классу, выдвигая не только новые темы, небывалое содержание, но и создает новые формы. Но вот этот класс сам стал господствующим, вытеснив побежденный класс, он вновь заимствует кое-что из художественного арсенала прежних командующих классов. А так как эти три стадии классовой борьбы постоянно сосуществуют, то и создается крайне сложная художественная идеология в классовом обществе.

В то время, как связь искусства с производством в примитивном обществе непосредственна, связь этих процессов в буржуазном обществе проходит через глубокую толщу всех многообразных общественных надстроечных явлений, образующих вместе с искусством сложнейший переплет классовой борьбы.

Непревзойденным мастерством отличается образчик такого об'яснения французской литературы, театра и живописи XVIII века, даваемого Плехановым. Ясно и выпукло обрисовывает Плеханов ход художественного развития от XVII века до классицизма конца XVIII века и смены его романтизмом. В то время, как классицизм XVII века черпает свои темы в древне-греческой трагедии для прославления придворной аристократии, классицизм конца XVIII века заимствует темы из истории республиканского Рима и его искусства для превозиесения героизма и самопожертвования, свойств, без которых невозможна какая-либо революция, в них нуждалась и революционная буржуазия. Кроме того, в симпатии французского общества конца XVIII века к классицизму действовало начало антитезы,—увлечение простотой линий, симметричными формами наперекор аристократическим вкусам к извилистым линиям, изысканным очертаниям.

Еще несравненно сложнее должно быть об'яснение художественных направлений XIX и XX веков. Обстоятельно заняться этим вопросом Плеханов, как уже было выше отмечено, не имел возможности. Он лишь намечает пути, по которым должны пойти специалисты-искусствоведы.

В суждениях о художественной идеологии 2-й половины XIX века Плеханов выступает не только как исследователь, но как ценитель, как эстетик.

Импрессионизм, который имеет в живописи своим главным предметом свет, не удовлетворяет Плеханова, хотя и знаменует собой значительный технический сдвиг и достижения. Плеханов сравнивает «Тайную вечерю» Леонардо-да-Винчи с импрессионистской живописью и отдает свое предпочтение Леонардо-да-Винчи, так как упомянутое произведение мастерски изображает человеческую душевную драму, а не игру световых бликов и питен. Здесь явно выражено эстетическое, а не познавательное суждение.

Символизм, это — нечто в роде свидетельства о бедности. Он характеризует идейную опустошенность буржуазного искусства. Когда мысль вооружена пониманием действительности, ей нет надобности итти в пустыню символизма. Мистицизм в искусстве есть беспомощная попытка выйти из тупика безыдейного, несодержательного искусства. Мистицизм, как и символизм, есть потуга на идею в головах тех художников, которые находятся во враждебном разладе с передовым освободительным движением своего времени, в котором он мог бы при созвучии настроения черпать обильный матерйал для своей художественной деятельности.

Особенно враждебно Плеханов относится к кубизму, он признавал, что произведения этого направления неспособны доставлять ему какое-либо эстетическое наслаждение. Здесь опять налицо замена познавательного суждения эстетическим.

Реализм Флобера и Гонкуров также не удовлетворяет Плеханова, так как эти романисты пытаются заменить идейность содержания лишь зоркой наблюдательностью, кропотливым описанием, не проникнутым и не согретым социальной идеей.

Все поименованные художественные течения составляют плод деятельности упадочного класса буржуазии.

Выдающийся интерес представляет анализ, произведенный Плехановым над художественным творчеством Генрика Ибсена. С непреложной убедительностью вскрыта им мелкобуржуазная подоплека гордого индивидуализма Ибсена, пустой формализм его требования «все или ничего», мнимость, видимость его революционности, множество внутренних противоречий. Одновременно, однако, Плеханов высоко ценил глубокое сатирическое значение многих произведений Ибсена.

Такому же обстоятельному анализу Плеханов подвергает одну из пьес Гамсуна: «У царских врат». Бегло разобраны пьесы Франсуа де Кюреме «Трапеза льва», Бурже «Баррикады». Все три разбора проникнуты одной мыслью: художественные произведения, имеющие в своей основе ложную идею, т.-е. идею, несогласную с фактами действительности, производят антиэстетическое впечатление и несостоятельны с точки зрения художественной критики, несмотря на значительные таланты авторов. В основе упомянутых пьес лежит нелепая идея, что современный пролетариат живет за счет других классов общества, и призыв к борьбе против пролетариата. Одну из наиболее блестящих страниц, посвященных Плехановым эстетическим проблемам, составляет разбор и об'яснение генезиса теории искусства для искусства и искусства, как служения обществу. «Склонность художников и людей, живо интересующихся художественным творчеством, к искусству для искусства возникает на почве безнадежного разлада их с окружающей их общественной средой».

«Так называемый утилитарный взгляд на искусство, т.-е. склонность придавать его произведениям значение приговора о явлениях жизни и всегда ее сопровождающая готовность участвовать в общественных битвах возникает и укрепляется там, где есть взаимное сочувствие между значительной частью общества и людьми, более или менее деятельно интересующимися художественным творчеством».

Всякая данная политическая власть всегда предпочитает утилитарный взгляд на искусство. Поэтому нет основания думать, что именно эта теория есть только взгляд революционеров, это зависит от обстоятельств места и времени. Людовик XIV, Наполеон I, Николай I

были сторонниками искусства, как средства нравственного воспитания; точно так же, как Белинский в последний период своей деятельности, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Перов и Крамской смотрели на искусство, как на орудие умственного и гражданского воспитания, и великое множество западно-европейских мыслителей, начиная Платоном.

Это обстоятельство лишний раз подтверждает, что искусство используется каждым классом, как незаменимое орудие классовой борьбы, как средство укрепления своей психоидеологии в рядах собственного класса и распространения ее влияния на колеблющиеся элементы других классов. Так как Плеханов был одним из активнейших участников и руководителей классовой борьбы пролетариата, то ему также не чужда склонность к теории искусства, как орудия общественного воспитания. Вот художественный критерий, который носит неизгладимый отпечаток этой теории: «Достоинство произведений искусства определяется высотой выражаемого им настроения». При этом Плеханов даже соглашается с Рескиным, что человек может петь о потерянной любви, но скряга не может петь о потерянных деньгах, так как песня последнего никого не тронула бы, т.-е. не могла бы служить средством общения между ним и другими людьми.

Несмотря на то, что эта не совсем удачная формулировка заимствована Плехановым у Рескина, однако у Плеханова она приобретает иной и несравненно более глубокий смысл. Вышеупомянутый критерий можно иначе выразить,—и это будет ближе к духу и смыслу эстетики Плеханова: чем шире и глубже охват общественного содержания в произведении искусства, тем оно значительнее, и тем длительнее его влияние. Именно в этом смысле надо понимать утверждение, что Венера Милосская несомненнее, нежели принципы 1789 года. Она выражает представления, соответствующие многим фазам в развитии белой расы, в то время как принципы 1789 года выражают интересы только одного класса, только в один период развития европейского общества. Таким образом, «достоинство художественного произведения определяется в последнем счете удельным весом его содержания».

Все искусствознание до Плеханова придавало исключительное значение роли личности художника, поэта. Марксизм не свел к нулю роли личности в историческом процессе вообще, а тем более в искусстве. «Но я ведь и не отрицаю значения личности в истории вообще и в истории литературы в частности. Ведь без личностей не было бы и общества, а, значит, не было бы и истории. Когда данная личность протестует против окружающей пошлости и неправды, тут непременно сказываются ее умственные и нравственные особенности: ее проницательность, ее чуткость, ее отзывчивость и т. п. Каждая личность своей особой походкой идет по дороге протеста. Но куда ведет эта дорога, это зависит от общественной среды, окружающей протестующую личность. Характер отрицания определяется характером того, что подвергается отрицанию [1]).

Роль личности в искусстве сводится к огромному значению художественного гения: «Огромный талант заставляет внимать себе даже в тех случаях, когда идет наперекор всем установившимся привычкам и всем самым дорогим взглядам публики» [2]).

[1]) Плеханов. Соч., т. XIV, стр. 211.
[2]) Т. X, стр. 69.

По вопросу о том, какова должна быть художественная критика, Плеханов не раз высказывал, что истинно философские критики являются в то же время подлинными публицистами. Оба эти вида критики покрываются и преодолеваются марксистской художественной критикой.

Плеханов дал блестящий анализ литературной критики Белинского и Чернышевского. Плеханов положил начало марксистскому изучению истории русской критики и русской литературы в связи с историей русской общественной мысли.

Плеханов вместе с Дарвином отказывается от биологического об'яснения происхождения эстетических чувств людей, он вместе с Дарвином признает, что «цивилизованного человека такие ощущения (т.-е. эстетические.—Л. З.) тесно ассоциируются, однако, со сложными идеями и с ходом мыслей». При помощи богатого этнографического материала Плеханов убедительно доказывает, что все понятия диких племен о красоте связаны с предметами, рисующими их храбрость, ловкость, богатство и в особенности последнее. Кроме того, одни и те же предметы служат одновременно украшениями и амулетами, т.-е. имеют магическое значение. Эстетические понятия явно связаны с общественным строем, состоянием производительных сил и типом производственных отношений. В об'яснении смены эстетических понятий Плеханов использует начало подражания и противоречия, но оба обнаруживают свое действие в эволюции понятий о прекрасном в строгой зависимости от хода классовой борьбы. В XVII и XVIII веках в Англии не любили Шекспира, переделывали его сообразно придворно-аристократическим вкусам, между тем, как буржуазия продолжала любить старого, веселого, буйного Шекспира, потому что английская аристократия после реставрации изгоняла все, что могло бы отдаленным образом напоминать о нравах пакануне и во время революции XVII века. Плеханов при помощи обильного материала показывает, как прирожденное человеку удовольствие от ритма и симметрии в соединении с телодвижениями человека в процессе труда порождает поэзию, пляску. Природные данные человека, свойства его нервной системы, чувство ритма и симметрии (симметрия есть частный случай ритма) укрепляются и развиваются в ходе общественного развития.

Плеханов выявляет возрастающую сложность эстетических суждений по мере роста культуры. Суждение вкуса несомненно предполагает отсутствие всяких утилитарных соображений у индивидуума, его высказывающего. «Кант говорил, что наслаждение, которое определяет суждение вкуса, свободно от всякого интереса, и что то суждение о красоте, к которому примешивается малейший интерес, очень партийно и отнюдь не есть чистое суждение вкуса. Это вполне верно в применении к отдельному лицу. Если мне нравится данная картина только потому, что я могу выгодно продать ее, то мое суждение, конечно, отнюдь не будет чистым суждением вкуса. Но дело изменяется, когда мы становимся на точку зрения общества. Изучение искусства первобытных племен показало, что общественный человек сначала смотрит на предметы и явления с точки зрения утилитарной и только впоследствии переходит в своем отношении к некоторым из них на точку зрения эстетическую. Это проливает новый свет на историю искусства. Разумеется, не всякий полезный предмет кажется общественному человеку красивым; но несомненно, что красивым ему может казаться только то, что ему полезно, т.-е. что имеет значение в его борьбе за существование с природой или с другим общественным человеком.

Это не значит, что для общественного человека утилитарная точка зрения совпадает с эстетической. Вовсе нет! Польза познается рассудком; красота—созерцательной способностью. Область первой—расчет; область второй—инстинкт. При том же,—и это необходимо помнить,—область, принадлежащая созерцательной способности, несравненно шире области рассудка: наслаждаясь тем, что кажется ему прекрасным, общественный человек почти никогда не отдает себе отчета в той пользе, с представлением о которой связывается у него представление об'этом предмете [1]). В огромнейшем большинстве случаев эта польза могла бы быть открыта только научным анализом. Главная отличительная черта эстетического наслаждения—его непосредственность. Но польза все-таки существует; она все-таки лежит в основе эстетического наслаждения (напоминаем, что речь идет не об отдельном лице, а об общественном человеке); если бы ее не было, то предмет не казался бы прекрасным» [2]). Идеал красоты, господствующий в данное время в данном обществе или в данном классе общества, коренится частью в биологических условиях развития человеческого рода создающих, между прочим, и расовые особенности, а частью—в исторических условиях возникновения и существования этого общества или класса.

Таким образом Плеханов первый положил краеугольный камень марксистского метода истолкования искусства, литературы и эстетики. Блестящая плеяда марксистских искусствоведов и литературоведов продолжает работать методом Плеханова. Марксистский метод в его практическом применении к необ'ятному материалу искусства, литературы и эстетики усложняется, углубляется и совершенствуется в процессе его употребления. Марксистской школе искусствоведения в широком смысле последнего слова, идущей за Плехановым, еще предстоят неисчерпаемые возможности в области плодотворного применения и дифференцирования плехановского метода в искусствознании.

[1]) Плеханов, Соч. XIV, стр. 118.

[2]) Под предметом здесь надо понимать не только материальные вещи, но и явления природы, человеческие чувства и отношения между людьми.

# Г. В. Плеханов как историк литературы.

*А. Воден.*

I.

Интерес к истории литературы и в частности к истории «русской словесности» был сильно развит у Г. В. Плеханова. Еще в начале 90-х годов, когда пишущий эти строки часто и подолгу обменивался мыслями с Г. В. Плехановым, последний неоднократно излагал свои соображения о ходе развития литературных направлений, входя в детали и выражая глубокое сожаление о трудности доставать за границей, особенно в Морнэ и в Женеве, русские книги, необходимые для того, чтобы приняться за ряд исследований, темы для которых сами собой намечались. Г. В. Плеханов с огорчением констатировал, что те русские, с которыми ему, главным образом, приходилось иметь дело в те годы, не только сами нисколько не интересовались этого рода темами, но и не допускали правомерности этого интереса вообще и у революционера, в частности у редактора социал-демократа. По словам Г. В. Плеханова, эти заграничные товарищи, в сущности, были склонны лишить его не только возможности писать что бы то ни было, кроме брошюр, «специально» предназначаемых для рабочих, но и права—хотя бы про себя и пока, «до лучших времен», для себя—думать о чем-либо, выходящем за пределы их тогдашнего кругозора. А Г. В. Плеханов настаивал на том, что русская литература для рабочих должна равняться не по уровню читателя, измышляемого заграничными товарищами по их образу и подобию, а быть во всех отношениях не ниже хотя бы тех речей, воззваний и брошюр, с которыми обращался в свое время к немецким рабочим Лассаль... Систематическое принижение теоретического уровня самих пропагандистов и агитаторов среди рабочих Г. В. Плеханов уже тогда считал зловещим предвестником предстоящих кризисов, а выработку сознательного отношения к прежним идеологиям и к их литературным выражениям признавал занятием, для марксистов весьма небесполезным. При этом, к недоумению некоторых из тогдашних посетителей Георгия Валентиновича из России, он разумел под прежними идеологиями не только в собственном смысле слова революционные идеологии, но углублялся «в даль веков», стараясь пробудить серьезный интерес к далекому прошлому и в своих собеседниках. Он старался использовать всякую «оказию» для того, чтобы просить пересылать ему соответственную литературу, главным образом, первоисточники, и выражал глубокую признательность в тех случаях, когда подобные просьбы удовлетворялись. Помню, как он благодарил меня лично, когда мне удалось выписать для него по своему адресу, из глухой провинции комплекты «Русской беседы» и т. п.

Г. В. Плеханов неоднократно выражал тогда свое убеждение в том, что в истории русской литературы открывается непочатая область для плодотворнейшего применения марксистского метода исследова-

ния, так как от историков литературы иных направлений трудно ожидать даже и правильной постановки ряда интереснейших проблем. Но в то же время Г. В. Плеханов предостерегал от вульгарных, упростительских подходов к этим вопросам, а главное от аляповатого «экономизма». В серьезном изучении истории русской литературы под марсистским углом зрения Г. В. Плеханов усматривал одно из лучших противоядий против уже тогда проявлявшейся и крайне возмущавшей его, неприемлемой для него тенденции вместо того, чтобы об'яснять развитие идеологий и идеологические конфликты, исходя из экономики, просто умалять значение идеологических «надстроек», как таковых, как чего-то будто бы несущественного. Такой «монизм» Г. В. Плеханов считал по существу недиалектическим... Разочаровавшись в попытках побудить некоторых из своих тогдашних собеседников, нечуждых теоретическим интересам, к рассмотрению истории русской литературы под марксистским углом зрения [1]), но, продолжая считать эту задачу не второстепенной, а одной из неотложнейших, Г. В. Плеханов выражал намерение при первой возможности приняться за эту работу. Предполагая (в 1894 г.), что ему уже недолго оставалось жить, он повторял, что считает своим долгом хотя бы наметить надлежащую постановку основных проблем, в первую очередь проблемы западных влияний и «борьбы с Западом».

Г. В. Плеханов считал весьма существенным, что именно марксистам предстоит отдать должное деятелям русской литературы, впервые осознать конкретный смысл их стремлений и достижений, вместо произвольных конструкций смены направлений установить надлежащие перспективы. Вряд ли можно отрицать, что именно он в самом деле обладал всеми данными для того, чтобы выполнить намеченные задания. Прежде всего, глубоко продуманный историзм, до такой степени присущ складу мышления Г. В. Плеханова, что даже в разгаре полемики против тех или иных построений, борьба против которых едставляла для него в данный момент злободневный интерес, он ольшинстве случаев сохранял интерес к трактованию этих построей, как исторически-обусловленных, к выяснению прецедентов и дальейшей эволюции рассматриваемых тенденций, обнаруживая при этом столь редко встречающееся и столь необходимое для историка умение построить—без натяжек—исторические ряды. Образчиком этого историзма красной нитью проходящего через всю литературную деятельность Г. В. Плеханова, может служить хотя бы его классическая полемика против Льва Тихомирова, особенно если ее сопоставить не только с одновременными, но и с совсем недавними формулировками иных точек зрения на эволюцию взглядов последнего. Но историзм историзму рознь. Плехановский историзм, как историзм марксистский, был не только, самой собой разумеется, гораздо пригоднее других разновидностей историзма для диалектического подхода к исследуемым фактам, но и гарантировал от вырождения в обезличивающий все своим воздержанием от суждений, выражающих оценку, абстрактный «об'ективизм»: испытанный и незыблемый критерий для общезначимых суждений относительно тех фактов, с которыми имеет дело история литературы, давала марксистская классовая точка зрения, устанавливающая пра-

[1]) Он выражал недоумение, как можно, живя в России и имея под рукой литературу предмета и первоисточники, не заинтересоваться этого рода исследованиями, тем более привлекательными, что от выяснения аналогичных проблем уклонялись и западно-европейские марксисты, так что именно здесь открывался простор для самостоятельных исканий.

вильную перспективу. Именно благодаря этому Г. В. Плеханову в одной из самых блестящих его статей («Пессимизм как отражение экономической действительности») впервые удалось разрешить неразрешимую для предшествующих исследователей проблему парадоксального пессимизма Чаадаева. А главное, Г. В. Плеханов, кроме разносторонних и солидных сведений по истории литературы и свойственной ему вдумчивости, благодаря которой он ставил вопросы, ускользавшие и ускользающие от многих из его литературных антагонистов, отличался еще чрезвычайно тонким литературным вкусом. Требователен он был в этом отношении и к себе и к другим в высшей степени, и притом не только по существу, но и в формальном отношении. И он умел—особенно при непринужденном обмене мыслями—обосновывать свои суждения, иной раз изумлявшие собеседника. Он предпочитал и противниками иметь людей талантливых, способных выражать свои мысли, каковы бы они ни были, членораздельно, а не «аморфных мягкотелых», а к единомышленникам пред'являл требования тем более суровые, что он органически неспособен был скрывать свое подлинное мнение о литературных достоинствах начинающих авторов от них самих, выражая ужас при мысли, что их, чего доброго, начнут «ставить в образец».

Конечно, интерес Г. В. Плеханова к истории литературы был интересом не педанта-антиквария, а живым; он умел «вчувствоваться» (sich einfühlen) в переживания и конкретные интересы деятелей давно минувших эпох, вникать в их волновавшие вопросы, находить общий с ними язык, даже когда дело шло о религиозных переживаниях. Напр., в отличие от «просветителей» вроде Юма, он не читает Кромвелю и его «железнобоким» сподвижникам нотаций за мистическую фразеологию, но добросовестно вникает в нее, как таковую, а затем уже переводит ее на более современный язык и дает ее материалистическое истолкование и об'яснение. Этого рода об'ективизм он выдерживал и по отношению к современным писателям. Расходясь с одним из своих тогдашних собеседником в оценке «Анны Карениной» и заподозрив его в желании, чтобы Толстой писал «социалистические повести», Г. В. Плеханов утверждал, что Толстой выводит «лучших представителей» известных классов и детально обосновывал эту—столь неприемлемую для разделявших точку зрения Н. К. Михайловского на Л. Толстого—мысль по отношению к Вронскому.

Разговоры с Г. В. Плехановым на литературные темы в самом деле оставляли неизгладимое впечатление. И впоследствии в 1901 году, в Мюнхене, когда после временного обострения отношений (вызванного, равным образом, разногласиями относительно «Феноменологии духа» Гегеля и относительно связи между «Zweite Stellnng» des Gedankens zur Objektivität» и точкой зрения самого Гегеля) пишущему эти строки опять представлялись случаи слушать Г. В. Плеханова в непринужденной беседе, последний с непередаваемым остроумием проводил весьма нелестные для тогдашних русских неокантианцев сопоставления их с теми из немецких их прототипов, которых он к тому времени, наконец, удосужился прочесть, вникая в гносеологические вопросы по существу.

Заслуги Г. В. Плеханова, как литературного критика, повидимому, общепризнаны. Я имею в виду не только такие шедевры, как разбор драм Ибсена, а, прежде всего и главным образом, составившие эпоху в истории русской критики статьи, посвященные народникам-беллетристам. В этих, по формальным достоинствам занимающих выдающееся место даже среди вообще блещущих формальными достоинствами

произведений Г. В. Плеханова, впервые дана адэкватная характеристика беллетристов-народников, по отношению к которым Г. В. Плеханов сделал то же, что Добролюбов в своих бессмертных статьях сделал для Островского. Уже это обеспечивает статьям о народниках-беллетристах первостепенное место в истории русской общественности. Но еще важнее то, что, являясь, так сказать, лебединою песнею русской **публицистической** критики, статьи Г. В. Плеханова о народниках-беллетристах в то же время представляют собой применение марксистского угла зрения на литературу к целому литературному течению.

Затем необходимо обратить внимание на труды Г. В. Плеханова по истории русской критики. Относительно своих ближайших предшественников, критиков публицистического направления, он, по существу, сделал приблизительно то же, что в свое время сделал в «Очерках гоголевского периода» Н. Г. Чернышевский для своего предшественника—В. Г. Белинского. Нельзя не признать, что в труде Г. В. Плеханова о Н. Г. Чернышевском именно разбор эстетических теорий этого основоположника русской публицистической критики наименее вызывает возражения: Г. В. Плеханов впервые дал исчерпывающий, в самом деле научный анализ знаменитой диссертации «Эстетические отношения искусства к действительности», тезисы которой до тех пор неверно истолковывались как противниками, так и поклонниками. Г. В. Плеханов впервые противопоставил не вполне последовательному проведению мыслей Фейербаха у Н. Г. Чернышевского вполне последовательное завершение этих мыслей в диалектическом материализме Маркса и Энгельса и благодаря этому выяснил как достоинства, так и недостатки эстетической теории Н. Г. Чернышевского. Затем Г. В. Плеханов детально подвел итоги тому, что дали для русской общественности представители публицистической критики. И он сделал это как раз вовремя, а именно тогда, когда публицистическая критика как таковая, в традиционном с «60-х годов» значении слова, в смысле могучего орудия идейно-политической борьбы, которым она была и не могла не быть при старом режиме, выполнив свое назначение, должна была уступить место другим формам, с одной стороны, непосредственной публицистике, уже не нуждающейся в литературно-критической оправе, с другой стороны—более сложным формам литературной критики И следует быть справедливым по отношению к Г. В. Плеханову: к подведенным им итогам деятельности русских просветителей—литературных критиков публицистического направления—вряд ли окажется возможным что-либо существенное прибавить будущему историку литературы. Стоит сравнить продуманные и обоснованные оценки Г. В. Плеханова с тем, что писалось о Чернышевском, Добролюбове и Писареве до него как их порицателями, так и их поклонниками, чтобы выяснилось, что выраженное выше мнение не есть преувеличение. А завершителем целого направления, и при том столь плодотворного, как русская публицистическая критика, Г. В. Плеханов мог стать лишь благодаря тому, что в качестве марксиста он впервые осознал в применении к русской действительности и адэкватно формулировал идею классовой борьбы, более или менее неясно сознаваемую его талантливыми литературными предшественниками, но, несомненно, и в их неадэкватных приближениях уже являвшейся для них путеводной звездой, руководясь которой они создали такие перлы как «Русский человек на rendez vous», «Когда же придет настоящий день?», «Луч света в темном царстве», «Пчелы»... Заслуживает внимания, что Г. В. Плеханов первый—и единственный—из всех писавших об этом произведении—дал

адэкватную оценку роману Н. Г. Чернышевского «Что делать?», в котором нашли наиболее яркое выражение идеалы русских просветителей 60-х годов. До Г. В. Плеханова критические отзывы об этом знаменитом романе—за исключением разве статьи Писарева, истолковавшего идеалы Чернышевского на свой лад, были и формально и по существу ниже всякой критики. Под столь распространенными и ставшими благодаря частому повторению общим местом суждениями о героях «Что делать?», как о безжизненных абстракциях, в сущности кроется упорное нежелание допустить, что социалисты «60-х годов» могли быть не нелепыми фразерами и выродками, какими их принято было изображать, а людьми дельными, «честными и умеющими».

Особое место занимают отзывы и статьи Г. В. Плеханова о В. Г. Белинском, в сущности, наиболее ему симпатичном. При сравнении этих отзывов со всем тем, что было написано о Белинском до Плеханова, обнаруживаются несомненные преимущества марксистского подхода, благодаря которому впервые был внесен смысл хотя бы в представлявшуюся столь бессмысленной с до-марксистских точек зрения проблему примирения с разумностью действительности.

Г. В. Плеханов неоднократно подчеркивал, что русские критики-публицисты умели давать и «эстетическую» критику художественных произведений. И в произведениях самого Г. В. Плеханова встречаются тонкие замечания о выдающихся художественных произведениях.

## II.

В «Письмах без адреса» Плеханов выражает твердое убеждение в том, что «история идеологий может быть понята только тем, кто вполне усвоил себе простую и ясную истину», представляющую любой «вывод», сделанный из некоторых положений Дарвина: «человеческая природа делает то, что у человека могут быть известные понятия (или вкусы или склонности), а от окружающих их условий зависит переход этой возможности в действительность, эти условия делают то, что у него являются именно эти понятия (или склонности, или вкусы, а не другие)» (Г. В. Плеханов, Соч., т. XIV, стр. 14). Он выясняет «действие дарвинова начала антитеза» (Гегелева «противоречия») и приводит множество примеров из области первобытного искусства, «так ясно отражающего в себе состояние производительных сил, что теперь в сомнительных случаях по искусству судят о состоянии этих сил» (стр. 24). Затем Плеханов доказывает, что «отныне критика (точнее: научная теория эстетики) в состоянии будет подвигаться вперед, лишь опираясь на материалистическое понимание истории» и что «и в прошлом своем развитии критика приобретала тем более прочную основу, чем более приближались ее представители к отстаиваемому мною историческому взгляду» (стр. 30). Это общее положение поясняется примером эволюции критики во Франции. Заслуживает внимания критика идеалистической точки зрения Бюхнера на чувствительность к ритму на в высшей степени важное для выяснения генезиса искусства отношение игры и искусства к труду.

В статье «Французская драматическая литература и французская живопись XVIII века с точки зрения социологии» намечаются руководящие принципы марксистской истории искусства. Чрезвычайно содержательный очерк истории буржуазной драмы является, между про-

им, одним из лучших опровержений возводимых на Плеханова обвинений в схематизме; факты эволюции литературных форм рассматриваются в их конкретном многообразии. Экскурсии в область истории живописи, знатоком которой был Г. В. Плеханов, способствуют выяснению вопроса об отношении формы к содержанию.

В статье «Искусство и общественная жизнь» всесторонне обсуждается столь жгучий некогда вопрос об искусстве для искусства. По словам проф. Н. И. Ефимова, «актуально углубленную социологию литературы создает в нашей литературной историографии социологическая школа исторического материализма, возглавляемая Г. В. Плехановым. Плеханов — основоположник марксистской социологии искусства вообще... Он первый из теоретиков марксизма нарочито строит марксистскую социологию искусства. Хотя он все же не дал систематического изложения своих взглядов и оставил только disjecta membra марксистского искусствоведения, но собранные воедино они затрагивают почти все основные проблемы научной эстетики и социологии искусства» («Социология искусства», стр. 5). Проф. Н. И. Ефимов прав, поскольку Г. В. Плеханов не оставил учебника социологии искусства, по которому можно было бы готовиться к «поверочным испытаниям», но не прав, говоря о «membra disjecta»: «Воззрения Г. В. Плеханова приведены в стройную систему, которая, конечно, изложена не догматически, а критически по той простой причине, что Г. В. Плеханов по складу своего мышления не был догматиком.

Впрочем, и сам проф. Ефимов признает, что «Плеханов, с большим блеском развернувший в ряде своих работ важный и сложный вопрос о роли личности в истории, исследовал эту проблему и в приложении к искусству» (стр. 23). Итак, не только «затрагивает», но «исследовал».

III.

В широко задуманном, к сожалению, не оконченном капитальном труде Г. В. Плеханова «История русской общественной мысли» рассматривается многое из того, что входило, входит и будет входить во всякую историю русской литературы. Не вина Плеханова, что в данном случае ему редко приходилось останавливаться на выдающихся литературными достоинствами произведениях: рассмотренные в I и II главах статьи Плеханова бесспорно доказывают, что он не уклонялся от «эстетической критики», от анализа художественных произведений, как таковых, когда и поскольку это имело смысл. Но эпоха, исследуемая Г. В. Плехановым в «Истории русской общественной мысли», не богата литературными талантами.

Если считать задачей истории литературы (как предмета преподавания) развитие в учащихся вкуса к изящному, т.-е. ограничиваться, как делает, напр., проф. Коган, «наиболее крупными произведениями великих писателей», то, в сущности, даже из главы V второй книги «Истории русской общественной мысли», озаглавленной «Общественная мысль в изящной литературе», мало что уцелело бы. Но неудовлетворяющие требованиям нормативной эстетики произведения иногда бывают чрезвычайно важны как отражение идеологий. И без преувеличения можно сказать, что Г. В. Плеханов впервые поставил изучение общественного сознания как отображения общественного бытия на научную почву. Конечно, у Г. В. Плеханова встречаются неудач-

ные формулировки, но, как правильно констатирует Д. Б. Рязанов, ошибки Плеханова «в значительной степени перевешиваются крупными достоинствами «Истории русской общественной мысли» (XIV). И весьма вероятно, что если бы Г. В. Плеханову удалось окончить свой труд, то в главах VI, VII и VIII шестой части, намечаемых в общем плане русской общественной мысли заглавиями «Марксизм в русской литературе», «Возникновение и судьбы первых социал-демократических кружков в России» и «Русский марксизм в борьбе за свое теоретическое существование», Г. В. Плеханов сделал бы и те поправки к «неудачным формулировкам», которые представлялись бы ему целесообразными. Во всяком случае, «История русской общественной мысли»—капитальный труд, обязывающий марксистов не только jurare in verba magistri или противопоставлять «неудачным формулировкам» Г. В. Плеханова другие, вряд ли более удачные, но, главное, продолжать труд основоположника русского марксизма.

# Тактика Плеханова в революции 1905 года.

*В. Кирпотин.*

Плеханов, в обосновании предлагаемой им тактики в революции пятого года, исходил из двух принципиальных предпосылок: из необходимости строгого различения буржуазной революции от социалистической, во-первых, и из положения о невозможности подмены действия масс действованием революционного инициативного меньшинства, во-вторых. Оба эти положения сами по себе не заключают в себе ничего ошибочного. Мало того, учет этих предпосылок является в самом деле обязательным для построения правильной пролетарской тактики. Усвоение этих истин—на почве начинавшейся борьбы русского рабочего класса, в результате осмысления неудач героической борьбы русских революционеров «старого поколения» — (народнического и народовольческого толка), — при помощи марксизма—и положило начало русской социал-демократии. Плеханову принадлежит честь и бессмертная заслуга инициативы на этом поприще. Плеханов понимал, что эти его принципы связаны с основами основ марксистской тактики. Поэтому на обвинения со стороны большевиков в оппортунизме он гордо указывал, что обоснование им его тактики восходит к деятельности Группы «Освобождение Труда», к «Социализму и политической борьбе» и т. д., к тому периоду, когда папеньки многих теперешних большевиков и меньшевиков еще не начинали ухаживать за их маменьками, и что ортодоксальный характер этих его принципиальных исходных пунктов никогда не оспаривался даже такими людьми, как Ленин. Особенно любил он ссылаться на следующий абзац из своей статьи «Что же дальше», помещенной в «Заре» за 1901 г. без каких-либо возражений со стороны Ленина: «С точки зрения современного научного социализма всякие толки о социалистическом перевороте, как о ближайшей цели революционного движения в России, представляются вполне и безусловно неосновательными. Ближайшей целью революционного движения является низвержение абсолютизма, которое, обеспечив русскому пролетариату политические права и политическую свободу, даст ему широкую возможность расти и зреть, развиваться и организовываться для социалистической революции. Торжество социализма не может совпасть с падением абсолютизма. Эти два момента по необходимости будут отделены один от другого значительным промежутком времени. И именно потому, что они будут отделены один от другого во времени, социал-демократы, в своей непримиримой борьбе с абсолютизмом, могут, с полным правом и ни мало не противореча себе, указывать всем, кому надлежит знать и понимать это,

что их интересы в настоящее время совпадают с интересами свободомыслящей части нашего общества».

В своей аргументации Плеханов до декабрьского восстания в Москве, главным образом, ударял на необходимость различения буржуазного и социалистического переворотов, после же декабрьского восстания—на необходимость избегать вспышкопускательства, повторения старых бакунистских приемов борьбы.

Вышеприведенный абзац, поскольку вопрос в нем поставлен в самой общей форме, не мог и не должен был вызвать возражений со стороны Ленина. И, тем не менее, правильные исходные принципы, заготовленные Плехановым в предвидении революционных выступлений, отказывались ему служить, когда началась революция. Вместо того, чтобы послужить путями к правильной марксистской тактике, они служили в устах Плеханова лишь софистическим оправданием его жестоких ошибок. Посмотрим, каким образом это получалось.

Плеханов правильно указывал, что нельзя путать задачи буржуазного переворота с задачами социалистического переворота. Но отсюда он делал тот необоснованный вывод, что всякое общество в своем развитии к социализму должно пройти ряд последовательных, друг от друга отделенных непроходимыми гранями ступеней, имеющих некоторое длительное, вполне особенное друг от друга существование во времени. Конкретно для России это обозначало, что она в своем историческом развитии после низвержения самодержавия должна была пройти ступень буржуазного господства, которое через некоторый период сменится ступенью господства мелкобуржуазной демократии, после изжития которой только и сможет стать вопрос о переходе к социалистической революции пролетариата. При таком представлении о предстоящем ходе русской революции Плеханов естественно должен был со всей энергией обрушиться на Ленина, державшего курс на победу крестьянской буржуазной революции, совершающейся под гегемонией пролетариата. Свою оценку роли буржуазии в русской демократической революции Ленин давал на основе конкретного анализа ее экономического и социального положения: буржуазия боялась движения пролетариата, она была заинтересована в сохранении помещичьего землевладения, ибо конфискация заложенных в ее банках дворянских земель была бы ударом по ее классовой собственности, наконец, сама буржуазия территоризировалась, превращалась в землевладельцев. Отсюда Ленин делал следующий вывод: «Нужно поистине школьническое понятие об истории, чтобы представить себе дело без «скачков», в виде какой-то медленно и равномерно восходящей прямой линии: сначала, будто бы, очередь за либеральной крупной буржуазией—уступочки самодержавия,—потом за революционной мелкой буржуазией—демократическая республика, наконец, за пролетариатом—социалистический переворот. Эта картина верна в общем и целом, верна на «долгом», как говорят французы, на каком-нибудь протяжении столетия (напр., для Франции с 1789 по 1905 г.); но составлять себе по этой картине план собственной деятельности в революционную эпоху,—для этого надо быть виртуозом филистерства» (ст. «Революционно-демократическая диктатура пролетариата и крестьянства).

Аргументацию Ленина Плеханов опровергал не противопоставлением ей своего анализа русской до-революционной экономики и интересов различных классов, а ссылкой на некоторые, написанные по

поводу определенных, конкретных событий исторические произведения Маркса-Энгельса и некоторыми логическими дедукциями из положений основоположников нашего миросозерцания. Надо отдать справедливость Плеханову: в защите своей позиции доводами от «писания» он проявляет огромный блеск, с замечательным искусством используя свои великолепные познания в области марксизма. Но Плеханов добивался лишь того, что попадал в ложное положение: из марксиста-диалектика он в эти моменты превращался в марксиста-начетчика.

Ленин, критикуя использование Плехановым произведений Маркса-Энгельса против большевиков, сразу же и указал на эту основную особенность плехановских рассуждений. «В то время как «Вперед» ставит вопрос на конкретную почву, учитывая реальные общественные классы, которые участвуют в России в борьбе за демократический переворот... Плеханов ни единого слова не говорит о конкретных русских условиях. Весь багаж его ограничивается парой не к месту приводимых цитат. Это чудовищно, но это так» (т. VI, стр. 174). «Не свидетельствует ли это о резонерстве начетчика и беспомощности революционера,—писал Ленин в другом месте (т. VI, стр. 356),—когда практическая программа партии обходится молчанием и начинается в резолюции (речь идет о резолюции женевской меньшевистской конференции) преподавание истории?»

В двух статьях («К вопросу о захвате власти» и «Выбранные места переписки с друзьями») Плеханов обращается для обоснования своей аргументации к «Обращению ЦК к Союзу Коммунистов» за март 1850 г. В нем констатируется, что единственным результатом 1848 года был приход к власти крупной либеральной буржуазии, вслед за которой дальнейший под'ем движения должен привести к господству радикальной мелкобуржуазной демократии. Пролетариату же авторы «Обращения» ставят задачу выйти из своего распыленного положения, сорганизоваться, вооружиться, требовать от мелкобуржуазного правительства проведения невыполнимых для него, дискредитирующих его мероприятий—с тем, чтобы, приведя события к дальнейшей развязке, самому притти к власти и начать социалистический переворот. Это было программой перманентной революции в марксовом смысле этого термина. Требование непрерывного развития революции было, по мнению Плеханова, ошибочным. Это признал будто бы сам Энгельс в предисловии к «Классовой борьбе во Франции». Если внести в «Обращение» эту, указанную Энгельсом, поправку, то, по мнению Плеханова, развиваемая им тактика для русской революции полностью совпадает с тактическим планом Маркса и Энгельса в революции 1848 года. «Маркс и Энгельс не одобрили бы своей тактики 1850 г. только с той ее стороны, которая обусловливалась их тогдашним убеждением в дряхлости капитализма, а следовательно, и в совершенной близости социалистической революции, для которой мелкобуржуазный переворот должен был послужить только прологом. Именно это убеждение и продиктовало им выставленный ими лозунг—непрерывная революция. Впоследствии, когда социалистическая революция перестала казаться им совсем близкой, они, даже, в ожидании мелкобуржуазной революции, уже не сказали бы: «Наш лозунг—непрерывная революция», так как они видели бы, что отсутствуют об'ективные (а следовательно, и суб'ективные, т.-е. психологические) условия «непрерывной революции». Политические задачи пролетариата были бы определены ими уже в том предпо-

ложении, *что демократический строй останется господствующим в течение довольно продолжительного периода* (курсив наш.—В. К.). Но именно потому они еще решительнее осудили бы социалистов в мелкобуржуазном правительстве» (Плеханов, т. XIII, стр. 210).

Или еще «Отвечая на эту тираду (на приведенную нами цитату из Ленина), я сказал, что Маркс в «Обращении к членам Коммунистического Союза, написанной им в начале 1850 года, представляет дело именно в виде медленно восходящей прямой линии: сначала движение 1848—1849 годов поставило у власти либеральную буржуазию, которая, добившись «уступочек» от самодержавия, обнаружила готовность соединиться с феодальной партией для борьбы с новыми революционными попытками, но ее усилия не приведут ни к чему: быстро приближающаяся новая революция передаст господство в руки демократической мелкой буржуазии, в борьбе с которой *рабочий класс* должен итти к своей собственной, коммунистической, революции. Отсюда я делал то неизбежное умозаключение, что если прав развязный публицист развязной газеты, то основателей научного социализма надо причислить к «виртуозам филистерства», а их исторические взгляды следует признать «школьническими» («Выбранные места из переписки с друзьями», стр. 283).

Верность своего предположения, выраженного в подчеркнутой нами фразе, Плеханов с торжеством подтверждал ссылкой на письмо Энгельса к Турати, в котором, в виду возможного тогда в Италии прихода к власти мелкобуржуазной демократии, предупреждал итальянских социалистов о недопустимости повторения ошибки французских социалистов в 1848 г. (Луи Блана и др.), вошедших в мелкобуржуазное правительство.

Сейчас, после опыта нашей революции, аргументы Плеханова опровергнуты самой жизнью. Интерес представляет лишь выяснение того, насколько Плеханов имел право ссылаться на Маркса. Сопоставление взглядов Плеханова с марксовыми дает нам поучительный пример, как в основе своей правильный принцип, превращается в застывшее, отвлеченное правило.

В «Обращении» вовсе не дано закона постепенного разворачивания всех и всяких революций. В нем дан анализ конкретной ситуации, сложившейся после 1848 года, с указанием именно из этой ситуации вытекающего и возможного дальнейшего хода событий. Никогда Маркс и Энгельс не придавали своим исследованиям характера канона, обязательного в непременной форме при любом переплете событий» [1]).

---

[1]) На III с'езде РСДРП Ленин в следующих словах охарактеризовал плехановское оперирование «Обращением». «Перейду к Плеханову. Он употребляет прием глубоко неправильный. Он уклоняется от важных принципиальных вопросов, пускаясь на мелочные придирки, употребляя некоторый момент подмена. «Вперед» утверждает, что в общем схема Маркса верна (схема смены самодержавия сначала буржуазной монархией, а после—мелкобуржуазной демократической республикой), но если мы будем заранее ограничивать по этой схеме пределы, до которых мы пойдем, то мы будем филистерами. Таким образом, защита Маркса Плехановым есть verlorene Liebesmühe». Защищая Мартынова, Плеханов ссылается на «Обращение» Центрального Комитета Союза Ком. к членам Союза. Излагает это «Обращение» Плеханов опять-таки неверно. Он оставляет в тени, что «Обращение» это писалось тогда, когда полная победа народа уже не удалась, несмотря на победоносное восстание пролетариата в Берлине в 1848 г. Буржуазно-конституционная монархия уже сменила самодержавие и, следовательно, о временном правительстве, опирающемся на весь революционный народ, не могло быть и речи. Весь смысл «Обращения» состоит в том, что, после неудачи народного восстания, Маркс сове-

Мало того, в том самом предисловии к «Классовой борьбе во Франции», на которое ссылается Плеханов для подтверждения своей правоты, есть прямое указание на возможность «*скачка*» через *ступень плехановской схемы*[1]).

Энгельс пишет:

«В 3-й статье Маркса показано, как развитие буржуазной республики, возникшей из «социальной» революции 1848 г., сосредоточило весной 1850 года действительное господство в руках крупной буржуазии, вдобавок монархически настроенной. Все другие классы общества, крестьяне и мелкие буржуа, сгруппировались вокруг пролетариата, так что, в случае общей победы, не она, а умудренный опытом пролетариат должен был сыграть роль решающего фактора. *Неужели всего этого было мало, чтобы питать полную надежду на поворот от революции меньшинства к революции большинства*» (курсив наш.— В. К.). В 1895 году (дата написания предисловия) Энгельс не находил ничего недопустимого в предлагавшейся им и Марксом тактике. Не самую тактику «Обращения» и 3-й статьи «Классовой борьбы» он признает неправильной, а предполагавшиеся ими *сроки* ее применения.

В то время, как через первые три статьи, появившиеся в январском, февральском и мартовских номерах «Новой Рейнской Газеты» (политико-эконом. обозрение, Гамбург 1850 г.), красной нитью проходит ожидание нового под'ема революционной энергии, составленный Марксом и мною исторический обзор (с мая до октября) для последнего двойного номера, вышедшего осенью 1850 года, навсегда порывает с этими иллюзиями. *Новая революция возможна только в сопровождении нового кризиса. Но наступление ее так же несомненно, как и наступление кризиса. Этим и исчерпывались все существенные изменения, которые потребовались в работе Маркса*» (курсив наш.— В. К.). В том же предисловии Энгельс не только не отрицает правомочность «скачка», но ожидает его в ближайшем будущем (к концу столетия,— примерно, значит, в течение ближайших пяти лет) в Германии, где на очереди «социал-демократический переворот», долженствующий совершиться в союзе с мелкими буржуа, с мелкими крестьянами (Маркс и Энгельс, Исторические работы, т. III, стр. 22, 21), идущий на смену правительственному режиму, основанному на союзе юнкеров с крупной буржуазией. Что Плеханов вычитал в этом предисловии признание неправильной тактики непрерывной революции, можно об'яснить лишь предвзитой точкой зрения. И совершенно уже чудовищным является предположение Плеханова, что

---

тует рабочему классу сорганизоваться и приготовиться. Неужели эти советы пригодны для выяснения положения в России до начала восстания? Неужели эти советы раз'ясняют наш спорный вопрос, предполагающий победоносное восстание пролетариата?» (Ленин, т. VI, стр. 171).

[1]) «В России спор шел о миновании ступеньки господства крупной буржуазии при переходе от абсолютизма к крепостничества к политическим формам, соответствующим господству капитализма. У Энгельса в приводимой ниже цитате речь идет о миновании ступеньки господства мелкобуржуазной демократии при переходе от капитализма к социалистической диктатуре пролетариата. Но в данном случае это различие не играет роли. Раз будет доказано, что Энгельс считал возможным «скачек», что он ставил результат борьбы лишь в зависимость от сил и возможностей, то тем самым падает закономерность возведения, вычитанной Плехановым из «Обращения» *схемы* в обязательный канон всякой революции» (Ленин, там же).

чем дальше от 1848 года, тем все более и более Маркс и Энгельс приходили к убеждению о несвоевременности «скачка», социалистического переворота, а потому и недопустимости участия представителей пролетариата в другом правительстве, кроме как в правительстве диктатуры пролетариата. «Я сказал: чем более Маркс и Энгельс убеждались в том, что капитализм еще не так близок к своей гибели, как это им казалось в 1848 г., тем менее должно было им казаться допустимым участие пролетариата в мелкобуржуазном правительстве. Мой противник (т.-е. Ленин.—В. К.) об'являет это замечание неправильным. На самом деле оно совершенно правильно, но н е у д о б н о для него, для моего противника» («Выбранные места и т. д.», стр. 301). Прав был, конечно, Ленин, считавший необходимым участие пролетариата во временном правительстве в случае победы революции. Неправ был Плеханов, полагавший, что по мере удаления от 1848 года Маркс и Энгельс переставали считать европейский капитализм экономически зрелым для социалистического переворота.

Плеханов изображал дело таким образом, что Маркс и Энгельс, после революции 1848 года, вообще отказались на д о л г и й с р о к о т постановки в порядок дня социалистической революции. Если бы это было так, то тогда в самом деле были бы ошибкой не только сроки применения тактики Маркса, но был бы ошибкой самый курс на перманентную революцию. Ошибка Маркса была бы ошибкой более глубокой. Но Маркс и Энгельс считали, что революция отодвинулась только до следующего кризиса, и, в случае нового потрясения, они вновь поставили бы в порядок дня непрерывную революцию.

Стоит лишь наугад перелистать тактические работы Маркса и Энгельса, чтобы убедиться в том, что они и после событий 1848 года на протяжении всей их жизни считали капитализм уже достаточно зрелым для социалистического переворота (см. хотя бы «Жил. вопрос», стр. 24, изд. 1848 г.; «К истории Союза Коммунистов»,—Исторические работы, т. III, стр. 420, изд. 1885 г., где Энгельс прямо указывает на применимость тактики «Обращения» в ближайшем европейском потрясении; наконец, предисловие к «Классовой борьбе», которое пытается использовать в свою пользу Плеханов). В соответствии с этим, они при каждом ожидавшемся революционном взрыве держали курс на развязывание событий вплоть до установления диктатуры пролетариата, что не мешало им, само собой понятно, предупреждать пролетариат от принятия боя при невыгодном для него расположении сил, с одной стороны, а с другой—понимать необходимость различных типов построения социализма по странам, в зависимости от вариаций их экономической структуры: «... переходные мероприятия должны будут быть везде сообразованы с существующими в тот момент отношениями и в странах мелкого землевладения должны будут существенно отличаться от мер, принятых в странах с крупной земельной собственностью и т. д.» («Жил. вопрос», стр. 94).

Плеханов неустанно ищет аргументов у Маркса против Ленина. По его мнению, марксизм не дается Ленину. Даже тогда, когда работы последнего и не представляют собою ублюдочной помеси бланкизма с жоресизмом, применение марксизма Лениным носит угловатый, топорный храктер. Ленин и тогда не столько сознательно его применяет, сколько стихийно влечется к нему. Но «стихийное» только влечение к марксизму не может, конечно, уберечь политика от множества ошибок, постоянных срывов и в теории, и в практике, от постоянных попыток заме-

нить марксизм в прикрашенный марксистскими фразами бакунизм. Свою будто бы правду перед теорией, перед ортодоксией, доказываемую анализом «Обращения», Плеханов дополнительно подтверждает цитированием «18 брюмера Луи Бонапарта», где Маркс говорит о двух линиях,—восходящей и нисходящей,—в революции. Приведя это место, Плеханов делает следующий вывод: «В великой революции конца XVIII века движение поднималось со ступеньки на ступеньку. И это обстоятельство позволило ему совершить максимум полезной работы. Февральская революция скакнула на несколько ступенек сразу... и пошла по нисходящей линии, и партии, принимавшие в ней участие, приняли смешную политику, стали лягаться, терять равновесие, падать, корчиться, гримасничать. Печальная картина. Безотрадный ход событий. Чем был он вызван? Группировкой составных частей тогдашнего буржуазного общества. Эта группировка была неблагоприятна для революции и обусловила собой ее бессилие. Не так ли? Конечно, так. А если так, то не ошибаются ли те люди, которые думают, что под'ем на «несколько ступенек сразу» доказывает силу революционного движения. Не увлекаются ли они предрассудками прошлого? Не являются ли они революционерами «старого поколения»? Очень на это похоже!.. вероятный,—и, разумеется, желательный,—для них (т.-е. для Маркса и Энгельса) ход событий представлялся им тогда именно в виде под'ема со ступеньки на ступеньку, а не в виде скачка через несколько ступенек сразу» («Выбранные места из переписки с друзьями», т. XIII, стр. 285). В этом рассуждении нет ни одной обоснованной мысли. Нетрудно уразуметь, что отрывок, приведенный Плехановым, дает констатацию фактов и их об'яснений, а не рецепт, не «стратегические понятия», определяющие способ для победы на вечные времена. Маркс осуждает неправильную тактику демократических и революционных партий во Франции в 1848 году [1]). Из рассуждения Маркса следует необязательность во всех и всяких революциях смены у власти различных классов по плехановской ступенчатообразной и мертвой схеме, а осуждение соглашательства в революции с контрреволюционными и quasi-революционными партиями. Партия пролетариата не должна была быть охвостьем демократов, а высту-

[1]) Приводим для удобства читателя цитату из «18 брюмера»: «В первой французской революции за господством конституционалистов следует господство жирондистов, а господство жирондистов сменяется господством якобинцев. Каждая из этих партий опирается на более передовую. Как только данная партия довела революцию настолько далеко, что она более не в состоянии не только итти вперед, но и следовать за ней, ее устраняет и отправляет на гильотину стоящий за ней более смелый союзник. Революция двигается таким образом по восходящей линии. Обратное происходит в революции 1848 г. Партия пролетариата является придатком мелкобуржуазной демократической партии. Последняя изменяет первой 16 апреля, 15 мая и в июньские дни. Демократическая партия, со своей стороны, стоит на плечах буржуазно-республиканской партии. Не успели буржуазные республиканцы почувствовать себя твердо на ногах, как они сбрасывают с себя докучливых товарищей и сами спешат опереться на плечи партии порядка. Партия порядка пожатием плеч опрокидывает буржуазных республиканцев и сама становится на плечи вооруженной силы. Она еще продолжает думать, что сидит на плечах армии, когда она в одно прекрасное утро открывает, что эти плечи превратились в штыки. Каждая партия лягается в сторону стремящейся вперед и упирается в стремящуюся назад партию. Неудивительно, что она в этой смешной позитуре теряет равновесие и падает, корча неизбежные гримасы и выделывая удивительные курбеты. Революция двигается, таким образом, по нисходящей линии. Она находится в этом попятном движении прежде, чем убрана последняя февральская баррикада и установлена первая революционная власть».

пить с самостоятельной и решительной революционной тактикой. Демократы и республиканцы должны были равняться не на партии порядка, а на революционный народ. Вот что хотел сказать Маркс; из его слов никак нельзя было вывести равнения на либералов. Они не только не дают основания для построения схемы-рецепта революции для всех времен и народов, а заключают в себе осуждение плехановских поисков упора в стремящихся назад либералов. А затем ни Ленин, ни его сторонники никогда не рассуждали таким образом, что под'ем сразу на ступень крестьянской демократической революции докажет силу движения. Наоборот, из анализа русской экономики и реального размаха сил борющихся классов они определяли неизбежность и необходимость для победоносной революции реализоваться сразу как крестьянская революция, руководимая пролетариатом.

Когда во время войны Плеханов, опираясь на «стратегические понятия» приведенного отрывка из Маркса, вновь стал проповедывать в неизбежной в России революции переход к власти кадетов и октябристов, Ленин ответил ему («О двух линиях в революции»), что у нас в самом деле наблюдаются две линии революции, но не в смысле выполнения неких предначертанных и навсегда годных схем, а в смысле различной роли классов и представляющих их партий в революции. «Г. Плеханов марксизм подменил вульгарным идеализмом, сводя дело к «стратегическим понятиям», а не к соотношениям классов. Опыт русской революции 1905 г. и контрреволюционной эпохи после нее говорит нам, что у нас наблюдались две линии революции, в смысле борьбы двух классов, пролетариата и либеральной буржуазии, за руководящее влияние на массы».

Обосновать обязательность очищения пролетариатом пути к власти для буржуазии нельзя было не только конкретным анализом русской экономики; такое обоснование не дается и теоретическими ссылками на Маркса, ибо Маркс был за наивысший под'ем революции, какой только возможен при данном сочетании классовых сил.

При обосновании того, что революция должна разворачиваться в правильном ступенчатообразном порядке, в котором один класс последовательно сменял у власти ему предшествовавший класс, Плеханов исходил из той предпосылки, что политическое поведение класса всецело соответствует его об'ективной экономической роли. Экономический хозяйственный уклад, представителем которого является крупная буржуазия, взрывает старый крепостнический строй России. Отсюда Плеханов непосредственно умозаключал, что буржуазия по отношению к старому режиму в России является силой революционной, или во всяком случае настолько оппозиционной, чтобы быть одной из движущих сил революции. «Наша буржуазия уже достаточно созрела, чтобы не уживаться с царизмом» (т. XIII, стр. 324). «Наш капитализм уже настолько развит теперь, что наша буржуазия ни за что не помирится с самодержавием. Этого не позволяют ей ее самые насущные экономические интересы» (т. XIII, стр. 348). Политический интерес класса по Плеханову без дальнейших околичностей равен его экономической роли. Иначе мы, по его мнению, переносим вопрос из плоскости об'ективной области в область суб'ективную, заменяем трезвый анализ и политический расчет рассуждениями о нравственных свойствах буржуазии (т. XV, стр. 98). Для доказательства Плеханов ссылается на те страницы «Коммунистического Манифеста», где показана великая всемирно-историческая революционная роль, которую играла буржуазия на протяжении всей своей истории, вызывая постоянные

перевороты в орудиях производства, а следовательно, и во всех общественных отношениях. Выписав этот отрывок из «Коммунистического Манифеста», Плеханов делает из него следующий вывод касательно тактического поведения большевиков в русской революции 1905 года: «... Нам приходится рассматривать как злых реакционеров или как безнадежно больных Дон-Кихотов тех людей, которые захотели бы теперь остановить дальнейшее развитие буржуазных отношений в России. Остановить развитие этих отношений значило бы остановить также и пролетариат в его движении к своей конечной цели. Но если только злые реакционеры или безнадежно больные Дон-Кихоты могут теперь стремиться к тому, чтобы задерживать развитие капитализма, то как назвать тех людей, которые осуждают реакционные попытки в области экономических отношений, своей тактикой мешают нашей буржуазии добиться политической власти! Вы можете называть их, как хотите, но я категорически утверждаю, что вы не имеете права называть их людьми, одаренными способностью к логическому мышлению. «Wer A sagt, muss auch B sagen»,—говорят немцы. А эти мыслители, с увлечением произнося А, с таким же увлечением отказываются произносить Б. Одна нога их идет в одну комнату, другая — в другую» («Письма о тактике и бестактности», письмо 4-е, т. XV. стр. 135).

Что политика зависит от экономики, что политическая позиция класса определяется его экономическими интересами, его положением в производстве,—это бесспорная, в наше время школьная, истина. Но умозаключать от экономической роли класса непосредственно к его политическому поведению является забвением основного правила диалектики,—конкретного учета обстоятельств времени и места, не только природы одного данного класса, но и всего переплета классовых сил в стране. Истина всегда конкретна,- это великолепно понимал в общей отвлеченной форме Плеханов. Но он не сумел применить этого правила в революции. Книга стала у него над жизнью и закрыла жизнь от его взоров. Ленин никогда не делал непосредственных выводов из диалектики, из положений исторического материализма, не изучив тщательнейшим образом всех обстоятельств конкретной ситуации. Такое изучение дало ему возможность установить, что буржуазия в русской буржуазной революции будет играть контрреволюционную роль. Плеханов же, даже сталкиваясь на деле с предательством буржуазии в буржуазной революции, продолжал ее уговаривать, что ей полагается действовать иначе, что пролетариат не посягает на основы буржуазного строя, и тем самым попадал в жалкое и смешное положение, совершенно не соответствовавшее ни его природным дарованиям, ни его блестящему марксистскому образованию. Либеральная оппозиция еще не пришла к власти, следовательно, она еще революционна,—и баста. Никакие факты, никакой анализ конкретного переплета классовых сил в России не могли его сбить с этой позиции.

Если экономическая природа буржуазии делает ее политику относительно революционной, независимо от противоречия ее интересов с интересами крестьянства и пролетариата, то точно также экономическая природа пролетариата ведет к тому, что, участвуя во власти, будучи в ней руководящей силой, пролетариат может вести только социалистическую политику. «По-моему, вообще участвовать в буржуазном,—или в мелкобуржуазном, это все равно,—правительстве социал-демократы могут только как меньшинство, потому что если они будут большинством, то правительство сделается уже про-

летарским, а не буржуазным, а тогда перед ним во весь рост встанет вопрос о социалистической революции» («Выбранные места из переписки с друзьями», т. XIII, стр. 234). Но социалистическая революция, провозглашенная как ближайшая программа революции 1905 года, должна была привести все движение к гибели. Поэтому Плеханов был против участия социал-демократов во временном революционном правительстве. Поскольку нас интересует не подробное изложение всех тактических положений Плеханова, а лишь нахождение основных источников его ошибок, мы не будем подробно останавливаться н на этом его выводе. Заметим лишь следующее. Указание на то, что пролетариат может участвовать в правительстве или в положении Луи Блана да Мильерана, или в качестве класса-диктатора сводится на-нет самим Плехановым, впервые провозглашенное положение о гегемонии пролетариата в нашей демократической революции. Поэтому Плеханов и не вводил в обоснование своей тактики положение о гегемонии пролетариата. Когда ему на это указывали Ленин и другие большевики, он от нападения переходил к обороне, ссылаясь на то, что его нечего учить пониманию руководящей роли пролетариата в революции, ибо он первый провозгласил это положение на Парижском конгрессе Интернационала, и что для того, чтобы играть роль гегемона, нужно иметь кем руководить, а большевики своей тактикой ведут к изоляции пролетариата.

Из вышеизложенного вытекают н требования не отпугивать буржуазию чрезмерными требованиями от революции, линия на сотрудничество, на соглашения с либеральной буржуазией в революции, ставка на офицеров для завоевания войска на сторону народа, проповедь блоков с кадетами и т. д. Обосновывая необходимость избирательных блоков с кадетами, Плеханов исходит опять-таки из отвлеченного положения, что недостигшая окончательно власти буржуазия еще революционна по отношению к старому порядку, и что для нанесения поражения реакции необходимо об'единить силы всех оппозиционных элементов общества. Ленин анализом действительного поведения кадетов, их отношения к основному вопросу русской революции, к вопросу о земле, показывает, что кадеты предпочитают соглашение с правительством соглашению с революционным народом, что нельзя низвергнуть правительство, не освободив народ от доверия кадетской политике. А Плеханов продолжает звать кадетов к пропаганде среди народа, упрекать их за недостаточность их усилий завязать связи с массами, и, чтобы облегчить сближение кадетов с народом, снижает свою критику их политики, меряет выдвигаемые им лозунги меркой приемлемости их для кадетов. Как только началась выборная кампания, Ленин спешит анализировать настроения предвыборных собраний, первые итоги выборов, чтобы цифрами доказать необоснованность криков о черносотенной опасности, — Плеханов же продолжает витать в облаках книг и теорий, не спускающихся к осмыслению новых фактов, новых событий.

В своем обосновании от книг,—без учета конкретного хода обстоятельств,—необходимости со стороны пролетариата использовать и поддерживать всякое оппозиционное движение против старого порядка, Плеханов доходит до таких формулировок, которые являются в некоторой степени зародышами его позиции во время войны. «Человек, не зараженный суздальской политической философией (синоним метафизического способа мышления большевиков.—В. К.), без труда

поймет, что, несмотря на обострение классовых противоречий в буржуазном обществе, интересы пролетариата и буржуазии могут и непременно должны совпадать между собой,—именно в силу общего закона обострения противоречий,—там, где путь развития этого общества загораживается темными силами реакции (курсив наш.—В. К.). А раз поняв это, он сумеет воспользоваться для своего дела этим частичным совпадением, ни на одну минуту не прибегая к затушевыванию тех противоречий, которые уже обнаружились или могут со временем обнаружиться в буржуазном обществе» («Письма о тактике и бестактности», письмо 5-е, т. XVI, стр. 139). Таким образом, Плеханов считает, что противоречия между пролетариатом и буржуазией проявляются лишь на почве буржуазных, капиталистических отношений. Поскольку же идет речь о противоречии между буржуазным порядком и старыми крепостническими отношениями, постольку, по этой линии, интересы пролетариата и буржуазии совпадают. Но это не верно. Это противоречит фактам, это противоречит марксизму. Желательная пролетариату мера уничтожения старого порядка превышает меру враждебности буржуазии по отношению к нему. Сплошь да рядом пролетариат непримиримо революционен там, где буржуазия ищет лишь соглашения с силами старого порядка.

Такова была ленинская постановка вопроса: «В известном смысле буржуазная революция более выгодна пролетариату, чем буржуазии. Именно вот в каком смысле несомненно это положение: буржуазии выгодно опираться на некоторые остатки старины против пролетариата, например, на монархию, на постоянную армию и т. п. Буржуазии выгодно, чтобы буржуазная революция не смела слишком решительно все остатки старины, а оставила некоторые из них, т.-е. чтобы эта революция была не вполне последовательна, не дошла до конца, не была решительна и беспощадна. Эту мысль выражают часто социал-демократы несколько иначе, говоря, что буржуазия изменяет сама себе, что буржуазия предаст дело свободы, что буржуазия неспособна на последовательный демократизм. Буржуазии выгоднее, чтобы необходимые преобразования в буржуазно-демократическом направлении произошли медленнее, постепеннее, осторожнее, нерешительнее, путем реформ, а не путем революции; чтобы эти преобразования были как можно осторожнее по отношению к «почтенным» учреждениям крепостничества (вроде монархии); чтобы эти преобразования как можно меньше развивали революционной самодеятельности, инициативы и энергии простонародья, т.-е. крестьянства и особенно рабочих, ибо иначе рабочим тем легче будет, как говорят французы, «переложить ружье с одного плеча на другое», т.-е. направить против самой буржуазии те оружия, которыми снабдит их буржуазная революция, ту свободу, которую она даст, те демократические учреждения, которые возникнут на очищенной от крепостничества почве» (Ленин, т. VI, стр. 330).

Но если считать, что по отношению к условиям, создающим возможность беспрепятственного развития капитализма пролетариат солидарен в своих интересах с буржуазией, то тогда можно притти к заключению, что пролетариат в войне, характеризуемой почему-либо как нужная для капиталистического развития страны, солидарен с буржуазией в ее стремлении к победе, и должен ее поддерживать «до победного конца». К такому заключению и пришел Плеханов в империалистическую войну.

В. Ваганян в своей книге о Плеханове полагает, что крайняя шовинистическая позиция Плеханова во время войны об'ясняется воздействием на его темперамент атмосферы мещанского испуга перед немцами, окружавшая его в Париже, где застигло его начало войны (стр. 664). Но такое об'яснение, конечно, слишком примитивно. В идентификации интересов пролетариата и буржуазии против тех условий, которые задерживают развитие капитализма в данной стране, кроется уже зародыш хода мысли Плеханова, развитого им первоначально в «Истории русской общественной мысли», где Плеханов доказывает, что по отношению к внешним опасностям, грозящим нормальному ходу экономического развития страны, борьба классов этой страны сменяется их сотрудничеством в целях защиты самого существования экономического фундамента, за овладение которым и идет борьба в современном обществе. Именно по этой линии теоретических построений Плеханова, при его дальнейшем поправении, вырастала его позиция в минувшей войне.

Плеханов правильно определял, что происходившая в России, в 1905 году, революция была революцией буржуазной. Но, считая каноном всякой буржуазной революции обязательный приход к власти в первую очередь крупной буржуазии, он считал всякую тактику, скидывавшую со счетов движущих сил революции этот класс за незаконное, не марксистское смешение задач социалистического и буржуазного перевота. Большевики и Ленин разделяли, по его мнению, эту ошибку с эсерами и с перманентниками по Парвусу-Троцкому. В поучение Ленину и большевикам Плеханов настойчиво приводил марксову оценку «истинных социалистов», в своей критике буржуазии в самом деле жестоко путавших революцию против буржуазии с революцией за создание буржуазных общественных отношений. Но неустанные напоминания Плеханова не попадали в цель, били мимо Сидора в стену. Завороженный своей схемой, он не обращал внимания на то, что Ленин тоже доказывал буржуазный характер разворачивающейся в России революции, что Ленин также бил по адресу всяческих утопически-социалистических мечтаний в ожидании победы 1-й русской революции, в какой бы одежде она ни выступала—народнической или quasi-марксистской. Но, не отрицая буржуазного характера переворота, Ленин иначе, чем Плеханов, расценивал его движущие силы. Он ориентировался на крестьянскую революцию под гегемонией пролетариата. И теория и история оправдали всецело прогноз Ленина, осудив построение Плеханова. Не Плеханов, а Ленин сумел диалектически применить совершенно правильное марксистское положение о необходимости различать, не смешивать между собою задачи буржуазного и социалистического переворотов.

Приписывая Ленину народническую оценку характера предстоящей революции, Плеханов в то же время находил у него другой народнический, бакунистский грех: упреждение событий в предлагаемых им средствах и формах борьбы, скидывание со счетов действия созревшей народной массы, замены действия масс действием инициативного заговорщического меньшинства. Особенно усилились эти упреки Плеханова по адресу Ленина после поражения московского восстания. «Главная отличительная черта тактики наших «интеллигентных» руководителей пролетариата состояла в том, что она далеко не соответствовала силам, находившимся в их распоряжении. Она целиком основывалась на страшном, невероятном преувеличении этих сил... Эти люди стремились «определить революционный процесс развития, вызвать в нем искусственный кризис, сделать революцию в такое время, когда еще не

было налицо необходимых для нее условий» (Приводимые Плехановым слова Энгельса по адресу бланкистов). Но кто стремится опередить революционный процесс развития, тот, естественно, настраивает себя так, что лишается способности правильно оценить значение совершающихся перед его глазами событий, теряет политический «глазомер» и принимает за окончание процесса развития то, что на самом деле является одной из промежуточных его фаз. А кто теряет политический глазомер, тот опять-таки, весьма естественно, склоняется к преувеличению своих сил и средств» («Новые письма о тактике», письмо 2-е, т. XV, стр. 222—223).

Плеханов не принадлежал к тем окончательно погрязшим в филистерстве «социалистам», которые боятся применения насилия и рассчитанных на вооруженное столкновение классов средств. Он не порицал большевиков просто за то, что они призывали к восстанию, агитировали за бойкот думы, отвергали урезанные лозунги и т. д. Ошибку большевиков, и Ленина в том числе, он видел в преждевременном выставлении в агитации сильнодействующих, ведущих к окончательной развязке приемов борьбы, до которых массы еще будто бы не дошли собственным опытом своей борьбы. «Когда я высказал ту мысль... что бойкот думы составляет политическую ошибку, я опирался, главным образом, на то соображение, что самым надежным учителем массы является ее собственный опыт, которого никогда не заменят никакие прокламации и никакие резолюции. Я говорил, что убеждение в преобладающем значении опыта для дела политического воспитания массы, в свою очередь, опирается на материалистическое об'яснение истории, основное положение которого гласит: не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание. В своей полемике с единомышленниками П. Орловского (т.-е. Воровского) я не раз повторял этот главный свой довод (курсив наш.—В. К.), и когда я повторял его, я знал, что в этом случае я остаюсь верным духу научного социализма» (ibid., стр. 225). Положение, гласящее, что лозунги должны соответствовать зрелости масс, достигнутой ступени движения, само по себе, в своей общей форме является вполне марксистским. Но в применении этого правильного положения Плеханов впадал в метафизику, ставя опыт масс в зависимость от предстоящей, по его уже разобранной нами схеме, ступени революции и видя критерий зрелости масс в гарантированном успехе ее выступлений. Такое понимание опыта вело его в свертыванию революционных лозунгов в те самые моменты, когда он сам считал неисключенным и вероятным близкий революционный взрыв. Оценивая положение в 1906 г. (в третьем письме о тактике и бестактности, т. XV, стр. 116), Плеханов приходил к выводу, «что у нас возможен новый революционный взрыв в самом близком будущем», в назревающем новом столкновении народа с правительством он считал вполне возможной победу народа. И в то же время Плеханов выставляемыми им лозунгами добивался того, что его публично хвалили кадетские газеты, приглашая его делать следующий логический шаг вправо. Ваганян приводит следующий список имен, так или иначе одобрительно отзывавшихся о выступлениях Плеханова: проф. Гримм, Изгоев, Милюков, Галич, Бланк, Кускова, Ковалевский. «П. Милюков даже удосужился заняться специально вопросом о внутрипартийных отношениях с.-д. По выходе «Писем о тактике» он счел необходимым «поддержать» Плеханова в его борьбе против большевиков статьей «Г. Плеханов и г-жа Кукшина» (Ваганян—«Плеханов», стр. 493). В ответ Плеханову приходилось развивать сомнительную

истину, что нет ничего зазорного для с.-д., если его хвалит буржуазия за правильную тактику в буржуазной революции.

Мы сказали, что Плеханов ставил опыт масс в зависимость от очередной по его схеме ступени революции. В статье «Наше положение» (т. XIII, стр. 349) он писал: «То обстоятельство, что буржуазия успокоится, получив некоторые,—необходимые и достаточные для нее,—уступки, не должно смущать нас ни в коем случае. Мы пользуемся ее оппозиционным настроением, потому что это полезно и нужно для революционного дела. Когда это настроение исчезнет, мы, разумеется, перестанем пользоваться им,—на нет и суда нет,—но все дает основание думать, что тогда на смену буржуазии на историческую сцену выйдет другой деятель, уже теперь довольно громко дающий знать о своем приближении: к р е с т ь я н с т в о». Так как крестьянство, по схеме Плеханова, должно выступить на авансцену борьбы лишь во вторую очередь, то Плеханов в своей тактике избегает лозунгов, могущих отпугнуть буржуазию от революции, а свою критику буржуазии отодвигает на задний план, заменяя ее уговариванием и подчеркиванием предстоящей ей положительной роли в революции. Крестьянство же, очередь которого сменить буржуазию в качестве двигателя революции, еще не пришла, он берет под огонь, подчеркивая не революционную сторону его движения, а его половинчатость, в известной степени реакционный его характер. Вот несколько примеров: В воззвании «Письма рабочим» (т. XV) Плеханов дает лозунг «Весь народ должен единодушно поддержать думу», мотивируя его тем, что к а д е т с к а я, б у р ж у а з н а я д у м а д о б и в а е т с я с в о б о д ы д л я в с е х и з е м л и д л я к р е с т ь я н с т в а». Трудность, по мнению Плеханова, состоит не в том, чтобы осознать противоположность интересов пролетариата и буржуазии. Сознание этой противоположности приобрело уже прочность предрассудка, мешая, как всякий предрассудок, построению правильной тактики. Трудность состоит в том, чтобы, сознавая эту противоположность на почве капиталистических отношений, суметь оценить положительную сторону либерального движения в буржуазной революции и суметь использовать его в интересах пролетариата (т. XV, стр. 95). Поэтому мы, критикуя буржуазию, должны избегать «крепких слов», во-первых, а, во-вторых,—«мы не должны выставлять против буржуазии незаслуженные или преждевременные обвинения. Такие обвинения не только не приближают нас к нашей цели, но отдаляют нас от нее. Вообще политический такт—великое дело, и о нем надо особенно часто вспоминать тогда, когда речь заходит о тактике» (Письма о тактике и бестактности, письмо 1-е, т. XV, стр. 99). Дело доходит до того, что м а р к с и с т П л е х а н о в у г о в а р и в а е т б у р ж у а з и ю п о с т а в и т ь н а в т о р о й п л а н с в о и к л а с с о в ы е и н т е р е с ы, в ы д в и н у в н а п е р в ы й о б щ е н а р о д н о е д е л о. «Я полагаю, что «Речь» очень хорошо напомнила своим читателям о том, «ч т о е щ е р а н о з а б о т и т ь с я о с в о и х к л а с с о в ы х и н т е р е с а х и ч т о н е о б х о д и м о п р е ж д е в с е г о о б е с п е ч и т ь о б щ е н а р о д н о е д е л о, н и с к о л ь к о н е о г р а ж д а е м о е с у щ е с т в у ю щ и м и л и ш ь н а б у м а г и п р а в а м и». Если читатели «Речи» согласятся с этим, то они непременно должны будут высказаться за созыв Учредительного Собрания, потому что при нынешних наших условиях нет и не может быть другого средства сколько-нибудь серьезно «оградить общенародное дело». Ведь новая Дума может быть так же разогнана, как была разогнана старая. Ведь только представители самодержавного народа могут не бояться интриг револю-

ционной камарильи» («Общее горе», т. XV, стр. 163). Подчеркнутая в цитате фраза «принадлежит самой кадетской «Речи», Плеханов захотел воспользоваться ею для того, чтобы уговорить кадетов внести в свою программу пункт об Учредительном Собрании. Но кадетам сам бог велел говорить надклассовые фразы; у марксиста же превращение такой фразы в аргумент свидетельствует о доктринерской в е р е, что буржуазия, в самом деле, в одной из самых поздних ее революций, накануне наступления эры ее крушения, способна до конца итти с народом. Надо ли говорить, что прятание Плехановым революционных концов своих лозунгов в карман и благочестивое уговаривание кадетов пропадало втуне. Даже в «Выборгском воззвании» кадеты лозунга Учредительного Собрания не внесли, и само это воззвание они отменили на ближайшем своем с'езде, землю народу они даже на словах не хотели вернуть, шли к правительству на поклон и т. д. и т. д. Плеханов сам вынужден был признать, что «вина партии народной свободы состоит в том, что она сама боится полного торжества свободы» (т. XV, стр. 195). И, тем не менее, с усердием, достойным лучшей участи, он продолжал по кадетам равнять свои лозунги, в ожидании второй ступени движения», когда их можно будет, наконец, развернуть во всей их революционной чистоте.

Уговаривая кадетов, Плеханов считал крестьянство резервной силой революции, которое в будущем, на второй ступени, сыграет выдающуюся роль, но которое пока еще достаточно не раскачалось, да, пожалуй, и особой надобности в немедленной раскачке которого еще нет. В будущем первоначально все еще не крестьянским представителям, а кадетской партии «суждено играть очень немаловажную политическую роль»,—писал Плеханов даже после разгона I Думы. Кроме того, если буржуазия реакционна, по мнению Плеханова, только по отношению к будущему, к социалистическому движению, то крестьянство имеет реакционные черты и по отношению к прошлому, к самому капитализму. Отсюда его обвинение по адресу большевиков, что в параллель к бестактной и преувеличенной критике либеральной буржуазии они идеализируют крестьянство, подчеркивая революционную сторону крестьянского движения. Плеханов тоже не отрицает революционной роли крестьянства, ее партии—трудовиков, н о т о л ь к о в б у д у щ е м. А пока он рекомендует на ближайший этап движения главные усилия партии приложить для критики крестьянства и трудовиков. «Трудовая» партия, конечно, «л е в е е» (курсив наш.—В. К.) кадетов, но по отношению к нам она, несомненно, стоит на правой стороне. В настоящую минуту мы должны с особенным вниманием к р и т и к о в а т ь е е (курсив Плеханова.—В. К.)... скажу больше. Так как мы до сих пор недостаточно критиковали эту партию,—... то вред отчасти уже принесен: путаница отчасти уже проникла в умы пролетариев» («Новые письма о тактике и бестактности», письмо 1-е, т. XV, стр. 202). Слово «левее» Плеханов берет в кавычки, подчеркивая этим условность, относительность левизны трудовиков даже с кадетами, он не боится оттолкнуть трудовиков—ибо прежде всего их очередь еще не пришла для решающей роли. Но, и подчеркивая б у д у щ у ю революционность крестьянства, Плеханов сужал значение ее в революции тем, что он вообще самую возможность революционной роли считал для крестьянства редким исключением. Он ссылался при этом на Маркса и Энгельса, впервые нарисовавших действительную природу мелкого буржуа, указавших на присущую ему экономическую реакционность: «наемный рабочий—н о в а т о р по своему общественному положению; трудовой крестьянин—к о н с е р в а т о р или даже ре-

акционер в силу своего положения. В этом смысле Маркс и Энгельс и написали в своем манифесте, что крестьянин, подобно мелкому промышленному производителю, стремится «повернуть назад колесо истории». Мы переживаем теперь тот, в высшей степени замечательный и, можно сказать, до крайности редкий исторический момент (курсив наш.—В. К.), когда крестьянское стремление «повернуть назад колесо истории» становится источником общественного прогресса. Потому крестьянин и должен быть поддержан партией, представляющей интересы класса новаторов по преимуществу, класса наемных рабочих. Но он должен быть ею поддержан именно в той мере, в какой историческая диалектика делает его стремление повернуть назад колесо истории фактором прогрессивного развития. И, поддерживая его, к нему необходимо относится с критикой потому, что его стремления и теперь отличаются двойственным характером» (ibid., 205). Это верно, что крестьянство, пока оно существует как крестьянство, отличается двойственным характером. Но в то же время Маркс, как на самую вескую гарантию решительной победы пролетарской революции, рассчитывал на об'единение вокруг пролетариата крестьянства для общего революционного натиска и во Франции и в Германии. А в эпоху империализма «до крайности редкое» исключение революционной роли крестьянства опирается на такие об'ективные экономические условия, что не будет большой ошибкой сказать, что оно превращается во всеобщее правило. В момент же напора сил демократической революции главные усилия критики пролетариата обращать иа реэкционность крестьянства есть лииия на разоружение революции.

Считая крестьянство зрелой революционной силой лишь в будущем, Плеханов, естественно, должен был принижать степень политического развития крестьяиства иа реальио разворачивавшихся этапах революции. Поэтому он предлагал для крестьян выставлять иные, более умеренные, лозунги, чем в городе... «В крестьяистве, очевидно, не могут быть примеиимы те тактические приемы, которые миогим из нас кажутся вполие целесообразными в городе. Допустим, что тактика бойкота Гос. Думы... была иа самом деле наилучшей тактикой при данном настроении городов. Но по отношению к деревне это допущение, очевидио, невозможио. Всякий понимает, что при своей страшной политической иеразвитости крестьянство совершенно неспособно было бы понять идею бойкота, и всякий должен понять также, что при умелом воздействии иа ход волостных выборов мы могли бы вызвать целый ряд таких столкновений крестьян с администрацией, которые в короткое время создали бы сознательную оппозицию в деревне. Этого одного было бы достаточно для того, чтобы отказаться от бойкота. А, кроме того, надо помнить, что выборная агитация в деревне выдвинула бы на сцену аграрный вопрос, обострение которого сразу придало бы революционный оборот всему делу. Если уж дорожить громким словом «бойкот», то можно сказать, что лучшим средством бойкотировать идею Булыгинской Думы было бы составление крестьянских наказов, говорящих выборщикам, чтобы они выбирали только тех людей, которые согласились бы на передачу земли в руки народа и на созвание Учредительного Собрания, имеющего задачей урегулировать и узаконить эту передачу. От такого «бойкота» Булыгинская Дума разлетелась бы в щепки, между тем, как если бы мы захотели разгонять собрания крестьянских выборщиков, то от этого произошло бы только умножение черных сотен»

(«Наше положение», т. XIII, стр. 350). Плеханов не предлагает приноровлять формы революционной агитации в зависимости от конкретных местных условий; он не выдвигает для деревни один подход, для города другой, в целях завоевания деревни и города для общей борьбы. Он предлагает для деревни лозунги, менее зрелые, менее революционные, ибо, видите ли, деревня страшно отстала. В городе, где действует пролетариат и либеральная буржуазия, очередь которой пришла для завоевания власти, там можно действовать смелее, предлагать более полные лозунги, непосредственно призывать к замене правительства революционным Учредительным Собранием. А вот деревня, чья очередь в революции еще не пришла, к ией нужно обращаться осторожнее, с промежуточными, урезанными лозунгами, подводя ее к выдвижению на сцену аграрного вопроса, к пониманию того, что от теперешнего правительства, от бесправной, невластной Думы земли не получишь. Это в то время, когда в деревне бушевало аграрное движение с максимальными запросами, когда Булыгинская Дума была в самом деле сметена активным бойкотом,—дальнейшим под'емом революционного движения («Наше положение» писалось после октябрьского манифеста, накануне выборов в I Думу).

«Опыт масс» у Плеханова стоял в зависимости от мертвого следования ступеней его схемы, смены классов во главе революции. Поэтому бросать в массы лозунг окончательного столкновения, всеобщей стачки и восстания можно было, лишь заручившись поддержкой «общества», —т.-е. либеральной буржуазии, в первую голову. «Всеобщая стачка могла быть у нас удачной лишь в случае такого столкновения пролетариата с реакцией, которое обеспечивало бы стачечникам самое широкое сочувствие «общества» (т. XV, стр. 9). «Пролетариат пойдет в бой не тогда, когда это удобно будет г. Столыпину, а лишь тогда, когда удобно будет для него самого. А для него самого это удобно будет **только тогда** (курсив Плеханова.—В. К.), когда революционное настроение овладеет всем народом и значительной частью войска. И дело, очевидно, идет к этому. Нужно только, чтобы «общество» поддержало усилия революционеров. Если «общество исполнит свою обязанность так, как, наверное, исполнят ее революционеры, то уже недолго придется нам ждать того времени, когда нынешнее наше «общее горе» станет для нас источником общей радости» (ibid., стр. 167). Во втором отрывке Плехановым дано и другое его условие соответствия лозунга опыту масс. Это резкое различение предварительного созревания и последующего действования. Сначала нужно агитацией, пропагандой, примерами невозможности добиться каких бы то ни было улучшений умеренными средствами, подвести **весь народ** к мысли о неизбежности восстания. В противоположность Ленину Плеханов разделял политическую и боевую «техническую» подготовку восстания. Первая у него предшествовала во времени второй.

«По нашему мнению, — говорил Плеханов на Стокгольмском с'езде,—положение дел таково: только силой народ может вырвать права у тупых сторонников реакции, но эта сила пока еще не достигла надлежащих размеров, ее надо увеличивать путем агитации, поэтому наша резолюция обращает главное внимание на необходимость революционной агитации, с другой стороны, наши противники полагают, что момент для решительного столкновения уже наступил, поэтому в их резолюции главное место отводится технической подготовке к восстанию; в этом и заключается различие наших взглядов. Резолюция так называемых «большевиков» прямо говорит, что во-

оруженное восстание является в настоящее время не только необходимым средством борьбы за свободу, но уже фактически достигнутой ступенью движения; я решительно отрицаю это... нам надо подготовлять население к нашему военному делу (т.-е. к вооруженному восстанию.—В. К.), а этого не сделаешь технической подготовкой; для этого необходима широкая революционная агитация» (Ваганян, стр. 482).

Время для непосредственного вооруженного выступления определялось у Плеханова гарантией на успех, полученный предварительным распропагандированием большинства народа, войска и общества. Гарантия на успех —это второй критерий зрелости масс у Плеханова, критерий соответствия лозунгов опыту масс. Именно этот критерий продиктовал Плеханову получившие столь печальную известность слова: «Несвоевременно начатая политическая забастовка привела к вооруженному восстанию в Москве, в Сормове, в Бахмуте и т. д. В этих восстаниях наш пролетариат показал себя сильным, смелым и самоотверженным. И все-таки его сила оказалась недостаточной для победы. Это обстоятельство нетрудно было предвидеть. А потому не нужно было и браться за оружие» (т. XV, стр. 12). Ошибками Плеханов считал также и не вполне удачные пооктябрьские стачки. Не так оценивал эти события Ленин. Нужно было браться за оружие, ибо это было единственным средством поднять движение на высшую ступень, после того, как мирная стачка исчерпала себя в качестве средства борьбы, снять с очереди вопрос о восстании, перенести центр тяжести работы в профессиональные союзы, в органическую работу в Думе, в поддержку кадетского лозунга,—ответственного министерства,—это значило признать законченным революционный период. А ведь сам Плеханов, как мы видели, считал вполне вероятным новый взмах и, возможно, победоносный движения. Успех, которого Плеханов хотел добиться н а в е р н я к а одним ударом, был невозможен без предварительных частичных боев, из тяжелых уроков которых, несмотря ни на что, выяснялась слабость правительства, ненадежность его войска, возможность победы,—и на основе опыта которых зрела победа революции.

Считая, что массы могут дорасти до понимания неурезанных революционных лозунгов лишь из учета опыта фактического пребывания либеральной буржуазии у власти, что очередной задачей революции является доведение либералов до овладения этой властью, Плеханов, естественно, искал таких лозунгов, которые, с одной стороны, не отпугивали бы либералов от революции, а с другой —и при осуществлении данного лозунга в его либеральном понимании давали бы ему возможность играть роль оппозиции и требовать перехода революции к ее следующей ступени. В «Гласном ответе одному из читателей «Т о в а р и щ а» Плеханов следующим образом мотивирует свой лозунг «полновластной Думы: «Это—общая формула, в которую каждая партия будет на место а л г е б р а и ч е с к и х знаков ставить желательные ей определенные а р и ф м е т и ч е с к и е величины. Кадеты не могут представлять себе полновластную Думу так, как должны представлять ее себе социал-демократы. Но и тем, и другим н у ж н а полновластная Дума. Поэтому и те, и другие обязаны бороться за нее. И заметьте, что именно потому, что это общая формула в своем алгебраическом виде совершенно точно выражает самую насущную теперь,—и для «левых» (т.-е. для к.-д.), и для «крайних левых»,—политическую задачу, она даст нам возможность и тем, и дру-

гим сохранить всю полноту всех остальных своих политических и социальных требований. Становясь на ее точку зрения, вовсе нет надобности предварительно «урезать» эти остальные требования. Нет надобности потому, что полновластное народное представительство само есть предварительное условие осуществления всех отальных политических и социальных требований всех передовых партий. Без него ни одно из них не осуществится. Когда оно будет налицо, тогда начнется борьба за подстановку в общую алгебраическую формулу величин, и тогда левые партии станут в боевой порядок против крайних левых партий. Но теперь у нас вместо полновластной Думы есть пока только полновластный г. Столыпин. Поэтому теперь и левые, и крайние левые партии обязаны вместе выступать против тех, которые не хотят полновластного, а, пожалуй, и вовсе никакого народного представительства. Это ясно, как дважды два четыре» (т. XV, стр. 333). Это вовсе не было ясно. Это было слишком хитроумно. Один и тот же лозунг должен был быть орудием привода «левых», т.-е. кадетов, к власти, и должен был подготовить рабочие и крестьянские массы к революции против кадетов. У кадетов этот «алгебраический» лозунг вызывал лишь одно недоверие, среди них он мог сеять лишь иллюзии в реальность затеянной правительством конституционной игры. Тогда когда вопрос о революции, о восстании не был снят с порядка дня, он психологически разоружал массы, отвлекая их от пути революционного действования к сентиментальным упованиям по адресу Думы, находившейся всецело в руках правительственной камарильи. В результате, никто не стал трудиться подставлять арифметические величины под плехановский «алгебраический знак». Его не приняли ни кадеты, ни пролетариат.

Так же неправ был Плеханов с другой формулировкой, по сути дела, того же лозунга,—в требовании поддержки рабочей партией кадетского лозунга «ответственное министерство». Плеханов писал: «Одно из двух. Или быстро увеличивающиеся силы революции уже теперь переросли силы правительства, и в таком случае требование ответственного министерства может и должно послужить сигналом для решительного боя с реакцией. Или же сила революции еще не переросла силы сопротивления государства, и тогда решительный бой еще неуместен; но и тогда названное требование должно быть поддержано, как прекрасное воспитательное средство, развивающее политическое сознание народа и тем самым подготовляющее его для победоносного боя в будущем. Стало быть, и в том и в другом случае с.-д. депутаты не могут не сделать указанное требование своим в интересах народа, в интересах революции» (т. XV, стр. 309).

Ленин давал следующую оценку приведенному ходу мыслей Плеханова: «Доросли силы революции или не доросли, а плехановский лозунг во всяком случае «доросшим» до сознания социал-демократического пролетариата считать нельзя. Этот лозунг приносит в жертву коренные интересы демократии и всей нашей революции—просвещение масс на счет задач реальной борьбы народа за реальную власть—приносит их в жертву временным, случайным, побочным, путаным либеральным лозунгам, задачам и интересам. А в таком принесении в жертву коренных задач пролетариата половинчатым и спутанным задачам либерализма и состоит сущность оппортунизма в тактике» (Ленин, т. VIII, стр. 232).

Большевиков же и Ленина, трезво учитывавших силы и размах русской революции, и на основе этого учета не свертывавших своих

революционных лозунгов, Плеханов обвинял во всех смертных грехах: и в бакунизме, и в бланкизме, и в немудреной тактики сатирического генерала Реада, знавшего один лишь тактический завет: ну-т-ка, ребятки, на ура. Как же было ему Ленина не обвинять в неожиданном возрождении бакунизма, если Ленин, по его мнению, предлагал средства борьбы, народу непонятные, за осуществление которых могли браться лишь интеллигентские заговорщики, чурающиеся самодеятельности масс, если в его лозунге революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства он видел не только перепрыгивание через необходимых ему для полноты схемы кадет, но даже синоним диктатуры пролетариата. А между тем, именно Ленин сумел показать беспримерное искусство приспособления лозунгов к конкретной обстановке, к действующим силам, к ступени сознания масс. Плеханов, в доказательство неправоты Ленина, приводил его ошибку с бойкотом I Думы, свою своевременную критику этой ошибки. Но эта маленькая правота Плеханова тонула в насквозь ошибочном пути, которым он пришел к этой своей малюсенькой правоте. Частичная ошибка Ленина свидетельствовала лишь об ошибке в определении темпа разворачивания правильно познанных сил и характера русской революции. Такую ошибку было легко исправить—и Ленин очень быстро её исправил. Правота же Плеханова была совершенно случайной; она вытекала из неправильного понимания законов русской революции. Вся последующая наша история показала, что концепция Плеханова шла вне основного потока событий. Не Плеханов, а Ленин сумел применить на деле, и в отступлении, и в наступлении марксистское требование о неотрывной связи авангарда революции с действующими в ней массами.

Указанная схема не дала возможности Плеханову определить характер движения сил русской революции. Фальшивая схема съела гениальное предвидение, сделанное самим же Плехановым, что русская революция победит, имея во главе движения пролетариат, или вовсе не победит. Естественно, что та же схема закрывала для него перспективы дальнейшего развития революции в случае ее победы. Из «Обращения» ЦК Союза коммунистов в марте 1850 г. Плеханов вычитал лишь, что Маркс не рекомендовал партии пролетариата участие в демократическом правительстве в случае победы революции в Германии. Но Маркс не мог даже ставить этого вопроса, ибо пролетариат почти не имел организации. Силы его были распылены, Союз коммунистов, как таковой, фактически не функционировал, а члены его работали в рядах демократической левой. При таких обстоятельствах участвовать в мелкобуржуазном правительстве пролетариат мог лишь в положении Луи Блана. Представители пролетариата были бы майоризированы представителями мелкой буржуазии. Но Маркс и Энгельс совершенно не предписывали в «Обращении» правил на вечные времена. Они вообще не выдвигали в нем вопроса об участии в правительстве демократического переворота как особую проблему. Из «Обращения» нельзя было черпать прямых указаний на поведение партии такого пролетариата, который играет роль гегемона в демократической революции. Вопрос об участии в правительстве при такой ситуации надо было решать самостоятельно, при помощи анализа марксовым методом конкретного переплета взаимоотношений классов. Эту задачу и выполнил Ленин; резюме его решения дано им в лозунге революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. Вычитав из «Обращения» ненаписанное там запрещение участвовать во временном рево-

люционном правительстве, Плеханов в то же время выкинул написанную в «Обращении» перспективу и тактику на перерастание демократической революции в социалистическую. Плеханов ссылался при этом и на самих Маркса и Энгельса, признавших революцию in Permanenz ошибочной. Но мы уже видели, что основоположники марксизма признали ошибочной не тактику перманентной революции, а предлагавшийся ими срок ее применения. Отказавшись от перманентной революции по Марксу, Плеханов разгородил китайской стеной, непроходимыми гранями э т а п ы своей схемы. Насколько Плеханов терял способность понимать Маркса, вследствие своих тактических ошибок, видно из того, что он ставил знак равенства между перманентной революцией по Марку-Энгельсу и перманентной революцией по Парвусу-Троцкому. Маркс «смотрел тогда на будущее Германии почти так, как еще недавно смотрел у нас Парвус на будущее России» (т. XV, стр. 410).

В то же время он, так же как Троцкий и Парвус в 1905 году, склонен был считать, что пролетариат в своей собственной социалистической борьбе предоставлен своим собственным силам, является изолированным и не имеет союзников из других классов населения. «На Западе пролетариату приходится рассчитывать т о л ь к о н а с в о и с о б с т в е н н ы е с и л ы; он не может надеяться на какую-нибудь серьезную революционную поддержку со стороны других классов; о н и з о л и р о в а н (курсив Плеханова.—В. К.). А наш пролетариат, борющийся за такое дело, в торжестве которого заинтересованы также и другие классы населения, пока еще не изолирован, он пока еще может встретить деятельную помощь со стороны некоторых других классов» («Еще о нашем положении», т. XV, стр. 9). Значит, и русский пролетариат, когда наступит час борьбы за осуществление его собственных классовых целей, окажется изолированным, предоставленным собственным классовым силам. Как видите, Троцкий, далеко разошедшийся с Плехановым в своих выводах, в некоторых существенных пунктах своей аргументации сходился с ним довольно близко.

По Плеханову, каждая волна революции, победив, должна была приостановиться и прекратить свой дальнейший бег. Поэтому новая волна движения, характеризуемая главенством нового общественного класса, должна была начинаться по прошествии ряда лет, как отдельная, начинавшаяся со своего собственного самостоятельного начала, революция. Плеханов не понимал, а потому был против перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. А между тем, и по Ленину, и по Марксу, первая революция не отделяется от второй китайской стеной. При известном обязательном минимуме экономического развития переход первой во вторую зависит от размаха движения, от конфигурации взаимного расположения классов. Поэтому Маркс рекомендовал рабочим пред'являть д е м о к р а т и ч е с к о м у правительству требования, в которых массы были заинтересованы, но которые выходили уже за пределы существующего порядка вещей. В случае отказа от этих требований, демократы компрометировали себя перед массами; в случае своего согласия на них, сами выходя за пределы буржуазных отношений, они в то же время по своей мелкобуржуазной природе не были способны проводить начатые мероприятия последовательно и решительно,—и опять-таки компрометировали себя и перед буржуазией, и перед пролетариатом. В том и другом случае пред'явление демократическому правитель-

ству социалистических требований ускоряло приход пролетариата к власти и начало подлинной социалистической революции.

Совершенно в согласии с Марксом строил Ленин свою тактику в 1917 году, когда к правительству, претендующему на звание революционно-демократического, пред'явил требование на проведение таких мероприятий, которые, не являясь еще социализмом, в то же время являлись шагом вперед от капитализма; эти требования взрывали временное правительство и подготовляли Октябрьскую победу.

А правильную тактику в 1917 году Ленин потому мог построить, что совершенно правильно ставил вопрос еще в 1905 г. «У революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства есть, как и у всего на свете, прошлое и будущее. Ее прошлое—самодержавие, крепостничество, монархия, привилегия. В борьбе с этим прошлым, в борьбе с контрреволюцией возможно «единство воли» пролетариата и крестьянства, ибо есть единство интересов.

Ее будущее—борьба против частной собственности, борьба наемного рабочего с хозяином, борьба за социализм. Тут единство воли невозможно. Тут перед нами не дорога от самодержавия к республике, а дорога от мелкобуржуазной демократической республики к социализму.

Конечно, в конкретной исторической обстановке переплетаются элементы прошлого и будущего, смешиваются та и другая дорога. Наемный труд и его борьба против частной собственности есть и при самодержавии, он зарождается даже при крепостном праве. Но это нисколько не мешает нам логически и исторически отделять крупные полосы развития. Ведь мы же все противополагаем буржуазную революцию и социалистическую, мы все безусловно настаиваем на необходимости строжайшего различения их, а разве можно отрицать, что в истории отдельные частные элементы того и другого переворота переплетаются? Разве эпоха демократических революций в Европе не знает ряда социалистических движений и социалистических попыток? И разве будущей социалистической революции в Европе не осталось еще много и много доделать в смысле демократизма» (Ленин, т. VI, стр. 360).

Ленин умел и различать социалистическую революцию от буржуазной, и правильно понимать их взаимоотношение.

Непонимание Плехановым—или, лучше сказать, непризнание им марксистским—вполне обоснованной еще Марксом возможности перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую вело его к добавочным ошибкам при построении им программных требований для революции 1905 года. Плеханов понимал, что в требовании национализации земли нет ничего утопического, ничего несовместимого с развитием капиталистических отношений. Но он считал, что революция, дойдя до своего крайнего демократического предела, приостановится, сделает паузу, потеряет возможность итти вперед. Но приостановка революционного развития вперед не есть, однако, при наличии классов и классовой борьбы, застой, состояние полного покоя. Если Плеханов считал совершенно исключенным после победы революции пятого года движение вперед, к диктатуре пролетариата, то он, на основании уроков прошлых революций, да и по самой логике классовой борьбы, должен был считать весьма вероятным и даже не-

неизбежным изменения вспять, возвращение уже было свергнутых классов вновь к власти.

«Ленин рассуждает так,—говорил он на Стокгольмском с'езде,—как будто та республика, к которой он стремится, будучи установлена, сохранится на вечные времена, и в этом заключается его ошибка... Я знаю историю французской революции, и говорю: нам нужна такая программа, которая была бы подкована на все четыре ноги; наша обязанность заключается в том, чтобы довести до минимума вредные последствия реставрации». Плеханов, как видите, считал передвижения власти вправо, после победы революции, неизбежными. Для него вопрос обстоял лишь в ослаблении этого неотвратимого процесса. Об этом Плеханов писал и настаивал настойчиво и многократно. После Стокгольмского с'езда он вновь подымает тот же вопрос в 4-м письме «Новых писем о тактике и бестактности». Указывая на то, что аграрная программа большевиков связана с осуществлением их лозунга: революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства, он писал: «А когда им указывают на то, что такая диктатура ни в каком случае не могла бы быть теперь окончательной, и когда их спрашивают, каковы были бы политические последствия осуществления их аграрной программы после того, как наступила бы неизбежная реакция (курсив наш.—В. К.), они отвечают, обвиняя спрашивающих в маловерии, в оппортунизме, в урезывании политической программы и в прочих смертных грехах» (т. XV, стр. 269). Отсюда его поиски гарантий от реставрации. Революция в одной стране не дает абсолютных гарантий от реставрации. Ее относительными гарантиями являются движение вперед, каждое последующее завоевание революции делает более прочным ее предшествующее завоевание, максимальный об'ем революционных достижений оставляет место для маневрирования, для отступления, перегруппировки сил и подготовки дальнейшего наступления. Не считая на основе своей безжизненной схемы возможными гарантии этого рода, Плеханов ухватился за муниципализацию земли, эту неудачную выдумку Маслова. Сосредоточение всех земель в руках государства усиливает мощь центрального правительства,—рассуждал Плеханов. В случае прихода к власти реакционного правительства, национализация послужит в его руках мощным орудием для восстановления старых экономических отношений. Между тем, муниципализация, сосредоточив землю в руках демократически выбранных органов местного самоуправления, ослабит возможность реставрационных попыток со стороны реакционного центра. Все это рассуждение основано на целом скопище вопиющих ошибок. Реакционная центральная власть может в два счета разогнать демократические самоуправления,—одним этим все хитроумные масловско-плехановские гарантии разлетались, как мыльный пузырь. Но подоплекой всей этой искусственной, надуманной программы муниципализации было представление об обязательном прерывистом развитии революции, о невозможности для нее расти вперед и неизбежности, вследствие этого, попятных движений после ее победы.

Чем же, однако, об'яснить, что Плеханов, несомненно, обладавший выдающимися способностями к диалектическому мышлению, в революции 1905 г. оказался во власти мертвой, безжизненной схемы. Мне думается, что этих причин (в основном) две. Плеханов слишком долго пробыл в эмиграции. Он уехал в свое подневольное изгнание слишком рано: два с половиной десятилетия прожил он вне России, до того, как стали осуществляться его предвидения о характере массо-

вого революционного движения в России. Он начинал худо понимать, худо чувствовать все своеобразие положения в России. Сравните отклики на революцию со стороны Ленина с плехановскими: как богаты первые быстрым реагированием на события, как они насыщены фактами, пониманием принципиального значения на взгляд как будто даже незначительных событий; а, между тем, вся сила статей Плеханова в аргументации от Маркса. И, несмотря на изумительное временами искусство, развиваемое Плехановым в этой аргументации, в ней был коренной дефект: у Плеханова оборвались нити, связывающие Маркса с живой действительностью; марксизм из руководства действием превращался у него в мертвую догму. Мы уже говорили, что Плеханов в спорах с большевиками любил ссылаться на свою статью «Что же дальше?», написанную в 1901 г. Когда ему указывали, что нужно постановку вопроса, данного в самой общей теоретической его формулировке, применять к конкретной ситуации, он отвечал: «И опять скажу вам, товарищи-бланкисты, ие попадайте впросак, не кричите: «Теперь не та ситуация». Эта моя статья тоже имела в виду не «ситуацию» 1901 года. Она указывала иа то, как следует вести себя в будущем, во время той великой драмы, начало которой я тогда отметил и которая совершается теперь перед нами. Моя статья наперед учитывала,—любимое ваше словечко,—имеино ныиешиюю иашу ситуацию» (3-е письмо о тактике и бестактности, т. XV, стр. 114). Это было написано в марте 1906 года. И эта тирада вскрывает тяжелую беду Плеханова. Он вынужден был, чтобы ориеитироваться в событиях, справляться ие столько с самими событиями, сколько своими старыми статьями. Для политического вождя это очень тяжелое положение.

В пятом году ои руководился приицfolder-ипами, выработанными им еще в восьмидесятых годах, примеияя их в иовых условиях в неизмененном виде. Мы стремились показать, что предпосылками плехановской тактики было требоваиие различеиия буржуазной и социалистической революции и осуждеиия бланкистского способа действования в революции. Сравиите оба эти положеиия с III главой «Социализма и политической борьбы». Оба они там выражеиы в совершенно закончениой форме. Поучая народовольцев, Плеханов раз'ясияет, что «диктатура класса, как иебо от земли, далека от диктатуры группы революциоиеров-разиочинцев», что в революции одиой из самых опасных ошибок является ошибка преувеличеиия своих сил. Плеханов раз'ясняет той среде революционеров, которую он вчера только перерос, характер предстоящего в России переворота и задачу деятельности в нем для передовой рабочей партии. «Таким образом, борьба за политическую свободу, с одной стороны, и подготовка рабочего класса к его будущей самостоятельной и наступательной роли,—с другой, такова, по нашему мнению, постановка партийных задач, единственно возможная в настоящее время. Связывать в одно два таких существенно-различных дела, как низвержение абсолютизма и социалистическая революция, вести революционную борьбу с расчетом на то, что эти моменты общественного развития **совпадут** в истории нашего отечества, — **значит отдалять наступление и того, и другого**» (Плеханов, т. II, стр. 80).

Оба эти положения, обращенные против народовольцев, свидетельствовали о поднятии русского социализма и русского революционного движения на новую, неизмеримо более высокую, ступень. Но обращение той же аргументации против большевиков, против Ленина

свидетельствовало уже об утере понимания характера новой русской действительности, с одной стороны, о перенесении на большевиков типических черт русского революционного народничества, с другой. А что аргументация была совершенно та же, признавал сам Плеханов. Набрасывая содержание ближайшей политической программы русских социалистов, Плеханов писал все в том же «Социализме и полит. борьбе»: «Не пугая никого далеким пока «красным призраком», такая политическая программа вызывала бы к нашей революционной партии сочувствие всех, не принадлежащих к систематическим противникам демократии; вместе с социалистами под ней могли подписаться очень многие представители нашего либерализма». Место это Плеханов во 2-м издании названной брошюры, уже на основании опыта событий пятого года, снабдил следующим примечанием: «Сочувствие «общества» для нас очень важно, и мы можем,—точнее: у нас было много шансов,—приобрести его, ни на йоту не изменяя своей программе. Но, разумеется, для перехода этой возможности в действительность необходим такт, которым мы не всегда обладаем. Вот, например, мы иногда пускаемся ругать «капитал» как раз по тому поводу,—хотя, конечно, и не за то,—что он «бунтует». Маркс никогда не сделал бы такой грубой тактической ошибки. Он нашел бы, что она достойна Карла Грюна и других «истинных социалистов» (т. II, стр. 83).

Ориентироваться в быстрой смене изменений, происходящих в положении классов во время революции, представляет значительные трудности для всякого политического деятеля. «Ясная картина экономической истории данного периода не может быть приобретена, пока этот период еще не завершился: она приобретается лишь потом, post festum, когда уже собран и просеян материал. Статистика является здесь необходимым вспомогательным средством, а она плетется всегда позади. Поэтому по отношению к текущей современной истории слишком часто приходится рассматривать фактор, имеющий наиболее решающее значение, как постоянный, экономическое положение, сложившееся к началу изучаемого периода, как постоянное и неизменное для всего периода; или же приходится обращать внимание лишь на такие изменения в экономическом положении, которые вытекают из явных, несомненных событий и потому так же ясны и несомненны, как сами эти события. Материалистический метод вынужден поэтому слишком часто ограничиваться сведением политических конфликтов к борьбе интересов между классами общества и фракциями классов, которые уже даны к начальному моменту исследования, уже созданы экономическим развитием, и рассматривать отдельные политические партии как более или менее адекватные выражения этих самых классов и их фракций. Само собой понятно, каким источником ошибок является неизбежное игнорирование одновременно происходящих изменений экономического положения этого истинного базиса всех исследуемых событий» (Энгельс, Введение к «Борьбе классов во Франции»). Плеханов же, вследствие долгого, слишком долгого изгнания, начинал терять чутье даже к «явным, несомненным событиям», он переставал чувствовать, «как пахнет жизнь». Ведь после ярких проявлений контрреволюционности буржуазии на деле, после думского опыта, Плеханов, не воспринявший этого осязательно, для которого факты предательства буржуазии были только фактами частной полемики, все еще продолжает долбить о революционной роли буржуазии.

При этом отрыв его от понимания русской действительности начался значительно раньше пятого года, в спорах с Лениным по про-

граммным вопросам, в оценке понимания марксизма Лениным, в его организационном оппортунизме. В пятом году факт отрыва Плеханова от России лишь вскрылся с огромной убедительностью. Это понималось в рядах русской социал-демократии. Плеханову приходилось лично сталкиваться с подобным об'яснением своей позиции. В ответ он иронизировал над теми людьми, которые ставят понимание событий в зависимость от географического расстояния от событий.

А затем надо вспомнить, что Плеханову первому пришлось выдержать борьбу с реакционным утопизмом народников, ему первому пришлось применить против них, при оценке тех или иных тактических мероприятий, критерий, выражающийся в вопросе,—а не помешает ли данное мероприятие развитию капитализма в России, не является ли он рациональным в экономическом смысле. Но Плеханов оказался в положении человека, не диалектически преодолевшего народнический этап нашего революционного движения, а ставшего по отношению к нему в антитетическую отрицательную позицию. Ему начинали чудиться народнические черты, бакунистские пережитки, народовольческие тенденции там, где их и в помине не было. В «Что делать?» Ленина Плеханов увидел ни более, ни менее как приспособленную к новым временам, к моде на марксизм, старую народническую теорию героев и толпы. «Во взгляде Ленина мы видим не марксизм, а,—прошу прощения за некрасиво звучащее слово, — бауэризм, новое издание теории героев и толпы, исправленное и дополненное сообразно рыночным требованиям самоновейшего времени» (т. XIV, стр. 133). А между тем опыт русского революционного народничества вовсе не пропал задаром, бесследно. Революционное народничество было одним из этапов выкристаллизовывания понимания значения крестьянства в нашей революции и вообще в революциях пролетариата. Перед глазами же Плеханова, там, где он встречал выводы, вытекающие даже из марксистского осмысления положения крестьянства и крестьянской борьбы, немедленно вырастал старый народнический враг. Воспоминания о жестокой борьбе, которую пришлось выдержать против народничества, против его утопизма, его экономической реакционности, марксизму, для утверждения своего права на существование, мешало ему оценить революционное содержание крестьянского движения, одним из выражений которого было народничество. Плеханов переоценивал реакционность крестьянства в демократической революции и недооценивал его революционность. Плеханов механически переносил прогрессивную роль капитализма на самую буржуазию. Всякая критика его ошибок в этом направлении со стороны большевиков ассоциировалась в его голове с воспоминаниями его славной и сокрушительной полемики с бакунистами, с народниками, с Михайловскими. Он преследовал старого врага там, где его и в помине не было. Отсюда его борьба против Ленина, как против бакуниста, обвинения его в непонимании зависимости политики от экономики, задач буржуазной и социалистической революции, в противопоставлении социализма массе, в замене широкой классовой борьбы узким кружковым и интеллигентским политиканством.

Плеханов, чувствовавший себя и по призванию, и по праву вождем русского пролетариата в его освободительной борьбе, оказался несостоятельным в своей тактике уже в первой русской революции. Судьба выкинула его из России тогда, когда рабочий класс только показался на арене русской истории. Долгая эмиграция, отрыв от

русского пролетариата, оказали свое воздействие на Плеханова. Для него лично это было его бедой. Но это не умаляет заслуг Плеханова, как теоретика русского и международного марксизма. В заключение нам остается лишь напомнить следующий отзыв Ленина о Плеханове, сделанный им в предисловии брошюры Каутского о движущих силах и перспективах русской революции: «Теоретические работы Плеханова,—главным образом, критика народников и оппортунистов,— остаются прочным приобретением социал-демократов всей России, и никакая «фракционность» не ослепит человека, обладающего хоть какой-нибудь «физической силой ума», до забвения или отрицания важности этих приобретений. Но, как политический вождь русских социал-демократов в буржуазной революции, как тактик, Плеханов оказался ниже всякой критики. Он проявил в этой области такой оппортунизм, который повредил русским социал-демократам-рабочим во сто раз больше, чем оппортунизм Бернштейна—немецким, и с этой кадето-образной политикой Плеханова, вернувшегося в лоно изгнанных им в 1899 — 1900 гг. из с.-д. партии гг. Прокоповичей и К°, мы должны вести самую беспощадную борьбу».

# Первые встречи с Г. В. Плехановым.

*Влад. Бонч-Бруевич.*

## I.

В 1896 году самодержец всероссийский Николай II возымел, наконец, желание устроить то шутовское действие, которое называется коронацией. По заветам своих предков он должен был совершить сие обязательно в Москве, в Кремле, в Успенском соборе. А потому, задолго до приезда в первопрестольный град этого еще не коронованного дуралея, недавно прославившегося мастерским гонянием голубей в Крыму по крышам Ливадийского дворца, когда его почтенный родитель был при последнем издыхании, умирая от сильнейшего злоупотребления спиртными напитками и, несомненно, от того толчка, который он получил при крушении царского поезда под Горками.

Коронация царственного недоросля Николая II сулила, конечно, великие и богатые милости черносотенцам, дворянам и попам и жестокие скорпионы и преследования всем сколько-нибудь заподозренным в политической, революционной деятельности, находящимся так или иначе на примете у Охранного отделения. Общественная Москва учитывала надвигающееся тревожное время, и уже в феврале, в марте 1896 года, гораздо ранее, чем обыкновенно, начался летний разъезд, многие и многие спешили перебраться в отдаленные места провинции, чтобы не попасть в черные списки и не быть высланными под надзор полиции туда, куда заблагорассудится Охранным отделениям Москвы и Петербурга. В Москве тогда работало несколько социал-демократических групп, имевших хорошие связи в рабочей среде. У нас, кроме того, была заведена техника нелегального изготовления мимеографов, а также техника для печатания прокламаций, воззваний и пр. Совершенно понятно, что мы боялись, что перед коронацией, когда будут чистить Москву, все это попадет в руки полиции, и мы спешно свертывали дела или переносили их в такие укромные места, где бы они могли спокойно перестоять это тревожное время царственных торжеств. Изобретатель русских мимеографов Л. П. Радин спешил закончить описание своего изобретения, чтобы разослать его по всем организациям вместе с образцами краски, парафиновой бумаги и кое-куда, в наиболее крупные революционные центры, самих мимеографов, так как он очень боялся, что его неожиданно накроет полиция в конспиративной квартире, где была устроена мастерская, и все его долгие усилия в этом деле пропадут. Кое-кто из наших сотоварищей уезжал в Орел, в Тулу, в Рязань, в Саратов,—лишь бы подальше от Москвы. Я давно собирался ехать за границу,—мне хотелось там поучиться, тем более, что туда отправлялась доучиваться В. М. Величкина, с которой я дружил, и которая пропустила два года своего ме-

дицинского образования, так как была арестована полицией по народоправческому процессу в 1894 г., сидела в тюрьме и после находилась под гласным надзором. В 1896 г. ей неожиданно разрешили ехать за границу. Издав два издания «К критике политической экономии» К. Маркса», я видел, что почва становится подо мной слишком горяча, ибо я принимал участие в нескольких с.-д. кружках и, помимо пропагандистской деятельности, занимался транспортировкой нелегальной литературы, получая из Питера книжки, выходившие, главным образом, из-под пера Владимира Ильича («Рабочий день», «О штрафах» и пр.), вообще все то, что печаталось в нелегальной типографии «народовольцев 4-го листка» (так называемая Лахтинская типография), где, между другими, работал М. С. Ольминский.

Мне выдали заграничный паспорт без препятствий, и в начале мая мы двинулись за границу, имея целый ряд поручений от наших с.-д. московских организаций к политической с.-д. эмиграции, сосредоточенной в Швейцарии.

Приехал я в Цюрих и дня через два, через три был у П. Б. Аксельрода и преподнес ему мое издание работы Маркса, о котором он еще не слышал и был крайне обрадован, увидав его...

В рассказах о России я, между прочим, упомянул ему, что у меня есть непосредственные поручения к Г. В. Плеханову. Аксельрод предупредил, что за Георгием Валентиновичем сильно следят и что нам нужно быть очень осторожными в Женеве, так как русская колония там очень пестрая.

Через несколько дней в Цюрих приехала наша знакомая студентка из Москвы, совершенно невинная в политических вопросах, далеко стоявшая от всяких движений и знавшая только лишь свою медицинскую учебу. Она должна была привезти Вере Михайловне юбку, которую ей передала мать Веры Михайловны. Та, конечно, очень охотно выполнила это поручение, решительно ничего не подозревая. В подол юбки была вшита особая «хартия вольностей», как ее после назвал Г. В. Плеханов. Это был почти в две четверти ширины кусок белого коленкора, длины не менее двух аршин, на котором четким ровным почерком, рукою Л. П. Радина, был написан химическим карандашом отчет о рабочем движении в Москве того времени, заканчивавшийся огромным списком тем, на которые мы, москвичи, хотели видеть в нелегальной печати статьи, брошюры, книжки. Белый коленкор с той стороны, где было все это написано, был зашит тщательной мелкой строчкой черной тончайшей материей, и в таком виде вшит в подол юбки, так что при рассматривании на свет или при случайном просвечивании через наиболее тонкое, редкое место юбочной материи, ничего нельзя было видеть, что написано на белом коленкоре. Вера Михайловна искренно расцеловала свою подругу, когда та передала ей этот для нас драгоценный «подарок матери», и сейчас же повесила юбку в шкаф, а так хотелось вскрыть ее тут же, сию минуту, так как мы наверное знали, что в ней имеются сведения и для нас, о нашей организации, об ее работе. Но мы уже и тогда, несмотря на наш юный возраст, достаточно были революционно выдержаны и умели нетерпение держать в своих собственных руках.

Как только мы, напоив чаем, выпроводили нашу милую посетительницу, мы сейчас же бросились к нашему сокровищу, и Вера Михайловна стала тщательно расшивать подол этой действительно драгоценной юбки. Наконец, все в наших руках! Мы читаем и читаем, и радуемся, что то, что так нужно и важно для нашей организации, для

удовлетворения наших теоретических запросов,—все тут у нас, и вот еще день, еще два и все это будет в руках главы Группы «Освобождение Труда», того Плеханова, которого мы не только уважали, но пред которым преклонялись, ценили каждое слово, сочинения которого открывали нам глаза, просвещали нас и безудержно двигали на путь истинно революционной борьбы, на путь организации рабочего класса.

Мы решили через несколько дней поехать в Женеву.

Я не находил себе места,—так волновался я от одной мысли, что вот совсем на-днях я увижусь с Георгием Валентиновичем.

И вот мы в Женеве. Живая французская речь, южное солнце, так и сверкавшее по лазоревым водам чуть-чуть колыхавшегося Женевского озера, и эти чистые, прекрасные улицы, и эти мостики и переходы через реку, и эти чайки, сотнями носящиеся над водой, то ныряющие в волнах, то скользящие по блестящей поверхности, то реющие в воздухе и издающие пронзительные, призывные клики,—все это мне, москвичу, в первый раз попавшему за границу, казалось изумительно прекрасным, вольным, свободным... В Женеве нас встретила давнишняя знакомая Веры Михайловны студентка О. П. Санина, которая, как мне уже было известно, давно и хорошо была знакома с Георгием Валентиновичем, часто бывала в его семье и знала весь их уклад жизни.

Мы условились, что О. П. Санина пойдет сначала одна к Г. В. Плеханову и спросит у него, когда он желает, чтобы мы, приехавшие к нему из Москвы с особым поручением, пришли, и куда именно. Вера Михайловна уже ранее знавала Георгия Валентиновича, и она послала ему привет, а я передал книжку К. Маркса, мною изданную, с моей надписью Георгию Валентиновичу, где я высказал ему мои к нему чувства, как первоучителю марксизма в России.

— Да тащите вы их сейчас же ко мне!—воскликнул Г. В. Плеханов, рассказывала нам О. П. Санина, как только он узнал, что мы приехали к нему из Цюриха, имея поручения из Москвы.

— «Zur Kritik»!... Великолепно!—говорил он, быстро просматривая книжку...—И даже предисловие цело!.. Это прекрасно! Крепко пожму руку нашему молодому издателю!..—радовался Георгий Валентинович.—Вот, Ольга Поликарповна, дожили мы с вами до прекрасного времени: у нас все свое. Вот и книги свои, и издатели свои, и журналы, и газеты, будут свои и организации, и партии,—все будет свое! И революция будет своя!.. Да что вы сидите! Сейчас же идите за ними!

— Жорж, вам нужно отдохнуть! Вы что это развоевались!.. — строго и мило сказала Розалия Марковна, здороваясь с Саниной.

— Ну, что вы, Розалина Марковна, какой здесь отдых?.. Товарищи из России приехали, из самой Москвы... а вы с отдыхом!—точно оправдывался Георгий Валентинович, разглаживая усы и поблескивая орлиными глазами.

— Очень приятно и очень хорошо видеть прибывших товарищей, но в восемь часов... Вы так много работали, так плохо смотрите и так сильно кашляете, что для вас отдых обязателен... Не правда ли, Ольга Поликарповна? Ведь вы сами почти что врач,—разве вы со мной не согласны?

— Вполне согласна! Я и товарищей уже предупредила, что ранее восьми часов нельзя итти к Георгию Валентиновичу.

— Ну уж если две женщины заодно, да еще два врача,—отшучивался Георгий Валентинович,—то тут ничего не поделаешь. Такую атаку и Наполеон не мог бы выдержать...

— Так вот вы и не теряйте время и отправляйтесь спать!..

— Ну, что с вами будешь делать!.. Ослушаться нельзя... Мы сами провозгласили почти что матриархат, предоставив слишком много прав женщинам...

— Вы обвиняете нас в тирании... Не правда ли? Но ведь эта тирания не из тяжелых... — шутливо бросила Розалия Марковна.

И Георгий Валентинович, распростившись с О. П. Саниной, скрылся за дверью.

II.

Все это мы узнали от Ольги Поликарповны, вскоре вернувшейся. Она очень близко жила от Плехановых. В ее комнатах мы с нетерпением дожидались ее. Она подробно рассказала нам об этом своем посещении Плеханова, и каждое ее слово западало мне в душу раз и навсегда: я и теперь все это помню так же отчетливо, как будто бы это было вчера. О. П. Санина запросто и частенько бывала у Плехановых, и мы просили ее рассказывать нам о нем, о его семье все, что она знает. Она познакомила нас с его тяжелым материальным положением, которое только в последнее время несколько улучшилось. Розалия Марковна, окончившая врачем в Женевском университете, приступила к врачебной практике и получила возможность обзавестись скромной квартирой и той минимальной обстановкой, без которой за границей нельзя принимать больных у себя на дому.

— В этом году Георгий Валентинович, наконец, стал больше зарабатывать как литератор, выпустив в России книгу Бельтова «К вопросу о монистическом взгляде на историю», за которую он получил что-то около тысячи рублей, что составляло для Плехановых целый капитал. Но совсем еще недавно,—говорила она нам, — Плехановы ужасно нуждались, и их маленькая дочка Маня, любимица Георгия Валентиновича, погибла, конечно, более всего от плохого питания. Бывали нередко случаи, когда старшие дети уходили в школу без завтрака, получая один цикорный кофе без хлеба, когда они должны были в грязную осеннюю погоду ходить в рваных ботинках и простуживаться, имея от природы очень хрупкое здоровье. Ведь отец-то их Георгий Валентинович туберкулезный, и если бы не Розалия Марковна, этот действительный товарищ и опекун его, то Георгий Валентинович наверное давно погиб бы. Не говоря уже о том, что материальные заботы, главным образом, лежали до самого последнего времени почти целиком и полностью на ней, так как работы Георгия Валентиновича в то время печатались только в свободной русской прессе за границей, где, конечно, ничего не платили авторам. Розалии Марковне было очень трудно,—молодому врачу,—недавно окончившему университет,—пробивать себе дорогу практикующего врача. Мещане и мелкие женевские буржуа, среди которых приходилось практиковать Розалии Марковне, косо смотрели на эту русскую эмигрантку, жену страшного анархиста, высланного из Женевы и проживавшего в то время в французской деревушке Морнэ (Mornez), находившейся как раз почти у самой границы Швейцарии в близком расстоянии от Женевы. Именно здесь поселились Георгий Валентинович и Вера Ивановна Засулич, куда в скором времени установилось паломничество лучшей части русской колонии, так как поехать и навестить «морнейских философов» сделалось необходимой потребностью для той молодежи, которая уже тянулась к социал-демократии, все более и более покидая омертвелые ряды народников.

Георгий Валентинович в это время,—в начале девяностых годов,—когда ему было около 35 лет от роду, был в полном расцвете своих сил. Блестящий оратор, все более и более проникавший в глубину познания гегелевской диалектики, учения Маркса и Энгельса, он жадно впитывал в себя огромные знания, претворяя их своим могучим умом в те концепции, которые нужны были ему для пропаганды революционного марксизма на русской почве. Имея друзей,—и личных, и политических,—он был окружен кольцом политических противников, буквально ненавидевших его и в то время группировавшихся в Женеве возле эмигранта народника Ивана Ивановича Добровольского, крайне нервного, вспыльчивого и неуравновешенного человека, позволявшего себе и на публичных рефератах, и в кружках, и через знакомых обесславливать и порочить доброе имя Георгия Валентиновича Плеханова. Не обращая на личные выпады никакого внимания, Георгий Валентинович не оставался в долгу у своих идейных противников, и, будучи чрезвычайно остроумным, находчивым и совершенно несравненным полемистом, он не только идейно опустошал своих оппонентов, показывая всю устарелость, реакционность и утопичность их взглядов, но и приводил их в полное отчаяние, переходившее в исступление, до такой степени уничижал он их как группы, как личности, как представителей отживающих поколений и учений... Дело доходило до того, что друзья Георгия Валентиновича не раз опасались за его жизнь, и его охраняли на собраниях не только русские, но и болгары, которые были верными его учениками, во главе которых стоял Раковский. Его Георгий Валентинович особенно выделял и особенно любил как талантливого, образованного, молодого революционера, подававшего большие надежды. Но в это время,—рассказывала нам О. П. Санина,—случилось одно обстоятельство в жизни Георгия Валентиновича, которое страшно потрясло его, состарило, сгорбило...

Младшая дочь Плехановых, Маня, неожиданно заболела. Болезнь сразу определилась, как весьма серьезная. Ребенок слег. Георгию Валентиновичу стало сейчас же известно о болезни его любимицы. Он тотчас же приехал нелегально в Женеву. Розалия Марковна принимала все медицинские меры, но Маня горела, впадала в забытье. Установили воспаление мозговых оболочек, вероятней всего, на почве туберкулеза. Наука была бессильна, лечение тщетно. Маня впала в бессознательное состояние и вскоре умерла. Тяжело, трудно было смотреть на Георгия Валентиновича. Розалия Марковна страдала ужасно, плакала, и эти слезы, может быть, облегчали ее, а он был молчалив, спокоен, тверд, но это спокойствие, это отсутствие внешнего выражения глубочайшего душевного страдания было еще ужасней, еще трагичней. За эти дни он постарел на десять лет, осунулся, сгорбился. Огромные орлиные глаза ввалились в глубокие орбиты и светились такой страдальческой жалостью, что трудно себе представить то титаническое напряжение воли, которое он должен был проявлять, чтобы не плакать, не рыдать, не отчаиваться. Он был как-то по-особенному трагически нежен с Розалией Марковной и утешал ее глубокими, задушевными словами,—рассказывала нам О. П. Санина.—Георгий Валентинович был на редкость заботлив с детьми в эти дни отчаяния. Теперь, через несколько лет, он опять воспрянул духом. Политические, литературные, революционные, творческие начала его жизни, бьющие ключем из этого глубочайшего и чистейшего родника, взяли перевес над всем остальным, и он опять и жив, и весел, и смел, и горд, и остроумен.

— Вы сейчас его увидите и, конечно, будете им очарованы,— закончила глубоко уверенно О. П. Санина, надевая шляпу и приглашая нас последовать ее примеру. И, действительно, было пора. Мы все вышли и пошли к квартире Плехановых, условившись с Саниной, что она уйдет к Розалии Марковне, так как у нас имеются конспиративные поручения к одному лишь Георгию Валентиновичу.

III.

Вот мы у дверей квартиры Плехановых. Звоним.

— А я вас жду!—сказал, сам отворяя дверь, Георгий Валентинович.—Пожалуйте!

Мы вошли.

Выше среднего роста, одетый в светловатый пиджак, быстрый, но не суетливый, приветливый и величавый в жесте, Георгий Валентинович говорил громко, отчетливо, ясно, с прекрасной дикцией, говорил художественно просто, пересыпая разговор шуткой, остротой... Просто, по-товарищески, пригласил он нас сесть, и я вгляделся в эту длинную, узкую комнату, сплошь и всюду заваленную книгами, которые стояли на полках, лежали на стульях, на диване, грудами в углах... На письменном столе виднелись те, которые читались,—они были раскрыты,—заложены закладками, бумажками, карандашами, разрезным ножом. Тут же на столе груда рукописей...

— Давно ли пожаловали к нам?—обратился он ко мне.—Я вчера просматривал ваше издание, за которое не могу не принести вам искреннюю благодарность. Перевод хорош... А как же цензура? Пропустила? Это удивительно.

Я подробно рассказал ему все те муки, которые мне пришлось пережить с цензурой, и я указал ему на то, что выкинуто в предисловии.

— Жаль, каждое слово Маркса жаль выкинуть, но что поделаешь? Выкидка этих автобиографических сведений не повредила главному, основному и чрезвычайно важному, что изложено в этом гениальном предисловии, и оно, конечно, наделает много дела среди революционной, среди социал-демократической молодежи.

Я рассказал ему к этому, что уже наделал Бельтов по всей России. Георгий Валентинович слушал и не проронил ни одного слова, и ни один мускул не дрогнул в его лице. Он долгое время тщательно скрывал, что Бельтов, это—он, так как боялся конфискации книжки, и только далеко позднее, когда в печати кто-то разболтал и раскрыл псевдоним Бельтова, так же, как и Волгина, он откликался на разговоры о его псевдонимах.

Георгий Валентинович стал тщательно расспрашивать нас о России, о процессе народоправцев, об аресте Веры Михайловны, и, когда мы заявили ему, что приехали прямо из Москвы и имеем поручения к нему от наших с.-д. организаций, он прямо вцепился в нас и стал самым подробнейшим образом расспрашивать обо всем: о способах пропаганды и агитации, о кружках, о программах занятий, о стачках, сходках, о нелегальной печати: он еще не видел тогда ни брошюры «О штрафах», ни брошюры о «Рабочем дне», ни «Ткачей» Гауптмана, изданных также нелегально. Я все рассказал ему, умолчав лишь о мастерской мимеографов, упомянув об их существовании, но не вдавался в подробности. Георгий Валентинович был в восхищении. Он требовал от меня самого подробного описания квар-

тир рабочих, их быта, жизни, описания их внешности, способа разговора, перечисления вопросов, которые они задавали, чем интересуются, что читают, и вообще все-все, что только можно было рассказать о жизни московского пролетариата. Он воодушевился, глаза его блестели и он еще как-то лучше, нежней стал относиться к нам. Мы сказали ему, что наши поручения от московских с.-д. организаций сводятся более всего к тому, что необходимо наладить транспорт нелегальной литературы, и что в высшей степени нужно организовать какое-либо периодическое издание, в котором можно было бы печатать сведения о текущих событиях, корреспонденции, статьи на злобу дня, «что-то в роде газеты»,—сказал я ему.

— Газета!—Да ведь это наша заветная мечта! Вот мы теперь начинаем помимо сборников «Работника» издавать «Листки Работника», где будем печатать текущий материал, но все это не то.

— Я говорил об этом Павлу Борисовичу,—сказал я Плеханову,—но он и слушать не хочет про газету... Говорит—хлопотно, трудно, денег нет... Ничего не выйдет...

— Ах, Павел, Павел!—воскликнул Плеханов.—Его совершенно губит кефир!..—и он умолк.

Павел Борисович Аксельрод, чтобы кормиться, открыл со своей семьей маленькое кефирное заведение в Цюрихе, где должен был физически работать, встряхивая ежедневно несколько сот бутылок, и жестоко жаловался, что эта работа, при его плохом здоровье и крайней утомленности, совершенно выбивает его из колеи и мешает ему заниматься творчеством и революционной работой.

Георгий Валентинович редко нападал на сочленов своей Группы «Освобождение Труда», и здесь он быстро умолк, однако не оставляя развивать мысль о нелегальной периодической с.-д. печати.

— Помимо периодической печати нам необходимо от вас и другое,—заметила Вера Михайловна.

— А именно?

— Нам нужна более серьезная литература на множество животрепещущих тем, по линии которых идут споры, где нужен нам теоретический багаж и, кроме того, популярное изложение всего этого для рабочих.

И Вера Михайловна развязала пакет и раскинула перед Плехановым коленкоровый свиток, недавно полученный нами из Москвы.

— Это что такое?—воскликнул он.—Это какая-то «хартия вольностей»!

— Это отчет московских организаций для вас и Группы «Освобождения Труда», который пригодится вам на всемирном конгрессе, а внизу лично для вас: темы, на которые нам нужны книги.

Георгий Валентинович с восхищением впился в этот коленкор, быстро прочитывал его, восклицая: «хорошо!», «прекрасно написано», «дельно», «ясно»... Это превосходно! Видал ли это Павел?

— Нет... Это предназначалось вам лично, и мы не считали возможным показывать эти материалы кому-либо, кроме вас.

Георгий Валентинович радовался,—он был польщен самой жизнью, для него было дорого и это внимание, и эти сведения, и эти запросы...

— Все это требуется написать. Да этого всю жизнь не напишешь! Да здесь нужно было бы Маркса, Энгельса, Каутского, всех нас, да еще и еще людей... И то вряд ли справились бы... Вот по истории социализма вскоре выйдет у Дитца работа Каутского, Бернштейна и

других, «Geschichte des Socialismus», прекрасная книга в нескольких томах, ее бы перевести на русский язык, да попробовать издать в России.

Я сказал ему, что у меня имеются большие планы на издание в России марксистских книг, и что я очень надеюсь на его содействие и руководство в этом деле.

Георгий Валентинович подробнейшим образом стал расспрашивать меня об этом деле. Я сказал ему, что вскоре у меня должна появиться книжка Гумиловича «Социология и политика» в переводе С. Н. Прокоповича и книжка Камифмейера «Из немецкой деревни» в переводе Е. Д. Кусковой, и что я намечаю к изданию большой список книг, и что я просил бы его разрешить подробно ознакомить его с этим делом. Он с величайшей охотой согласился все это обсудить.

Узнав, что мы пробудем в Женеве еще с неделю, Георгий Валентинович сейчас же распределил время.

На другой день он читал лекцию в русской колонии,—свои воспоминания о русском рабочем и революционном движении в восьмидесятых годах. Он пригласил нас его слушать.

— Но только мы сделаем вид, что мы не знакомы,—сказал он,— а Ольга Поликарповна в перерыве нас познакомит публично при всех. Студенты у меня часто бывают, и на это шпионы его величества мало обращают внимание, а вот за теми, кто из России прямо приезжают ко мне, за теми послеживают и надоедают, так что вы лучше никому не говорите, что были у меня, да и вообще помните, что здесь шпионство сильно развито, и будьте очень осторожны в знакомствах.

Потолковав еще, мы, наконец, вняли стуку в дверь О. П. Саниной, живо и дружески распрощались с Георгием Валентиновичем, который пригласил нас к себе.

В это время вышла к нам О. П. Санина вместе с полноватой женщиной, на лице которой лежала печать заботы, а характерная, сильная складка между бровей говорила, что она обладает крепкой волей и настойчивостью.

— Роза, прости меня, я так заговорился, что не представил тебе наших московских товарищей! — и Георгий Валентинович галантно познакомил нас с Розалией Марковной, разом повеселевшей, добродушно и мило улыбавшейся.

— Хорош хозяин! Это называется гостеприимство... Продержал товарищей целый вечер и даже чаем не напоил... Что они, москвичи, подумают о нас!

— Верно, верно, Розалия Марковна, виноват, но заслуживаю снисхождения,—мы упивались водой живой, которая молодит, веселит, дает новые силы жизни...

И мы, шутя и балагуря, приятно расстались, обязательно желая увидеться завтра на лекции, а после завтра—у них в доме и непременно за чайным столом.

— Розалия Марковна! Помните это!—перешел от обороны к нападению веселый, жизнерадостный Георгий Валентинович.

И мы расстались... Мы шли домой зачарованные общением с этим обаятельным, изумительным человеком, который, благодаря проклятому царизму, должен был страдать, терпеть и не иметь возможности развернуться во-всю,—там, далеко за границей, где этот великан человеческого творчества нередко метался, почти изнемогая от тех неблагоприятных обстоятельств, которые давили на него со всех сторон.

IV.

На другой день вечером, в условленный час, мы с новыми нашими женевскими знакомыми, молодыми русскими социал-демократами, отправились в библиотеку русской колонии, где Георгий Валентинович должен был прочесть лекцию. Молодежь валила со всех сторон, и чувствовалось, что среди местного студенчества Г. В. Плеханов очень популярен. Когда собралось изрядное количество народа и небольшая зала читальни была до отказа наполнена слушателями, вошел Георгий Валентинович, скромно, но изящно одетый, и, раскланиваясь со знакомыми, шутя и перебрасываясь остроумными словечками, протискался в дальний угол, где стоял стол, за которым он и расположился. Быстро выбрали председателя собрания, который и предоставил слово Георгию Валентиновичу.

Он встал, и зал разразился рукоплесканиями.

Свободно, громко и отчетливо стал рассказывать Георгий Валентинович свои воспоминания о революционном движении его времени, более всего останавливаясь и подчеркивая моменты массовых движений и его личных связей с рабочими, что так прекрасно изложено им в его брошюре «Русский рабочий в революционном движении». В его речи заключалась какая-то особая прелесть, тот пафос, то художественное творчество, которое, возвышая его самого, захватывало слушателей. Речь, всегда насыщенная обширными знаниями, глубоким анализом, речь, стремящаяся к обобщениям и выводам, с необходимыми экскурсами в философию вопросов, невольно увлекала вас на высоты человеческого знания, исканий и энтузиазма. Острота полемики ставила к тому же ребром злободневные политические вопросы, а их никогда не упускал из вида при всех своих выступлениях Георгий Валентинович, почему его рефераты всегда собирали не только единомышленников, но и противников. Все эти характерные особенности его рефератов, лекций и выступлений делали то, что каждый раз его появление на кафедре составляло большое событие в жизни местной русской колонии, и очень часто эти выступления Георгия Валентиновича выходили из рамок местной аудитории и превращались в большое политическое событие не только среди русских социалистов всех направлений, но и переходили грани русских европейских колоний. Таковы, например, его знаменитые выступления против анархистов, где с ним сражались представители этого направления различных народов, и из чего выросли его знаменитые статьи об анархизме, изданные отдельной книжкой, которые так ценил Владимир Ильич, и которые он так хотел переиздать в 1918 году, в дни бесшабашного разгула анархических групп в Москве и в Петрограде.

Таковы его выступления против Бернштейна и всех ревизионистов теории Маркса и Энгельса; таковы его лекции и рефераты о теории познания, диалектике и марксистской философии, которые он после печатал отдельными статьями в журнале «Neue Zeit» и издал отдельной книгой на немецком языке; таков его курс лекций об искусстве, впервые прочитанный в Лозанне, а потом отчасти в Цюрихе, явившийся первой основой в его искусствоведении, приложении методов марксизма к вопросам искусства и литературы.

На рефератах молодежь забрасывала Георгия Валентиновича вопросами по поводу прочитанного им и всегда здесь выявлялись все те же проклятые вопросы: «Что делать?», «Как быть?», «Куда итти?», «Как бороться?», «Как организоваться?». Он, чутко прислушиваясь

ко всему, конечно, должен был отвечать на все крайне осторожно, абстрактно, теоретически, так как было вне всякого сомнения, что на этих собраниях и рефератах всегда присутствовали шпионы и агенты Охранного отделения, зорко приглядывавшиеся ко всем, отмечавшие каждое, неосторожно брошенное, слово, которое могло бы поднять хоть краешек завесы, скрывавшей конспиративную, революционную с.-д. организацию. Если кто-либо затрагивал какой-либо теоретический вопрос, как бы он ни был наивен или глубок, Георгий Валентинович с величайшим вниманием выслушивал и ясно и подробно отвечал на него. Он относился ко всем этим запросам, как настоящий просветитель масс, и никогда не уставал самым подробным и популярным образом раз'яснять и раз'яснять все интересующее, звать и звать к изучению теории марксизма, так как,—говорил он,—без основательного знания теории никогда не может быть настоящей, хорошей, нужной пролетариату практики, и, наоборот, могут быть совершенно непоправимые, роковые ошибки. Когда появился экономизм, рабочедельство, ревизионизм и все другие так дорого стоившие нашей партии ошибки и заблуждения, мы неоднократно вспоминали эти пророческие слова Плеханова, всегда требовавшего для хорошей, революционной практики углубленного, вдумчивого, хорошего отношения к теории марксизма при непрерывном ее изучении и совершенствовании.

В своих ответах, если ему встречалась необходимость полемизировать с противником, он был неумолим и беспощаден, разбирая и разоблачая оппонента до конца, до самого последнего предела, и все это совершал он в изумительно красивой, заражающей форме, не вызывавшей сомнения, а всегда привлекавшей к себе огромное внимание и сочувствие обширной аудитории.

Долго не стихали споры и обмен мнений после каждого выступления Плеханова. Можно действительно было сказать, что его рефераты и лекции, его книги всегда бывали поворотными пунктами в области марксистского знания той эпохи, и они двигали умы тысяч людей в одном и том же направлении, подвигая их и к теоретическому познанию, и к практическому осуществлению заветов революционного марксизма в области организации рабочего класса, в области классовой борьбы пролетариата, с заклятым врагом всяческой свободы—с царским самодержавием прежде всего и больше всего.

## V.

В перерыве на лекции О. П. Санина вновь познакомила нас с Г. В. Плехановым, и мы, после лекции, вышли с ним вместе, окруженные толпой знакомых Георгия Валентиновича, и он предложил всем нам зайти к Ландольту—освежиться и выпить по кружке пива. Мы, конечно, охотно подхватили призыв Георгия Валентиновича и шумной толпой вошли в это политическое женевское кафе, где вечером всегда собирались многие местные политические деятели вперемежку с политическими эмигрантами всех стран. Здесь узнавались последние политические новости, совершались знакомства, здесь спорили, здесь предварительно подсчитывали голоса на предстоявших выборах. В этой товарищеской среде, в кругу молодежи, Георгий Валентинович был чрезвычайно мил. Он был не только центром внимания, но и центром веселья. Анекдоты, шутки, остроты так и сыпались из-за его столика, и он умел сделать так, что все были довольны, ко всем был внимателен, учтив, по-товарищески прост, зорко следя, нет ли

здесь кого-либо совершенно постороннего, неизвестного, дабы не навлечь на кого-либо из молодежи подозрения и преследования при возвращении в Россию за знакомство с ним, этим страшным эмигрантом, которого так преследовали шпионы и соглядатаи всех стран и национальностей. Незаметно скоротали мы этот вечер и распрощались с Георгием Валентиновичем, чтобы увидеться с ним на другой день у него в доме.

## VI.

Ровно в пять часов дня на другой день мы были уже у Плехановых. Нас встретила радушная, но сдержанная, Розалия Марковна и провела к себе в комнату, где был накрыт чай. Георгий Валентинович сейчас же вышел к нам.

— Ну, и требования же вы мне привезли, это изумительно! Не знаю, будет ли что написано на эти темы, но один факт запроса показывает мне, как далеко уже шагнули наши товарищи там, в Москве. Меня очень радуют особенно два запроса: «Хотя бы краткое изложение, — как тут написано, — марксистской философии, а в скобках (диалектики)». Вот эти скобки особенно для меня приятны: кто не знаком с диалектикой, тот не обладает методом марксистского мышления, тот всегда будет недоучка, дилетант, знающий только вершки, общие места марксизма без настоящей философской почвы в нем...

— Ну, уж вы скажете, Жорж,—вмешалась Розалия Марковна,— вы готовы всех превратить в философов. Мне так и кажется, что все должны ходить с толстейшими книгами, которые я поднять у вас со стола не могу, где изложены все философии от сотворения мира, и изучать их с утра до ночи... Поразительное зрелище!.. Вы слишком увлекаетесь!.. Нельзя же быть всем учеными мужами и профессорами?..

— Вот тут и боритесь за теорию, за обязательность всех марксистов знать свою собственную теорию в совершенстве. Я о диалектике, а они—нельзя быть всем философами,—и это так всегда и везде,—особенно женщины, ведь так же на меня нападает и Вера Ивановна, только вот Любовь Исаковна—поддерживает...

— Да уж Любочка, конечно, с вами... Ей стакан кофе подаешь, а она о вещи в себе толкует, и обо всем остальном забывает... Я ей:— да вы ешьте... и так истомлены ужасно... а она, куда там, о протяженности материи или еще о чем-то таком премудром, что и не вспомнишь... А Георгия Валентиновича хлебом не корми, только бы о философии поговорить... Конечно, все это очень важно, я вполне это признаю,—вдруг перешла с шутливого на очень серьезный тон Розалия Марковна,—но думаю, когда у нас поголовная неграмотность, то все эти блюда для избранных, а массы хоть бы грамоте научить...

— Да ведь я же говорю о марксистах,—застонал Георгий Валентинович,—о той теоретической группе, которая должна здесь все знать, чтобы обосновывать нашу мысль, наши знания, наши научные требования, из которых и вытекает вся наша практическая программа. Вот вы говорите о школах. А ведь у нас в гимназиях преподают логику. Почему не предположить, что наступит время, когда на этих уроках будут знакомить нашу молодежь не только с принципами аристотелевской логики, но и с диалектикой. Я могу представить такое время, раз мы победим самодержавие..

Смотрите, как все растет. Вот мы только что напечатали нашу программу на русском языке,—Группа «Освобождение Труда» основана не так давно, а вот пишут: изложите нам принципы марксистской этики! Хотят знать,—что хорошо, что дурно, что можно, что нельзя и что должно. Все это кажется очень просто, а на самом деле это очень сложно и трудно. Ведь мы на все смотрим по-особенному, с классовой точки зрения, да еще с точки зрения борьбы классов, в результате которой должно осуществиться бесклассовое общество, пройдя через труднейшую и жесточайшую эпоху диктатуры пролетариата, где будут самые ужасные бои рождающегося общества со всем старым миром. Во все эти эпохи мы должны руководиться нашей, классовой, точкой зрения, и именно точкой зрения класса, а не личностей, членов этого класса, которые, конечно, будут нести в себе в значительной мере все недостатки, привычки, ухватки, вожделения, чаяния старого буржуазного мира, с которыми мы будем отчаянно бороться, как с тем, что надо отсечь, выкурить из рабочего класса, сильного, крепкого, здорового, как класс, несмотря на болезни и недостатки, носителями которых нередко являются отдельные личности, члены этого же могучего и молодого класса. Зараза разлагающегося старого общества, конечно, в известной степени, и иногда в значительной, поражает и отдельные личности из пролетарской среды и даже целые группы. Достаточно вспомнить южно-германскую католическую партию, где попы об'единили вокруг себя множество людей и среди них более 900 тысяч рабочих, но, несмотря на это, классовое сознание пролетариата, в конце концов, выковывается как одно могучее целое. В этом кроется своя собственная диалектика, скрытое внутреннее противоречие, которое разрешается переходом от психологии и этики личности к психологии и этике групповой, —наша партия, — и, наконец, к психологии и этике всего класса, рабочего класса одной страны, и психологии и этике пролетариата всего мира. Тут возникает бездна вопросов: один вопрос,—вопрос войны и мира,—он столь значителен, что и его хватило бы на целую книгу. Как быть и что было нужно делать германской социал-демократии, находящейся в непримиримом противоречии с германским правительством, державшим рабочих Германии под исключительным законом, в то время когда Александр III угрожал придвинуть к немецкой границе стотысячные орды кочевников и казаков и бросить их, подражая Чингис-хану, в Германию, чтобы предать потоку и разграблению все культурные страны. Казалось бы, нам и думать было нечего заодно с германскими патриотами и юнкерами, но крайности всегда сходятся, и Бебель,—непримиримый Бебель, трибун германского рабочего класса,—воскликнул на конгрессе: если бы это действительно случилось, если бы восточные орды с русскими казаками во главе, перешли бы нашу границу и бросились бы разрушать нашу культуру, я первый взял бы винтовку и пошел бы сражаться против них. Вот, видите, какие орехи дает нам история, и мы должны их раскусить, ничуть не колебля наши принципы, нашу классовую точку зрения. Вон Каутский давно взялся за социалистическую этику, работает очень много над этими вопросами, но еще очень далеко то время, когда он решится выпустить свою книгу: все эти вопросы краеугольны. Они поставлены всюду, и как хорошо, что наши молодые товарищи начинают с того, что выдвигают их во весь рост, значит мы мыслим, значит наше марксистское сознание работает.

— Вот мы и думаем начать издавать, что только удастся в России, из мировой марксистской литературы,—сказал я ему, и познако-

мил с тем, что было у меня уже сделано в этой области, и что хотелось бы сделать.

Георгий Валентинович обещал мне составить список книг, годных и нужных для перевода, рекомендуя сделать решительно все, лишь бы издавать и издавать в России работы Маркса и Энгельса отдельными брошюрами, отдельными главами, под псевдонимами, без фамилий,—это все равно,—говорил он,—публика разберется, лишь бы как можно больше дать марксистских знаний нашей стране. Георгий Валентинович подробно стал рассказывать нам, как с.-д. Дитц организовал в Германии огромное издательство, в котором издается все лучшее из марксистской литературы и которое делает огромное, мировое культурное дело. Другой пример он находит еще более разительным, принимая во внимание размеры и общую культуру страны. Он подробнейшим образом и с какой-то особой любовью рассказывал нам о деятельности болгарского издательства с.-д. Благоева, который действительно проявил невероятную энергию в деле социалистического просвещения своей страны. Не было, кажется, ни одного сколько-нибудь крупного и интересного социалистического писателя всех стран, работы которого не были бы переведены и изданы на болгарском языке, при чем особенное внимание было уделено русским марксистам, и здесь решительно все, что только выходило тогда за границей на русском языке, было переведено по преимуществу самим Благоевым. Произведения Георгия Валентиновича, конечно, переводились в первую голову. Надо было удивляться неутомимой деятельности самого Благоева, который сделал громадное число переводов с разных языков.

Георгий Валентинович пошел к себе в комнату, принес оттуда большую пачку болгарских изданий и показывал их нам. Ранее я никогда не был знаком с этой работой наших болгарских товарищей, и мне стало завидно и как-то больно, что вот в стране, еще недавно совершенно задавленной турецким деспотизмом, теперь есть какая-то, хоть очень относительная свобода, и что там есть достаточная свобода печати, дающая возможность и своим, и чужим теоретикам марксизма печатать все, что они хотят, в то время как у нас, в огромной России, все задавлено, все попрано, и этой беспросветной политической тьме, казалось, не будет и конца.

Георгий Валентинович очень заинтересовался постановкой издательской деятельности в России и стал настойчиво говорить о том, что нам необходимо воспользоваться всеми легальными возможностями, дабы что только возможно пропускать из нашей литературы там, в России, легальным порядком, конечно, не искажая содержания и, таким образом, добавил он, мы, хотя бы отчасти, разгрузим наш транспорт, а то ведь сейчас на спинах контрабандистов приходится переправлять чисто теоретические вещи, которые, казалось бы, могли бы появиться в России, раз вот удалось напечатать «Zur Kritik» Маркса.

— Нам нужно особенное внимание обратить на транспорт. Уж очень мало у нас доставляют нелегальщины,—сказал я Георгию Валентиновичу.

— Наш знаменитый транспортер тов. Райнич провалился, и теперь находится в Сибири,—ответил Плеханов,—но он вскоре будет здесь, и тогда мы начнем вновь налаживать это дело, крайне трудное в теперешних условиях. Ведь нам все мешают,—не только полиция, но и народники. Сколько было случаев, что у нас перебивали контра-

бандистов, откупали их, разрушали наши пограничные организации, уничтожали наши книги. Я знаю, что «Наши разногласия» и «Социализм и политическая борьба» пришлись так не по вкусу эпигонам народовольцев, что они рвали эти книги, жгли их, отбирали от молодежи, а про меня стали говорить, что меня купило русское правительство, что я разочаровался в революции, уезжаю в Россию, и что я шпион. Можете себе представить, что нашлись ослы, которые стали этому верить и стали избегать меня. Когда один из доброжелателей из того лагеря пришел и рассказал мне это, я сказал ему: меня только что уверяли, что Петр Лаврович Лавров, не видя никакого толка от своих единомышленников, постригся в монахи и пошел в монастырь. Знаете что, вот это оскорбление, такое оскорбление, которое действительно перенести нельзя. Эти остолопы меня все-таки зачисляли по политической части, все-таки нашли, что я, Плеханов, годен хоть в политические шпионы. Как-никак, а общественная деятельность, а вот в монахи—слуга покорный! Это—выдача свидетельства о полной бедности, о полном убожестве мысли, о выжитии из ума! Нет,—это ужасно! От этого можно во цвете лет повеситься! Не хотел бы я быть на месте бедного, бедного Петра Лавровича. И за что обижают старика?

Под этим насмешливым, почти юмористическим рассказом чувствовалась глубочайшая горечь этого титана, боровшегося почти в одиночку не только с силами всевластного и могучего царского самодержавия, но и с теми, в то время еще значительными, но уже дряхлевшими, силами русских революционеров-народников и анархистов всех оттенков, которые об'ективным ходом событий превращались в свою противоположность: революционная, открытая, смелая, единоборствующая борьба их предшественников, — народовольцев 1878 — 1881 гг.,—постепенно вырождалась в революционную фразу, в празднобoлтание, в ничегонеделание, в полное вырождение и упадочность. Теории народничества и народовольчества все более и более, несмотря на всю свою крикливость, скатывались не только к обыкновенному радикализму, но и к прямому либерализму, что, в сущности, обнаруживалось уже в теориях даже Желябова, и все движение это, которое, так еще недавно, какие-нибудь двадцать лет тому назад, было единственно-прогрессивным и революционным, с появлением на арену борьбы рабочего класса, превращалось в явно тормозящее, мешающее, отвлекающее внимание, сосредоточивающее в себе, формулирующее, хотя бы теоретически, вожделения самых отсталых крестьянских слоев, и, таким образом, об'ективно превращалось из революционного в контрреволюционное движение, чего никак не только не могли понять, но не хотели и слушать эти раздраженные, потерпевшие политическое крушение, люди. Они эти теоретические разномыслия, новый подход к жизни принимали за личную нестерпимую обиду и готовы были на все в борьбе с своими новыми идейными противниками.

— Как!—кричали они,—мы контрреволюционеры! — перенося этим самым теорию на личности.—Мы, наши единомышленники, наполняют тюрьмы и каторги. Нас вешают, убивают, томят в Шлиссельбурге, в Петропавловке, в Акатуе и других каторгах,—а тут смеют говорить, что мы... мы бездеятельны, мы плохи, мы ненужны. Нас ненавидят, нас преследует царское правительство, нас компрометирует Плеханов всеми своими выступлениями, всеми своими книгами и статьями... Кто это может делать? Или сумасшедший, или купленный человек, шпион.

Но Георгий Валентинович разбивал народников везде и всюду, и во мгновение ока клал их ораторов на обе лопатки, беспощадно вскрывая всю внутреннюю пустоту и никчемность их теорий, а потому как же его можно было принять за сумасшедшего? И оставалось одно последнее, самое дрянненькое, самое подлое средство,—опорочить доброе имя испытанного, смелого революционера и мыслителя. Мелкие людишки нашлись, пустили слушок, к которому с презрением отнесся Плеханов, заявив об этих каверзах недостойного противника в печати, и, несмотря на всю трудность и материального, и морального, и физического своего положения, он с открытым забралом, смело пошел в идейный бой на нескольких фронтах, расчищая поле битвы для новых сил, новых сильных и смелых практиков и теоретиков марксизма, уже зревших в России среди подраставших юных кадров революционеров-социал-демократов, воспитывавшихся на его произведениях, хотя и с трудом, но все-таки уже проникавших в самодержавную Россию. И они вскоре пришли на помощь первоучителю русского марксизма. И Георгию Валентиновичу стало жить легче. Но восьмидесятые и девяностые годы прошлого столетия были для него крайне тягостны, хотя он и носил гордое сознание своей огромной общественно-революционной роли основоположника учения и борьбы пролетариата в нашей стране.

## VII.

Величайшая симпатия, глубокая преданность ему, нашему общему вождю и учителю, загорелись у меня глубоко в сердце, в эти первые, столь знаменательные для меня, встречи с Георгием Валентиновичем. Жизнь моя так сложилась, что еще много раз пришлось мне близко общаться с этим замечательнейшим человеком нашей эпохи, и почерпать от него, как из неиссякаемого источника, и знания, и революционный энтузиазм,—многое и многое для жизни и борьбы в нашем едином, партийном стремлении. Пришлось мне и разойтись с ним на почве наших общих партийных разногласий и пойти за тем, кто уловил лучше всех биение пульса мировой общественно-революционной жизни нашей эпохи и направил нашу борьбу последнего двадцатилетия на истинный, вполне правильный, глубоко пролетарский путь. И, несмотря на это, лучше сказать: именно поэтому, я не могу не вспоминать о Георгие Валентиновиче иначе, как с самой величайшей благодарностью, искренней любовью и глубокой гордостью, что я имел долгое счастье так близко с ним общаться и почерпнуть многое и многое, что дало мне яркое, глубоко-творческое освещение всей моей революционной жизни и работы для нашей единой и стальной большевистской партии.

## VIII.

Вскоре нам пришлось уехать из Женевы, и Георгий Валентинович снабдил нас письмом к П. Б. Аксельроду, сказав, что он уже написал ему о нас. Задушевно, по-товарищески, расстались мы с ним, и он так просто нас звал приезжать в Женеву и обязательно быть у них и так просто обещался сам побывать у нас в Цюрихе, что мы, молодежь, застенчивая и нелюдимая, чувствовали с ним как у себя дома, и нам казалось, что мы знаем его и его семью давным давно, и что иначе и не может быть, как то, что он, Плеханов, гремевший уже тогда на всю Европу, обязательно должен быть столь по-товарищески прост с нами, с никому не известными, только что начинающими

жить студентами, чуть-чуть хлебнувшими радостного вина революционной борьбы, чуть-чуть поучившимися и стремящимися утолить жажду познания общественно-революционного добра и зла.

Но как бы там ни было, но это было так. Мы уехали из Женевы пламенными приверженцами Г. В. Плеханова. В Цюрихе встретили прекрасное отношение со стороны П. Б. Аксельрода и его политических друзей и быстро влегли в хомут не только заграничного учения, но и той общественно-революционной деятельности, которая была доступна и возможна для нас, еще легальных людей, в тяжкую эпоху безвременья арестов и разгромов наших организаций в России чередом следовавших за коронацией Николая II, окончившейся Ходынкой.

Вслед за этими разгромами определилась полоса зубатовщины, которая повлекла за собой многие некорректные поступки со стороны арестованных наших товарищей. Один из членов нашей московской с.-д. организации, рабочий Кварцев, выдал меня с головой, и я вынужден был остаться, по решению Группы «Освобождение Труда», политическим эмигрантом за-границей. Все эти обстоятельства и вскоре наступившая жестокая борьба с экономистами, заграничными представителями которых были «рабочедельцы», еще более сблизили меня с Г. В. Плехановым. Я, конечно, всецело стоял на точке зрения Группы «Освобождение Труда», бессменным лидером которой был Георгий Валентинович.И эта общая борьба, и это общее дело требовали более частого общения с Георгием Валентиновичем. Мне приходилось в это время не только иногда видаться с ним, но часто переписываться, чтобы потом, переехав в Женеву, поддерживать самые живые и полные содержания отношения. Обо всем этом я считаю своей прямой обязанностью рассказать современным читателям, насколько могу полней и обстоятельней. Этому делу наступил черед. И оно будет сделано мною обязательно.

# Еще раз о последнем выступлении механистов.

**(По поводу книги „Диалектика в природе“, сб. 3, Изд. Гос. Тимирязевского Научно-Исследовательского Института, Вологда 1928).**

*Гр. Баммель.*

Вся история механистического течения, об'единяющего представителей различных уклонов на основе отрицания философии и диалектики и группирующегося, по преимуществу, вокруг Тимирязевского Научно-Исследовательского института, есть история беспомощных зигзагов ошибочной теории, безвыходной путаницы, толкающей из одной крайности в другую.

Начав с безусловного отрицания всякой философии, с высмеивания всяких «специфичностей» и «качеств», механисты, после 3 лет борьбы диалектических материалистов с ними, примирились не только с философией, признав ошибочной свою же резолюцию о книге т. Степанова, но и с «особыми категориями» качества и специфичности. Теперь им приходится в т о р о й р а з отступать и защищать свои старые ошибки. В этом отношении третий сборник Научно-Иследовательского Тимирязевского Института займет, несомненно, почетное место в замечательной философской продукции этого института. Философский фронт обогатился еще одним «документом борьбы». Авторы его уверены, что крах потерпели не механисты, а диалектики. Можно представить радость, с которой встретят сторонники «механистического естествознания» это важное известие.

Новый этап в борьбе механистов против диалектики представляет собою новый зигзаг механистического ревизионизма. После того, как испортившая им столько крови «деборинская школа» разрушена высоко научной критикой Перовых и К°, механисты, под прикрытием барабанного боя о крахе диалектиков, н а с т а и в а ю т н а с в о и х с т а р ы х о ш и б к а х. В этом—особенность сборника. Так называемый механистический блок этических идеалистов, механистических материалистов, позитивистов, фрейдистов, гуссерлианцев, расселеянцев и махистов, теперь должен удариться в новую крайность, пытаясь исправить крайности предыдущего этапа. Если во втором сборнике «Диалектика в природе» мы имели такое революционное признание механистами «качеств» и «скачков», «теории» и «философии», с которым ничего общего материалистическая диалектика не имеет, то в третьем сборнике механисты кричат о «мистичности», «виталистичности» и «идеалистичности» всякого понимания «качеств» и «скачков», если это понимание не является механистическим.

Нынешняя платформа механистов не является, однако, просто возвращением к их исходным позициям, когда они выносили резолюции в стенах своего института, осуждающие всякие «разговоры» о философии. Правда, они столь же научно, столь же убедительно, а, главное, столь же солидно доказывают свое непонимание азбуки диалектического материализма, как и 4 года тому назад, но теперь, вместо прямого, правдивого, открытого выступления всем известного идейного течения, мы слышим крики об оскорбленной невинности,

слышим вопли о том, что кто-то кого-то не понял, о том, что их «исказили», о том, что тон недопустимый взяли «деборинцы» [1]), о том, что критика «деборинцев» враждебна [2]) и «чрезмерна» [3]), о том, что «спор идет совсем о другом» (!)... А тов. Варьяш снисходит до того, что разрешает пользоваться словом случайность, правда, в немарксистском значении. «Было бы смешным педантизмом говорить,— заявляет он,—что нам не приходится говорить о случайности, что это слово нужно вообще вычеркнуть из словаря. Но речь идет не об этом. Словом «случайность» можно пользоваться» (стр. 99).

Механисты лавируют, говорят дипломатические речи, обижаются на то, что их называют механистами, винтят, виляют вокруг да около и не имеют мужества ясно и просто поставить вопрос о сдаче ими ревизионистических позиций. Они получили такой решительный отпор, что теперь стали «спорить» совсем о другом». Они пишут теперь, что «ничего общего» со взглядами Г. Г. Боссе не имеют, что «отвечать за выступления» последнего вовсе не намерены, но при этом ни слова не говорят о том, осуждают ли они попытки бывшего талантливого сотоварища по блоку свести биологию и социологию к физике и химии. Но в своих трусливых уловках, маскировках и дипломатии они идут еще дальше. Они прибегают к увerточкам, отговорочкам, дипломатическим речам, чтобы скрыть от читателя сущность разногласий.

Выходит, что мы спорили 4 года, не зная о чем мы спорим, и теперь механисты взяли на себя задачу указать предмет нашего спора. Но только слепому не видно, что это пустяки и вздор. И за это увиливание, за эти поиски предмета спора, за дипломатичанье, увертки и уловки люди прячутся вместо того, чтобы выйти и прямо признать свое банкротство.

Нам не зачем торговаться с механистами. Очень солидно и очень художественно механисты доказывают, что они считают себя диалектическими материалистами, и очень смешно рассказывают невероятный вздор, обнаруживая непонимание азбуки марксизма.

Третий сборник «Диалектика в природе» показывает, что произведенное в предыдущем сборнике отступление было только очередным зигзагом механистического ревизионизма: механисты ничему не научились, усвоив лишь терминологию диалектиков,—и ничему не научились прежде всего в вопросе о философии, как несводимой к отдельным наукам общей методологии.

## Нам нужны факты, а не измышления и передержки.

Прежде чем перейти к вопросу по существу наших разногласий, надо сделать ряд фактических поправок к заявлениям механистов.

1) Механисты изображают дело так, что спор якобы идет о том, нужна ли нам идеалистическая диалектика или не нужна. Механисты заявляют теперь, что «спор идет о том, должна ли диалектика стоять на ногах, или ее надо опять перевернуть на голову, как это делают

[1]) «Критика Деборина и его школы могла бы отличаться тоном и характером, памятуя, что полемика идет в среде марксизма. Однако эта сторона дела наиболее печальна. Деборин и его школа громят и разносят механический материализм и всех, кто осмеливается пискнуть слово в его пользу, отлучая их от марксистской церкви» (стр. 237).

[2]) «В результате своей враждебной критики наши философы совершенно «потеряли лицо», и их статьи невозможно отличить от писаний Хвольсона и Френкеля» (стр. 237).

[3]) «Диалектическая критика механистов» не должна быть чрезмерной (стр. 159—160).

Деборин и его ученики» (стр. 48). «По существу спор идет,—говорят теперь механисты,—о том, должно ли в естествознании применять марксистскую диалектику, или надо вернуться назад к Гегелю» (примеч., стр. 48).

Выходит таким образом, что тов. Тимирязев защищает материалистическую диалектику, а тов. Деборин и его ученики—диалектику, перевернутую на голову. Но это все—пустяки. Никто не звал «назад к Гегелю», никто и не думал утверждать, что место марксистской диалектики должна занять диалектика Гегеля. Спор не в этом. Спор идет лишь о том, является ли диалектика мертвой догмой, буквой, формой, иконой, которой поклоняются, или живым «руководством к действию», н а у к о й, которую мы должны разрабатывать, развивать, двигать вперед, улучшать и обогащать на основе учета нового опыта? Механисты отрицают т е о р е т и ч е с к о е значение диалектики, как науки, рассматривая ее как способ характеристики у ж е изученных процессов, сводимый к метологии данной отдельной отрасли знания.

2) Тов. Варьяш заявляет теперь, что с точки зрения диалектиков случайность есть нечто беспричинное. Он совершенно серьезно в этом убежден. «Часто понимается так,—говорит он,—что так называемые случайные явления не только суб'ективны, но и об'ективно случайны, или, другими словами, ч т о, к р о м е с т р о г о й д е т е р м и н а ц и и я в л е н и й, к р о м е р я д а с т р о г о д е т е р м и н и р о в а н н ы х я в л е н и й, существуют и другие явления, которые в об'ективном смысле случайны. Случайность, таким образом, имела бы «более глубокий об'ективный смысл», она означала бы не просто наше частичное неведение, а что-нибудь более глубокое. Этот взгляд, по нашему мнению, неправилен. Мы говорим о случайности в том условном смысле, что мы не можем об'яснять все, что происходит в мире, в этом сложном нашем мире, вскрывая все причинные связи до последней черточки» (стр. 97).

Но это все пустяки. Все это—уверточки и оговорочки, необходимые тем, кто хочет замазать основу наших разногласий. Это сплетня, которую распространяют механисты. Никто не считал, что случайность есть явление беспричинное. Спор идет вовсе не о том, существуют ли в мире беспричинные явления. Спор идет лишь о том, о б'е к т и в н о й л и является категория случайности, как одной из ф о р м проявления всеобщей причинности, или является с у б'е к т и в н о й, как признак несовершенства наших знаний? Диалектический материализм отвергает фаталистическую необходимость и признает случайность, как частную форму необходимости. Это и означает «случайность в более об'ективном смысле» (А. Деборин), приводящая в ужас т. Варьяша.

Вот о чем идет спор. Тов. Варьяш, чувствуя неустойчивость своей позиции, приписывает диалектикам глупость, которой никто не говорил, и старается увильнуть от вопросов спора, но это, как видит читатель, ему не удается.

3) Тов. Варьяш заявляет, что для диалектиков жизнь, как специфичность изменения материи, есть не только новое качество, но какое-то еще «начальное качество», «психоид», «энтелехия». Приведем это рассуждение нашего автора полностью: «В процессы жизни ничего не физико-химического не входит, потому что, если бы входило, то это именно означало бы, что существует еще, кроме физико-химических форм энергии, еще некая третья форма энергии, т.-е. то, что виталисты называют психоидом, энтелехией и т. д. В том и заключается вита-

лизм, что он принимает какое-нибудь начало не физико-химическое, все равно, как это ни назвать, если только специфичность жизни принимается не только как новое качество, но и как начальное качество. В этом заключается витализм. И вот это-то тов. Деборин и его сторонники и упускают из виду. Вот в чем основа нашего спора. Дело не в том, что мы отрицаем специфичность жизни, а они признают, а в том, что мы отрицаем, что жизнь есть первоначальное качество, а они утверждают это, ибо несводимость законов жизни к физико-химическим началам означает именно витализм» (стр. 119).

Выходит, таким образом, что «тов. Деборин и его сторонники» понимают под качеством некое «начальное» качество, энтелехию, психоид и прочие виталистические штуки (стр. 121), из физико-химических закономерностей не вытекающие. Выходит, что «тов. Деборин и его сторонники» признают какую-то вторую жизненную субстанцию на ряду с материальной. Но все это — только вздор и жалкий выверт, который понадобился Варьяшу и К° только для того, чтобы замаскировать признание ими ошибочности механистического понимания процесса жизни. Спор идет вовсе не о том, является ли жизнь первоначальным, абсолютно новым, или же производным качеством, обусловленным предыдущими ступенями развития материи. Никто не утверждал, что сложная форма движения возможна без простых форм движения, в частности, никто не утверждал, что процесс жизни возможен без физико-химических процессов. Не в этом спор. Спор идет о том, сводимо ли новое качество, данная форма движения, как новое качество, к количественным изменениям простых форм движения.

4) Механисты в своем третьем сборнике изображают дело так, что спор идет якобы между естественниками и философами. Выходит, что разногласия разделили философов и естественников, а не механистов и марксистов.

Всякий, кто хоть мало-мальски следит за литературой, за научной общественностью в Советском Союзе, скажет, что это—плод досужей фантазии. Четыре года тому назад, когда выступил тов. Степанов, положение было действительно таково, что на механистической точке зрения стояло большинство естественников, а диалектической точки зрения придерживались философы. Но эти годы борьбы за марксизм не пропали даром, и нужно быть ослепленным «фракционной» дипломатией, чтобы не видеть, что размежевание проходит как внутри естественников, так и внутри философов. Развернутую философию механистического ревизионизма дали не естественники, а философы: Аксельрод и Варьяш. С другой стороны—ортодоксальный марксизм играет руководящую роль в целом ряде естественно-научных центров. Механисты изображают дело так, что кроме методологической секции Тимирязевского института у нас ничего нет, и стараются скрыть тот неоспоримый факт, что значительная часть наших естественников-материалистов усваивает и практически применяет на деле идеи ортодоксального диалектического материализма.

5) Приведя слова «деборинцев», что под движением нужно понимать «изменение вообще», а не механическое перемещение, что понятие изменения состояния является более общим, чем понятие перемещения в пространстве, хотя оно всегда связано с подобным перемещением, механисты пишут: нужно ли это «понимать так, что существуют явления и изменения состояния, не являющиеся вовсе механическими перемещениями или заключающие что-

либо помимо механических перемещений? Мы утверждаем, что такое понимание было бы не материалистическим. Все есть материя и ее движение. Материя же, единая субстанция, участвует в материальных процессах, в конкретных формах электронов, протонов, силовых линий, световых квантов. Участие этих материальных элементов в физических процессах невозможно мыслить иначе, как в форме многообразных пространственно-временных движений, т.-е. в конечном счете перемещений» (стр. 240), и дальше тот же т. Рубановский пишет, что «в диалектических узлах (откуда сие? или оказалось «трудно» их «развязать»?—Г. Б.) материальных процессов нет ничего, кроме многообразия форм и суб'ектов временно-пространственных перемещений».

Выходит таким образом, что тов. Деборин и его ученики признают какое-то движение вне пространства и времени. Выходит, что для диалектиков не «все есть материя и ее движения». Выходит, что, отрицая время и пространство, диалектики ведут к мистике (так стр. 241), а механисты доказывают существование времени и пространства, признают, что все есть материя и ее движение, и поэтому выступают как представители материализма.

Во всем этом нет ни крупицы правды. Это все—вздор, выдуманный нашими противниками, чтобы смазать самую суть разногласий. Спор идет вовсе не о том, существует ли что-либо помимо «материи и ее движений», а о том, как следует понимать движение материи, если стоять на уровне высших достижений современного естествознания. Спор идет вовсе не о том, существуют ли такие явления, которые не находятся в пространстве и времени. Страшно подумать, какую истину преподносят нам механисты! Кто отрицал пространство и время, как всеобщие формы всего существующего? Не в этом спор теперь. Спор идет о том, можно ли отождествлять пространственно-временное движение с механическим перемещением, т.-е. с движением, как изменением места, или «изменение места» является частным случаем, именно простейшей формой «изменения вообще»? Механисты утверждают, что все есть механическое перемещение, и успокаиваются на этом. И теплота, и мышление, и ощущение есть движение материи, но об'ясняю ли я что-либо, если говорю: мышление есть движение? Нет, ничего не об'ясняю. Диалектики это отрицают, рассматривая движение в процессе его непрерывного развития и перерастания в новые, более сложные формы движения и требуя исследования каждой новой формы движения в ее качественном содержании.

Писалось ли у нас об этом? Писалось, раз'яснялось десятки раз, и т. Дебориным в первую голову. Что же ответили теперь по этому вопросу нашего спора механисты? Механисты поспешили уклониться от прямого ответа и спрятались за благочестивыми словами, что все есть материя и что мы существуем в пространстве и времени.

## На старых позициях беспринципности и обывательщины.

Пишущему эти строки уже приходилось указывать на беспринципность, как характернейшую особенность механистического блока. Чтобы сколотить блок, механисты должны были простить друг другу ошибки прошлого. Новое произведение блока показывает, что каким был он, так и остался—блоком взаимно осужденных ошибок, блоком взаимно «отпущенных грехов». Между статьями авторов, участвующих в сборнике, нет принципиального единства.

Слушайте! Нам доказывают на стр. 119, что «несводимость законов жизни к физико-химическим началам означает витализм», а на стр. 154, что «сложные процессы не сводятся нацело к механике, и что мы имеем перед собой возникновение новых качеств».

На стр. 35 читаем, что, ухватившись за «неудачное выражение «побочные формы» и глумясь над биологами-механистами, распространяющими методы физики и химии на биологию, наши противники играют на руку виталистам и всем вообще темным силам. Не даром мы слышим выражение: «советский витализм»,—это совсем не шутка», а на стр. 162 читаем, что «в вопросе о сведении сложного к простому, о разложении сложных комплексов движений на их компоненты» «необходима осторожность, при чем необходимо иметь в виду, что попытки безудержного «сведения» к наиболее простому, не сопровождаемые процессом синтеза сложного из простого, не имеют никакого значения в науке.

На стр. 36 читаем ехидные замечания, что «наши «ортодоксальные» и в особенности т. Я. Стэн выдвинули теперь новую теорию специфичности жизни», а на стр. 118 и 119 читаем, что «так называемые механисты» вовсе не отрицают «специфичности жизни»; в то же время на стр. 161 «наиболее важными» особенностями в «методологии естественных наук» провозглашается «безусловная необходимость сведения сложного к простому и важное значение изучения механического движения».

На стр. 44 и 45 негодуют против «априорных конструкций», «методологических постановок», «предшествующих» (конечно, «по Деборину») «исследованию», и требуют от диалектики, чтобы она сама выступила (!) из процессов природы (!), далее, в тон этим положениям, на стр. 317 ругают тов. Карева «за априорные схемы, которые вопреки Энгельсу он хочет навязать природе», в чем и видят «основной грех всего деборинского направления», а на стр. 151 и сл. читаем следующее: «Естествознание вовсе не обязано своими успехами рабскому следованию эмпирическим данным (слушайте, т. Тимирязев!—Г. Б.). Согласно диалектическому методу, никакое априорное положение не может служить окончательным критерием истины, так как таким критерием является только практика, в данном случае эксперимент. Но внесение тех или иных априорных положений, оплодотворяющих работу, совершенно неизбежно для всякого исследования, если исследователь не желает скатиться к «ползучему эмпиризму». «Необходимо больше работать головой, смелее распоряжаться материалом, не придерживаться рабски эмпирических данных, но в то же время подвергать суровой фактической проверке все построения разума».

На стр. 12 признается категория качественности и тут же разносятся диалектики за чрезмерные «заклинания»: «Постоянные заклинания этих товарищей, что так называемые «механисты» отбрасывают качественность материальных частиц, что для них все однородно,—не верны, потому что так называемые «механисты» вовсе не отрицают качественности материи: они не принимают только больше основных несводимых качеств, чем это безусловно нужно для об'ективного об'яснения. Мы принимаем основные качества электрического заряда в двух формах—положительного и отрицательного электричества; принимаем различные возможные расположения электронов и других материальных частиц, принимаем и еще целый ряд свойств (движение и протяженность, как атрибуты материи), конечно, не при-

нимаем столько свойств, сколько удается заметить невооруженным глазом человека. Мы не считаем, что всякие свойства, которые нам кажутся суб'ективно несводимыми, суть и об'ективно таковы. Наши же противники-деборинцы напирают с особенным натиском на то, что существует чуть ли не бесконечное количество разных несводимых качеств. Но это ведет к монадологии Лейбница,—иначе это нельзя назвать,—и безусловно не укладывается в материалистическое течение» (стр. 120);—но то, что для одного является «монадологией Лейбница», для другого вещь вполне приемлемая: «атом представляет собою новое качество по сравнению с составляющими его электронами; клетка—новое качество по сравнению с составляющими ее атомами; организм по сравнению с клетками, из которых он построен, и т. д.» (стр. 154).

На стр. 317 защищают слова Энгельса, что «материя как таковая, в отличие от определенных существующих материй, не является чем-то чувственно существующим», а на стр. 323 ругают т. Скурера за то, что по мнению последнего материя как таковая не существует, как самостоятельное существо.

Не ясно ли, что эти примеры являются убийственными для характеристики теоретического уровня наших противников? Механисты более не в состоянии спрятать концы в воду, нервничают, бросаются из одной крайности в другую, и в результате «получается» невероятная путаница: по принципу «с одной стороны»—«с другой стороны». И эту невероятную путаницу, эту кашу и неразбериху в своей собственной голове эти товарищи имеют скромность выдавать за «настоящий» марксизм, за «настоящий» диалектический материализм.

## Как анонимная редакция „обрабатывает" Ленина.

После того, как мы познакомились с двумя чертами механического ревизионизма, характерными для всякого оппортунизма в теории, перейдем к специфическим особенностям этого течения и к вопросам по существу наших разногласий. Прежде всего мы хотели бы сказать несколько слов о том, как анонимная редакция сборника в передовой статье искажает или «обрабатывает» основную статью Ленина о задачах марксистской теории в период пролетарской революции. Речь идет о статье Ленина: «О значении воинствующего материализма», представляющей собой как бы философское завещание тов. Ленина. Выполнению заветов этой статьи была посвящена деятельность диалектических материалистов, выпустивших на русском языке атеистические памфлеты французских материалистов XVIII века. Эту же статью диалектические материалисты цитировали неоднократно в обоснование своих требований серьезного изучения и материалистической переработки диалектики Гегеля.

Теперь анонимная редакция сборника изображает дело так, что в названной статье Ленин «несколько иначе оценивал старый материализм, чем нынешние диалектики», что Ленин вовсе не противопоставлял механический материализм диалектическому, что механический материализм есть орудие борьбы против религии, так сказать, на все времена и т. д.

Приведем это место полностью из сборника: «Механических материалистов, материалистов-атеистов XVIII века Ленин усиленно рекомендует пропагандировать, переводить их сочинения, ибо «бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века

сплошь и рядом окажется в тысячу раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе, и которые (нечего греха таить) часто марксизм искажают» (Ленин, «Под Знамен. Маркс.» 1922, № 3). Приведя эти слова, анонимная редакция продолжает:

«Ленин несколько иначе оценивал старый материализм, несмотря на его пробелы. По мнению Ленина, материализм XVIII века является приступом, подготовительной школой марксизма. «Было бы величайшей ошибкой и худшей ошибкой, которую может сделать марксист, думать, что многомиллионные народные массы, осужденные всем современным обществом на темноту, невежество и предрассудки, могут выбраться из этой темноты только по прямой линии чисто марксистского просвещения» (там же). Ленин, как ясно из этого места, считает, что значительные слои народа придут к марксизму не прямым путем, а через материализм XVIII века. Ленин только возмутился бы, если бы он читал некоторых из наших марксистов, утверждающих, что механический материализм ведет к теологии. Он как раз рекомендовал сочинения механических материалистов XVIII века против поповщины, против теологии».

Итак, анонимная редакция заявляет, что, во-первых, Ленин иначе оценивал механический материализм, чем диалектики, отвергающие механический материализм; что, во-вторых, Ленин «возмутился бы, если бы он читал некоторых из наших марксистов, утверждающих, что механический материализм ведет к идеализму и теологии».

Начнем с первого заявления.

Анонимная редакция думает, что в оценке механического материализма диалектики стоят на принципиально иной точке зрения, чем Ленин. Верно ли это? Конечно, не верно. Для того чтобы опровергнуть такое «толкование», достаточно прочесть все место, из которого выхвачены выше приведенные слова Ленина. Анонимная редакция забыла сказать, что все это место из статьи Ленина не только не решает, но и не задевает вопроса о разных формах материализма, о развитии материализма. Во-первых, Ленин ставит перед журналом «Под Знаменем Марксизма» задачу атеистической пропаганды. «Чрезвычайно существенно,—говорит он,—чтобы в дополнение к работе соответствующих государственных учреждений, в исправление ее и оживление ее, журнал, посвящающий себя задаче стать органом воинствующего материализма, вел неутомимую атеистическую пропаганду и борьбу». Вот о чем идет речь у Ленина. Во-вторых, Ленин рекомендует и пути осуществления этой задачи. Он, например, рекомендует «внимательно следить за всей соответствующей литературой на всех языках, переводя или, по крайней мере, реферируя все сколько-нибудь ценное в этой области», другими словами, по мнению Ленина, надо использовать и атеистическую литературу конца XVIII века, подчеркивая ее слабые наивные формы и современную научную критику религии, ни на минуту не забывая, что авторами «научной критики» в буржуазном обществе являются, почти как правило, дипломированные лакеи поповщины». Вот о чем идет речь у Ленина. Не ясно ли, что Ленин здесь и не ставит вопроса о механическом и диалектическом материализме?

В-третьих, Ленин требовал не только союза с прогрессивными представителями научной критики и религии, но и идейной борьбы

с ними, разоблачения их, как скрытых лакеев поповщины, как идеологов, «помогающих эксплоататорам заменять старые и прогнившие религиозные предрассудки новенькими, еще более гаденькими и подлыми предрассудками». И Ленин добавляет:

«Это не значит, чтобы не надо было переводить Древса (речь идет об авторе книги: «Миф о Христе».—Г. Б.). Это значит, что коммунисты и все последовательные материалисты должны, осуществляя в известной мере свой союз с прогрессивной частью буржуазии, неуклонно разоблачать ее, когда она впадает в реакционность. Это значит, что чураться союза с представителями буржуазии XVIII века, т.-е. той эпохи, когда она была революционной, значило бы изменять марксизму и материализму, ибо «союз» с Древсами в той или иной форме, в той или иной степени для нас обязателен в борьбе с господствующими религиозными мракобесами».

Не ясно ли, что здесь Ленин говорит лишь о борьбе за атеизм и материализм? Не ясно ли, что он говорит о союзе с материализмом буржуазии XVIII века, т.-е. той эпохи, когда она была революционной? Не ясно ли, что Ленин здесь не имел в виду разграничивать механический и диалектический материализм?

Попытку анонимной редакции «обработать» Ленина в этом пункте нельзя, как мы видим, признать удачной.

Обратимся ко второму заявлению редакции. Редакция совершенно серьезно убеждена в том, что «Ленин возмутился бы, если бы он читал некоторых из наших марксистов, утверждающих, что механический материализм ведет к теологии». Пусть судит читатель, чего в этом заявлении: больше близорукости или лицемерия. Во всяком случае достаточно продолжить цитату, приводимую механистами из Ленина, чтобы видеть, что Ленин стоял как раз на противоположной точке зрения.

Раз'яснив смысл и значение атеистической пропаганды, борьбы за материализм, Ленин ставит в своей статье перед журналом «Под Знаменем Марксизма» вторую задачу—бороться за современный, т.-е. диалектический, материализм и в виду этого поставить систематическое изучение диалектики Гегеля с материалистической точки зрения. «О п и р а я с ь н а т о, к а к п р и м е н я л М а р к с м а т е р и а л и с т и ч е с к и п о н я т у ю д и а л е к т и к у Г е г е л я, м ы м о ж е м и д о л ж н ы р а з р а б а т ы в а т ь э т у д и а л е к т и к у с о в с е х с т о р о н», без этого, говорит Ленин, «материализм не может быть воинствующим материализмом, он остается, употребляя щедринское выражение, не столько сражающимся, сколько сражаемым», без этого, «воинствующий материализм не может быть ни воинствующим, ни материализмом», без этого, говорит Ленин, «н и к а к о й м а т е р и а л и з м не может выдержать борьбы против натиска буржуазных идей и восстановления буржуазного миросозерцания. Выходит по Ленину, что никакой материализм не может выдержать борьбы против натиска идеализма, если он не будет стоять на солидном философском фундаменте, если современный материалист не будет действительно «современным материалистом, сознательным сторонником того материализма, который представлен Марксом, т.-е. диалектическим материалистом».

Не ясно ли, что говорить после этого о каких-то разногласиях между Лениным и диалектиками нет никаких оснований?

Нет, и в этом пункте надо признать неудачной попытку анонимной редакции «обработать» Ленина. Никакие уловки, никакие «обра-

ботки» Ленина, однако, не помогут механистам спрятаться и замазать корень разногласий. Чувствуя неустойчивость своей позиции, они начинают ругать диалектиков и злорадствовать по поводу того, что от ошибок еще Ленин предостерегал, что Ленин предвидел ошибки при материалистической переработке Гегеля, но механисты не потрудились привести какое-либо доказательство, что ошибки совершены диалектиками, а не механистами.

### О манере цитирования т. Тимирязевым классиков марксизма.

Манера цитирования Тимирязевым классиков марксизма и ненавистных ему диалектиков носит такие черты, что на ней следует особо остановиться. Характерная черта этой тимирязевской манеры состоит в том, что она не дает себе труда разобраться в цитируемых произведениях, прежде, чем разносить их, вырывает буквально отдельные слова, отрывая их от внутренней связи с общими философскими основами марксизма и превращая их в мертвые метафизические догмы.

Приведем факты, иллюстрирующие эту странную манеру т. Тимирязева цитировать представителей противной точки зрения.

Тов. Тимирязев заявляет: «Вот еще образчик теоретической невыдержанности рассуждений т. Деборина. На стр. 58 «Вестника Ком. Академии», XIX, читаем мы следующее: «Диалектический материализм исходит из принципа единства противоположностей. Он не разрывает качества, часть и целое, непрерывность и прерывность, материю и силу и т. д., а синтезирует их». В этом заключается величайшее достижение диалектики, как высшей формы мышления, которая поднимается высоко над буржуазным мышлением. Говоря о методе Милля, Маркс замечает: «Где экономическое отношение,—следовательно, также категории, которые его выражают,—содержит противоположность, представляет противоречие и именно единство противоречий, он подчеркивает момент единства противоположностей и отрицает противоположности. Единство противоположностей он превращает в непосредственное тождество этих противоположностей» (Маркс, Теория прибавочной ценности, т. I, стр. 262. Подчеркнуто нами.—А. Т.). Приведя эту цитату, Тимирязев продолжает: «Конечно, эта ошибка Милля приписывается сейчас же ненавистникам механистам. Но разве механисты, — пишет Деборин,—знают иную логику, помимо критикуемой Марксом логики буржуазных экономистов, вроде Милля и Росси». Заявив таким образом, в согласии с Марксом, что неправильно отождествлять противоположности, и повторив еще раз на стр. 57 о взаимном проникновении противоположностей, тов. Деборин ровно через три строчки говорит уже следующее: «Это требование не является результатом вымысла досужего философа; вся эмпирическая физика, можно сказать, проникнута насквозь «тождеством противоположностей» (!—А. Т.), но это не «осмысленно».

Не удовлетворившись грозным восклицательным знаком, тов. Тимирязев уже ставит себя в смешное положение, когда заканчивает свою тираду следующими потрясающими словами: «Что же это: возвращение вспять к Миллю? Ведь только что, в согласии с Марксом, тов. Деборин бросил упреки «механистам» в том, что они будто повторяют ошибки Милля, а на следующих же страницах повторяет эти ошибки... уже он сам» (стр. 51).

Тов. Тимирязев заучил, как школьник, «закон взаимного проникновения противоположностей», но, не продумав, что это значит, бормочет в недоумении: «вот и разбирайтесь тут» (стр. 51). Мило и откровенно! Неловко же выдает себя этой фразой тов. Тимирязев! И для того, чтобы вытащить за ушко да на солнышко до забавности милое и откровенное великолепие своей «философии», он добавляет уже снисходительно: «Конечно, могут возразить, что просто все эти рассуждения плохо, торопливо изложены, тогда придется признать, что эта торопливость и некоторое неряшество изложения возведены в закон» (стр. 51).

Позвольте, тов. Тимирязев, вам почтительнейше указать, что «непосредственное тождество», мертвое, формальное, уничтожающее противоположности тождество — одно дело, а другое дело — конкретное тождество, включающее в себя многообразие, как единство различий. Надо различать тождество формальное и тождество конкретное. Уже Гегель подчеркивал, что «важнее всего не смешивать истинного тождества» с «абстрактным, только формальным тождеством». «Все те упреки в односторонности, жесткости, бессодержательности и т. д., которые так часто делают мышлению с точки зрения чувства и непосредственного содержания, имеют своим основанием превратную предпосылку, что деятельность мышления представляет собою лишь деятельность абстрактного отождествления... Если бы мышление не было ничем иным, чем это абстрактное тождество, то оно должно было быть признано самым излишним и самым скучным делом» («Мал. логика», прибавл. к § 115).

Первая категория—едва ли не самая важная в формальной логике, вторая—лежит в основе диалектической логики. «Т о ж д е с т в о п р о т и в о п о л о ж н о с т е й,—говорит Ленин (добавляя в скобках: «единство» их может быть вернее сказать? хотя р а з л и ч и е т е р м и н о в «т о ж д е с т в о» и «е д и н с т в о» з д е с ь н е о с о б е н н о с у щ е с т в е н н о»), — есть признание (открытие) противоречивых, в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и х, противоположных тенденций во всех явлениях и процессах природы». И на примере диалектики единичного и общего, и на диалектике относительного и абсолютного, и на диалектике случайного и необходимого, Ленин доказывает, что «противоположности (единичное противоположно общему) тождественны».

Выходит по Тимирязеву, таким образом, что признание тождества противоположностей есть отрицание диалектики, фальсификация, непонимание того, что «в согласии с Марксом» «неправильно отождествлять противоположности». Так выходит по Тимирязеву, а Ленин учил, что «диалектика есть учение о том, как могут быть и как бывают (как становятся) тождественными противоположности,—при каких условиях они бывают тождественными, превращаясь друг в друга, — почему ум человека не должен брать эти противоположности за мертвые, застывшие, а за живые, условные, подвижные, превращающиеся одна в другую».

Из песни слова не выкинешь. Ленинское понимание диалектики, буквально каждое слово в этом суждении Ленина бьет в лицо всему тимирязевскому рассуждению!

Тимирязев постарался громче всех крикнуть на Деборина, выхватив у последнего мысль, в которой сам ничего не понял, обвинил его в отступлении от Маркса и торжественно уселся в галошу.

### Оракульские изречения о качестве.

Рассуждения механистов о «качестве» производят странное впечатление. Механисты делают вид, что ничего особенного не случилось, как будто у нас были некоторые маленькие разногласия. Они не осмеливаются настаивать на суб'ективности и эфемерности качеств, после того, как эта категория доказала свою плодотворность и получила право гражданства во всех отраслях знаний, если хотите, благодаря движению, поднятому тов. Дебориным. Но механисты не продумали вопроса об об'ективности качества, как формы движения материи, как своеобразия закономерности развития, и плетут теперь невероятную путаницу, жонглируя цитатами из «Диалектики природы» Энгельса и напуская беспросветный туман оракульских изречений. Мы оставим в стороне благочестивые речи о том, что явления жизни возникают из физико-химических, что в природе нет явлений жизни вне физико-химической закономерности, как будто кто-нибудь вообще оспаривал когда-либо эти азбучные истины материализма, и послушаем, как справляются теперь механисты с испортившей им когда-то столько крови «специфичностью» и «качественностью» процессов жизни.

Вовсе не следует думать, говорят нам, что «законы биологии являются математическим выводом химических законов. Они являются биологическими законами и характеризуют т о л ь к о явления биологические. В этом заключается их специфичность» (стр. 112).

Выходит, что, по их мнению, специфичность лишь в том и состоит, что с ф е р а д е й с т в и я х и м и и «о г р а н и ч и в а е т с я» о б л а с т ь ю явлений жизни, и поэтому мы не нуждаемся ни в каких сверх'естественных закономерностях, чтобы об'яснить возникновение жизни, стало быть, «сведение» биологии и химии практически возможно, стало быть, диалектикам нечего рыпаться со своей «несводимостью». При этом механисты совершенно серьезно убеждены, что Энгельс стоял на их точке зрения.

Начнем с последнего положения. Механисты в своих рассуждениях о качестве опираются на следующие места из «Диалектики природы» Энгельса. Варьяш пишет: «На 9-й странице книги Энгельса мы читаем следующее: «Она (химия) составляет тела, которые встречаются только в органической природе. Здесь химия приводит к органической жизни, и она подвинулась достаточно далеко вперед, чтобы убедить нас, что о н а о д н а об'яснит нам диалектический переход к организму» (стр. 111—112).

Тов. Тимирязева приводит в умиление следующее место из «Диалектики природы»:

«Если химии удастся изготовить белок, то химический процесс выйдет из своих собственных рамок, как мы видели это выше относительно механического процесса. Он проникает в обширную область органической жизни. Физиология есть, разумеется, физика и в особенности химия живого тела, но вместе с тем она перестает быть специально химией: с одной стороны, сфера ее действия здесь ограничивается, с другой—она поднимается на высшую ступень» («Диалектика природы», стр. 197).

По поводу этих слов Энгельса т. Тимирязев заявляет, что «здесь речи нет о том, что законы физики и химии в биологии являются чем-то побочным». «Химия и физика перерастают в биологию, это именно и говорит Энгельс, и ничего постороннего и потустороннего

тут не привносится, как это видно из только что приведенной нами цитаты» (стр. 35). Таково «открытие» т. Тимирязева. Теперь послушаем тов. Варьяша:

«Предположим, у нас уже имеется какой-нибудь биологический закон. Закон этот опирается на законы физики и химии; без них никакой биологический закон не мыслим. Но из этих закономерностей создается специальный синтез, который характеризует именно только явления жизни» (Варьяш, стр. 113).

Если энгельсовское положение об «ограничении» физико-химических законов в области органической жизни понимать в смысле территориального ограничения области их применения «только жизнью», то и вопрос о сводимости высших форм движения к низшим решается очень просто:

«Если мы можем приготовить или «синтезировать» нужное нам «качество» посредством простых манипуляций, то, следовательно, мы можем утверждать, что «качество» сведено к движению; в противном случае о сведении говорить бесполезно. Следовательно, «сведение» в этом смысле есть не чисто формальный, но вполне реальный процесс.

Свести белок к простым химическим реакциям,—значит, искусственно приготовить белок, и помимо такого синтеза нет никакого сведения белка к простому. Свести световые явления к электромагнитным, — значит не только в теории построить электромагнитные волны, аналогичные световым колебаниям, но и осуществить их на практике. Таким образом, возможность практического и теоретического синтез является естественной мерой сводимости сложного к простому в естествознании» (статья Орлова, стр. 162).

Ничего общего с материалистической диалектикой все эти построения Тимирязева—Варьяша—Орлова не имеют. Эти товарищи на словах борются против так называемых «деборинцев», а на деле — стыдливо полемизируют с диалектическими материалистами—Марксом, Энгельсом и Лениным, отговариваясь от поставленного уже несколько лет назад вопроса о «качестве» («перерастании», как «несводимости»), двусмысленными пустыми фразами.

Эта наивность думать, что «перерастание» данной, напр., химической формы движения в новую, биологическую, доказывает лишь отсутствие потустороннего, лишь непрерывность развития, как это думает тов. Тимирязев. Энгельс, как и его великий друг, были диалектическими материалистами, и виталистическое об'яснение жизни они отбрасывали, как старый хлам, но в то же время «перерастание» старого было для них и выходом, скачком за пределы старого. Как можно не знать, что Энгельс отвергал, как материалист-диалектик, механическое представление о формах движения, как количественных видоизменениях одной тождественной повсюду закономерности? Это же наивность, если из практического приготовления белка делать вывод о сводимости качественных различий к количественным, если из слов Энгельса, что «одна химия» в состоянии об'яснить переход к органическому миру, делать вывод о сводимости «синтезов» или «сложного» к простому, как это делаете вы, т. Орлов.

С точки зрения диалектического материализма высшая форма движения невозможна без низшей. «Ничего потустороннего» в любой новой форме движения нет. Зависимость сложной формы движения от простой, в частности, зависимость биологической закономерности от физико-химической,—азбучная истина философии материализма. Но механистов мы потому называем механистами, что

они смешивают механическое с материалистическим и рассматривают последовательность форм движения не в свете их качественного усложнения, а в одностороннем и тусклом свете повторения, увеличения или уменьшения их количественных различий. Ясное дело,—все, что возникает нового и сложного, возникает из старого, новые формы происходят из старых и обусловливаются старыми и в этом смысле старое сводимо к новому, но оно не только сводимо: оно сводится по своему происхождению, но не сводится по форме, по своей закономерности и структуре.

В частности, белок возникает как продукт физико-химического процесса, жизнь возникает из неорганической природы и т. д. Но механисты это новое рассматривают не как выход за рамки старого, не как перерыв, скачек в постепенном изменении старого. Для механистов нет ничего зазорного «в перенесении методов физики и химии на биологию» (Тимирязев, стр. 35). Но Энгельс говорит, что «одна химия в состоянии об'яснить возникновение жизни, и тогда, говорит он, химический процесс выйдет из своих собственных рамок», как мы это видим при изучении механического процесса. Химия и перестает, и не перестает быть химией. Жизнь сводится и не сводится к химии. Если химии удастся изготовить белок, то «диалектический переход совершится здесь и реально, т.-е. будет закончен». Поэтому практическое «сведение» белкового вещества к химическим реакциям, другими словами, приготовление белков химическим путем будет означать не только сводимость высшей формы движения к низшей, как это думает т. Орлов, а кроме того будет доказательством реальности скачка, того, что перерыв постепенности совершается реально.

Для диалектического материалиста возникновение нового из старого еще не решает вопроса о специфичности этого нового. Подчеркиванием одной лишь непрерывности мы далеко не уедем. Это — лишь уловка, чтобы общеизвестной истиной материализма отговориться от вопроса о скачкообразном развитии, от вопроса о развитии, как превращении количества в качество, столкновении противоречий и развитии путем борьбы противоположностей. Диалектическое учение о развитии есть учение о возникновении нового путем перерыва постепенности, скачков, революции. Это и только это имеют в виду диалектики в борьбе с механистами, говоря о несводимости высших форм движения к низшим.

Качество для нас нечто самостоятельное, в раз'ясненном выше относительном смысле, имеющее собственную специфическую закономерность, свое направление развития и совпадает с особой формой движения материи. Для наших противников из механистического лагеря качество вообще отрицалось, превращалось в нечто суб'ективное, — теперь, в рецензируемом сборнике они ничтоже сумняшеся оперируют вкривь и вкось этой категорией, но оно остается чем-то придаточным, нечто вроде бесплатного приложения к количеству. Механисты теперь спорят и обижаются, когда их обвиняют в отрицании качественности, они доказывают, что, по их представлениям, качество вовсе не является «математическим выводом» из количественных изменений (эта мысль проходит через рассуждения всех участников сборника по этому вопросу). Но разве не ясно, что это уловка, придуманная для того, чтобы основную суть наших разногласий спрятать куда-то в угол? Ибо что же это значит, будто качество, скажем жизнь, не является арифметическим сочетанием физико-химических начал? Подумаешь, эка важность! Еще бы не

хватало, чтобы вы признали, что жизнь равняется арифметической сумме физико-химических начал. Разве об этом идет у нас спор? Спор идет о том, является ли данное, уже возникшее качество сводимым к количественным изменениям, его породившим, или оно сохраняет как бы особую, только ему присущую закономерность развития, и остается в этом смысле несводимым к количеству.

### Тов. Варьяш о „случайности".

Мы уже видели, что в вопросе о случайности т. Варьяш распространяет пошлую сплетню о том, будто диалектики признают случайность, как нечто беспричинное. Нет в мире ничего беспричинного, говорит тов. Варьяш, и он расточает свою энергию для доказательства азбучной истины марксизма, которой никто не оспаривал. «Вовсе не следует, негодует наш автор,—что «случайности» сами по себе не являются следствиями причин» (стр. 97). «Дарвин сам, как естествоиспытатель, конечно, стоял на той точке зрения, что варианты не случайны, но мы не знаем причины их происхождения», нельзя думать поэтому, что видимые варианты являются об'ективными случайностями, не подчиненными причинности» (стр. 98). Выходит, что спор шел между детерминистами и индетерминистами. Мы уже указывали, что это плод досужего воображения. Теперь мы могли бы прибавить, что происхождение этой сплетни в устах Варьяша очень просто об'ясняется тем, что об'ективное значение случайности т. Варьяш иначе и не может себе представить, как отсутствие причинной обусловленности.

Таков уж метафизический образ мышления. И тот, кто хочет до осязаемости, до потрясающей яркости почувствовать всю беспомощность метафизической мысли, запутавшейся в плену противоположности между случайностью и необходимостью, должен обязательно прочесть статью т. Варьяша. Наш разоблачитель индетерминизма презренных диалектиков сперва по всем правилам метафизики рассматривает случайность и необходимость, как две абсолютно разные, две противоречащие друг другу, безусловно исключающие друг друга категории, как если бы «какая-нибудь вещь, какое-нибудь отношение, какой-нибудь процесс либо случайны, либо необходимы, но не могут быть и тем и другим» (Энгельс), а потом требует отбросить прочь всякое представление о случайности, которая в такой метафизической постановке, разумеется, уже отождествлена с беспричинным, сверх'естественным явлением.

Отсюда и вся невероятная путаница, навороченная тов. Варьяшом в вопросе о случайности.

Варьяш не постеснялся «обработать» Энгельса в механистическом духе. Он привел целый ряд цитат и даже не подумал о том, что эти цитаты говорят не в пользу механистов, а в пользу диалектического материализма. Читатель, надеюсь, не посетует, если мы приведем те места из статьи т. Варьяша, в которых эта «обработка» Энгельса наиболее ярко проявилась. Тов. Варьяш приводит цитаты из «Диалектики природы» Энгельса: «Дарвин,—говорит Энгельс,—в своем составившем эпоху произведении исходит из крайне широкой, покоящейся на случайности фактической основы. Именно незаметные, случайные различия индивидов внутри отдельных видов различия, которые могут усиливаться до изменения самого характера вида, ближайшие даже причины которых можно указать в самых

редких случаях, именно они заставляют его усомниться в прежней основе всякой закономерности в биологии, усомниться в понятии вида, и его прежней метафизической неизменности и постоянстве» («Диалектика природы», стр. 195. Подчеркнуто нами.—«Г. Б.).

После этого Варьяш, как бы мимоходом, отделывается фразой, которая ничего не выражает: Энгельс указывает на то, что механический материализм не об'ясняет случайности из необходимости, «наоборот, необходимость низводится до чего-то случайного». И, не задумываясь долго над этой мыслью Энгельса, т. Варьяш продолжает цитировать: «До тех пор, пока мы не можем показать, от чего зависит число горошин в стручке, оно остается случайным; а от того, что нам скажут, что этот факт приведен уже в первичном устройстве солнечной системы, мы не подвигаемся ни на шаг дальше» («Диалектика природы», стр. 193).

Приведя эти цитаты, т. Варьяш восклицает: «Спрашивается: признает ли Энгельс случайным, что в каком-нибудь стручке пять горошин, а не четыре или шесть? Не признает! Он борется против голословного утверждения, что все это происходит от первичного устройства солнечной системы, и требует специального об'яснения по причинной связи всякого события, хотя, конечно, наука пока не может браться за об'яснение такого незначительного события, как пример со стручком с пятью горошинами».

Итак, т. Варьяш делает три замечания: первое—о том, что случайность суб'ективна, второе—о том, что Энгельс борется против «голословного» утверждения, будто все это происходит от первичного устройства солнечной системы, и третье—о том, что «всякое событие» должно быть об'яснимо по причинной связи.

Начнем с первого замечания. Тов. Варьяш думает, что если Энгельс говорит о том, что мы не можем показать, от чего зависит число горошин в этом стручке, то «случайность относится к нашему знанию и есть у Энгельса, как и у Дарвина, обозначение нашего частичного, а иногда и полного неведения причин какого-нибудь события» (стр. 99),—и, стало быть, следует говорить о случайности «в том условном смысле, что мы не можем об'яснить все, что происходит в мире» (стр. 9).

Верно ли это? Нет, неверно. Для того, чтобы опровергнуть варьяшевское «толкование» Энгельса, достаточно прочесть все то место из Энгельса целиком, из которого Варьяш выхватил несколько строк. Опровергнув метафизический взгляд на случайность, как нечто неподчиненное причинной связи, Энгельс пишет: «Противоположную позицию занимает детерминизм, перешедший в естествознание из французского материализма и рассчитывающий покончить со случайностью тем, что он вообще отрицает ее. Согласно этому воззрению, в природе господствует лишь простая, непосредственная необходимость. Что в этом стручке пять горошин, а не четыре или шесть... все это факты, которые вызваны неизменным сцеплением причин и следствий, связаны незыблемой необходимостью, и газовый шар, из которого возникла солнечная система, был так устроен, что эти события могли произойти только так, а не иначе. С необходимостью этого рода мы все еще не выходим из границ теологического взгляда на природу». Кажется, ясно. Энгельс отвергает не только метафизическое понимание случайности, как чего-то беспричинного, но и «противоположную точку зрения» плоского детерминизма, рассчитывающего покончить со случайностью тем, что просто отрицает ее.

«Простая, непосредственная необходимость» остается простой фразой потому, что «для науки безразлично, по выражению Энгельса, назовем ли это мы, вместе с Августином и Кальвином, извечным решением божиим, или, вместе с турками, кисметом, или же назовем необходимостью». До тех пор, пока мы не можем показать от чего зависит число горошин в этом стручке, оно остается случайным,—Варьяш привел эту фразу Энгельса, но он не постыдился упрятать те строки, продолжением которых она является. Вот эти строки: «Ни в одном из этих случаев не может быть речи об изучении причинной цепи, ни в одном из этих случаев, мы не двигаемся с места. Так называемая необходимость остается простой фразой, а благодаря этому и случай остается тем, чем он был».

Разве не ясно, что, по Энгельсу, мы не можем показать, от чего зависит число горошин в этом стручке, только потому, что «наука, которая взялась бы проследить этот случай с отдельным стручком в его каузальном сцеплении, была бы уже не наукой, а простой игрой, ибо этот самый стручек имеет еще бесчисленные другие индивидуальные кажущиеся нам случайными свойствами (als zufällig erscheinende Eigenscaften!): оттенок цвета, плотность и твердость шелухи, величину горошин, не говоря уже об индивидуальных особенностях, доступных только микроскопу. Таким образом, с одним этим стручком нам пришлось бы проследить уже больше каузальных связей, чем в состоянии решить их все ботаники на свете».

Особенность диалектически-материалистического понимания причинности в том и состоит, чтобы об'яснить случайность из необходимости, а не свести необходимость до чего-то чисто случайного. Это достигается тем, что мы отвергаем «бессодержательный механический детерминизм, который на словах отрицает случайность в общем, чтобы на практике признать ее в каждом отдельном случае» (Энгельс),—«бессодержательный механический детерминизм», для которого «тот факт, что определенный стручек заключает в себе шесть горошин, а не пять или семь явление того же порядка, как закон движения солнечной системы или закон превращения энергии».

Так ставится вопрос Энгельсом. Для Варьяша, утаившего от читателя невыгодные для механистов строки из статьи Энгельса, вопрос сводится к тому, что Энгельс... «конечно» (это «конечно» здесь прямо великолепно.—Г. Б.) употребляет слово «случайность», как и каждый человек» (стр. 99). Просто и ясно, не правда ли?

Все предыдущее показывает, почему не выдерживают критики и остальные замечания т. Варьяша о приведенных выше цитатах Энгельса. В частности, это же наивность думать, что Энгельс борется с утверждением о зависимости этого стручка от первичного устройства солнечной системы, будто потому, что такое утверждение... «голословно». Тов. Варьяш заявляет, что Энгельс требует причинного об'яснения всякого события, как будто спор идет о том, все ли доступно причинному об'яснению, или существуют беспричинные явления. Тов. Варьяш не постеснялся привести в доказательство своей мысли следующую строку из Энгельса: «Наука перестает существовать там, где теряет силу необходимая связь» (стр. 98), но он умолчал о том, что эта мысль относится к тому месту, где Энгельс борется с метафизическим, индетерминистическим взглядом на случайность. Это положение направлено против метафизики Вольфа, согласно которой случайное существует рядом с необходимым, как нечто беспричинное, а тов.

Варьяш имел смелость привести его в защиту плоского механического «бессодержательного» детерминизма [1]).

* * *

Что же дальше?—спросит читатель.

Что же дальше?—спросим и мы. Будем ли мы ковылять по пути оракульских изречений тт. Варьяша, Тимирязева и др. или уверенно пойдем вперед и будем продолжать теоретическую разработку вопросов, поставленных нашей эпохой перед марксистской философией.

С одной стороны,—рост сплочения марксистских сил в философии и углубленного влияния марксизма, распространение марксистской методологии во всех областях строительства науки и жизни. С другой стороны,—распад и разброд, беспринципность и обывательщина, распространяемые механистами. С одной стороны—диалектический материализм с требованием разрабатывать и изучать марксистскую философию на основе нового опыта, на основе заветов Ленина в теории, с другой,—механисты, рассматривающие марксистскую философию как бесплатное приложение к частным наукам.

Непримиримость диалектического материализма и механистов была с самого начала очевидна для всякого, кто следит за литературной борьбой. Но теперь будем механистам признательны за то, что они сами себя разоблачают до конца,—теперь эту непримиримость ярко иллюстрируют сами механисты: теперь у них хватает смелости заявить о... «симптомах крайне опасных идеалистических течений, которые теперь под видом борьбы с «механизмом» начинают просачиваться в марксистскую литературу», хватает наивности или дипломатики заявить, что «долг всякого коммуниста, когда он видит тревожные симптомы, открыто и прямо, ничего не скрывая, сказать о своих опасениях и тем содействовать исправлению заблуждений, быть может, и невольных, и предупредить от ошибок еще более тяжелых» (стр. 54).

Так говорят механисты, утаивая от читателя неоспоримые факты, доказывающие, что именно механический материализм не в силах устоять против натиска идеализма.

Но в итоге борьбы с механистами диалектики завоевали огромные слои естественников и заставили механистов уступить в ряде вопросов. И теперь, когда их поражение очевидно, им не хватает мужества открыто и прямо сказать, что они ошибались, и поэтому прибегают к измышлениям и маленьким... «передержкам».

Но в ответ на все измышления, сплетни, упреки и крики, в ответ на очередные маневры все перепутавших людей мы заявляем: нет, уважаемые товарищи, вам нечего кричать о диалектике, о марксизме, нечего произносить благочестивые речи и пугать идеализмом и витализмом, когда вы сами извратили коренные понятия нашей философии, сами повели ее по пути капитулянтства и хвостизма, путаясь в ногах и мешая как раз борьбе с витализмом и идеализмом.

---

[1]) На вопросах о статистической и динамической закономерности в свете диалектического материализма мы думаем остановиться в особой статье. Тов. Варьяш чувствует, что т. наз. статистическая закономерность опровергает суб'ективистское отрицание случайности, и поэтому несколько страниц уделяет вопросу о том, как «истолковать» статистическую закономерность для того, чтобы ее примирить с отрицанием случайных явлений. Но в освещении статистической закономерности он повторяет все отмеченные нами ошибки суб'ективного понимания случайности.

Разве не учил иас Леиин тому, что мы ие можем отказаться от руководящей роли марксистской философии во всех областях духовного творчества класса, строящего социализм? Это и есть тот вопрос, вокруг которого загорелся спор 4 года тому назад. Тов. Степанов выступил под флагом борьбы против «схоластики» с иападками на философию. Тов. Стэн выступил против т. Степаиова. Естествеиники нз Тимирязевского иистнтута выиесли резолюцию в защиту тов. Степанова. Недавно оии отказались от этой резолюции, признав ошибочной позицию тов. Степаиова (см. сб. «Диал. в прир.» № 2).

Теперь эти же естествеииики в своем сборнике пишут: «Вряд ли можно отставить полную беззаботиость естествоиспытателей по отношению к философским вопросам. Вряд ли можно утверждать также, что расширеиие философского кругозора ие отразится весьма благоприятно в конечном счете и иа текущей работе естествоиспытателей. Но лучшим средством к такому расширеиию кругозора является именно изучение диалектического материализма» (стр. 152). Об'ясиение этих необычайиых для Тимирязевского иистнтута слов иужно искать, очевидно, в следующей фразе: «Естественники пояяли необходимость изучения философии, иеобходимость твердой методологической установки» (стр. 245). Давно бы так, ио посмотрите, в какой маскарад переряжают эту горькую для них истиину иаши противиики! Посмотрите, каким туманом оракульских изречений окутывают ее. «Те, кого иазывают механистами, полагают, что изучение коикретиых фактов и явлений природы и общества должио быть доведеио до такой ступени, чтобы диалектика этих процессов выступила из них самих» (там же, стр. 44). Итак, механисты полагают, что диалектика должна «сама» выступить из процессов природы,—чем это ие оракульское изречение? Очевидио, это возможио после того, как произведеио научное исследование даиной группы явлеиий. Тимирязев так и пишет: «Для извлечения этой диалектики из природы иеобходимо в каждом конкретном случае тщательиое исследование, которое надо довести до того, чтобы диалектика сама выступила в качестве результата всего исследования» (стр. 46—47). Ну, а каким методом, спрашивается, прикажете пользоваться в процессе исследоваиия? Выходит таким образом, что диалектика сама по себе ие нужна научиому исследованию, как метод; выходит, что для науки безразличио, каков тот метод, которым она пользуется, когда «доводит изучение процессов до такой ступеии, чтобы диалектика этих процессов выступила из них самих».

Диалектический материализм отвергает такую постаиовку вопроса и иначе, как хвостизмом в теории, ее ие иазывает. Марксист должен проверять метод диалектического материализма, применяя его практически, учитывая новые и иовые факты и обогащая его иовым опытом применения его иа деле,—этого иикто из диалектиков не оспаривал, но этого иаши товарищи ие продумали и сделали вывод, что диалектика в лучшем случае только подтверждается, что это лишь характеристика процессов, после того, как закоичено исследование.

Диктатура марксизма есть руководство марксизма всей областью строительства, жизни и зиаиия, в частиости всей областью научного исследоваиия. Диалектический материализм есть наука, которую надо не только заучивать, но и разрабатывать, двигать дальше, в соответствии с колоссальиым накопившимся опытом революционного десятилетия.

Диалектический материализм вырастает из истории естествознания, как итог развития всех наук о природе и обществе, он питается естественно-научными фактами всей области научного знания, но диалектический материализм в то же время не может примириться с ролью придатка к частным наукам, в их фактическом, изолированном состоянии, хотя иначе механисты и представить себе не могут роли философии. Известно, что марксизм не метод априорной конструкции, не метод насильственного навязывания магических формул, но именно для того, чтобы убеждать «опытным» «путем», как вы, товарищи-механисты, говорите,—«практически», надо руководить, а не плестись в хвосте. Разве не ясно, что Ленин учил руководящей роли марксистской философии в идейной борьбе и науке? Разве это не факт, что Ленин раз'яснял, что материализм не может быть воинствующим материализмом и останется не столько сражающимся, сколько сражаемым, если мы не будем разрабатывать материалистическую диалектику, как руководство к действию?

Можно ли руководить практическими примерами, можно ли убеждать в правильности своей теории, можно ли стихийные диалектику и материализм современного естествознания возводить в сознательно-применяемый метод диалектического материализма, если не иметь своей теоретической «гранитной базы», не иметь отчетливого представления о линии, о пути, о конечной цели развития, если не иметь своего мировоззрения, наконец?

Нет, формула тов. Тимирязева о диалектике неприемлема.

Не для того мы изучали и изучаем драгоценный опыт тридцатипятилетней идейной борьбы в рабочем движении, не для того учились у этого имеющего за собой славные материалистические философские традиции опыта, чтобы подросший теоретический молодняк механистам теперь позволил тащить назад, ко временам «экономизма», «хвостизма» и «ликвидаторства» в области философии.

Не сознавая сами того, наши товарищи из лагеря механистов расчищают дорогу обывательщине в философии, безразличию, беспартийности в нашей идеологии, служат им верную службу и вносят безыдейность, мещанство и растерянность. Разве это не факт, что наша молодежь, молодежь комвузов и вузов, под руководством таких «диалектических материалистов» на словах и величайших путаников в деле, начинает считать дискуссионным не «проблемы» качества, случайности и прочие крепкие орешки, не по зубам пришедшиеся «вождям» механистов, а—марксизм вообще? Разве это не факт, что в настоящее время мы наблюдаем оживление всяческих антимарксистских и не-марксистских теорий и в исторической науке, и в естествознании, и в теоретической экономии, и в литературоведении, и в искусстве?

Такими чертами характеризуется «текущий момент» в философии. Факты говорят за то, что к задачам ортодоксальных диалектических материалистов прибавилась еще одна задача: надо бороться с беспринципностью и разбродом, которые дают себя чувствовать всюду, где прислушиваются к голосам механистов.

# К вопросу о месте денежного материала в схемах воспроизводства Маркса[1]).

*С. Гиммельфарб.*

Второй том «Капитала» Маркса, хотя литературно представляет собой (отчасти и по существу) не законченное произведение, в основном является логически стройным цельным звеном марксовой экономической системы. В основном и второй и третий тома были написаны до того, как Маркс приступил к литературному оформлению первого тома «Капитала». После напечатания I тома Маркс приступил к дальнейшей разработке проблем II и III томов. Поэтому из экономической системы Маркса нельзя выбросить ни один кирпич, нельзя опорочить ни одно положение, не рискуя, или же сознательно не ставя себе задачу, взять под сомнение увязанность и прочность всего здания. Развить Маркса можно, лишь целиком опираясь и исходя из марксовых положений. «Развивать» Маркса, опорачивая отдельные положения Маркса, можно только в том случае, если сознательно ставят себе цель ревизовать его, или же, в лучшем случае, несознательно готовят почву для ревизии. Вся история борьбы марксистов против всяких сортов ревизионистов целиком подтверждает правильность вышеуказанного утверждения. Ниже мы попытаемся ликвидировать одну легенду, с легкой руки Розы Люксембург распространившуюся по всему свету, а у нас в СССР,—в лице т. Познякова,—получившую законченное «теоретическое оформление».

## 1. Проблема народно-хозяйственного баланса как исходный пункт исследования.

Какую бы общественную форму производства мы ни попытались изучить с точки зрения ее воспроизводства, — исходным и конечным пунктом анализа должен быть народно-хозяйственный баланс данной общественной системы. Эмпирическая проблема баланса существует в каждой общественной форме. Только эта проблема на различных исторических этапах ставится и решается совершенно по-иному, так как общественное воспроизводство на всех этих этапах происходит в принципиально-отличных формах.

Если характерной чертой,—в конечном счете,—народно-хозяйственного баланса всех предшествующих капитализму общественных формаций являлась известная взаимосвязанность, взаимоуравновешенность и взаиморазделенность а) натуральных об'ектов общественного производства и б) человеческой производящей силы

---

[1]) В порядке обсуждения. Ред.

(количественных затрат труда), то специфические различия, особенности капиталистической общественной системы сводятся к обязательности вышеуказанного совпадения со стоимостной пропорцией, т.-е. натуральной и трудовой народно-хозяйственный баланс должен быть в то же время и стоимостным балансом. Если в докапиталистических формациях непосредственно устанавливалась общественная пропорциональность натуральных об'ектов и рабочей силы, то этим практически решалась проблема народно-хозяйственного баланса. Выяснение же об'ективных условий, в которых происходило формирование указанного баланса и методов воздействия на его формирование,—решало теоретически интересующую нас проблему.

В капиталистическом обществе проблема несоизмеримо осложняется необходимостью раздельного теоретического анализа натуральных об'ектов и рабочей силы, с одной стороны, и стоимостных, производственных общественных отношений, получающих вещественное выражение,—с другой; только совпадение этих моментов является признаком практического сбалансирования народного хозяйства во всех отношениях,—и в отношении пропорциональности между отдельными частями общественного производства, и в отношении известной пропорциональности уровней производительных сил и производительности труда между отдельными отраслями, и в отношении распределения рабочей силы, и в отношении распределения вновь созданного богатства (заработная плата и прибыль) и т. д., и т. п. Отсутствие указанной пропорциональности приводит к взрыву,—к кризису. Всеобщий промышленный кризис на момент пытается разрешить указанные противоречия, однако последние переносятся лишь в другую плоскость и не ликвидируются кризисом; развитие капитализма ведет к беспрерывному накоплению противоречий, к абсолютной невозможности практически разрешить проблему народно-хозяйственного баланса. Однако невозможность практического решения проблемы ни в коем случае не препятствует теоретическому ее решению, т.-е. не мешает установлению об'ективно вполне достоверных имманентных процессов, совершающихся в недрах капиталистического общества. Схемы К. Маркса, по нашему мнению, целиком разрешат интересующую нас проблему, показывая, как все непримиримые противоречия, как все развитие капиталистического хозяйства идет по известной линии, колеблется вокруг известного центра. Поэтому схемы К. Маркса в том виде, в каком они им созданы и обоснованы, имеют не только теоретическое бытие, являются не только логической категорией, созданной Марксом якобы лишь как рабочая гипотеза в научной работе над изучением известных экономических явлений, но имеют вполне реальное бытие, отображая капиталистическую действительность, так называемое «вековое» движение, одним словом, тенденцию и характер всего экономического движения системы.

Трудность изучения и решения проблемы движения капиталистической хозяйственной системы лежит не в плоскости простой «расшифровки» схем К. Маркса, а в анархичности общественного производства. Проблема сводится к тому, как на основе анархического, через рынок, приспособления хозяйствующих суб'ектов к общественному целому об'ективно формируется капиталистический народно-хозяйственный баланс. Эту теоретическую проблему решает К. Маркс во всех 3-х томах своего «Капитала». Схемы же Маркса рисуют лишь картину в целом, т.-е. картину обращения между двумя частями обще-

ственного производства: 1-й (производящей средства производства)— общественно воспроизводящей постоянный капитал «c» и 2-й (производящей средства индивидуального потребления наемных рабочих и капиталистов) — общественно воспроизводящей переменный капитал «v» и производящей прибавочную стоимость «m». В этом вся исключительная ценность и гениальная простота марксовых схем, сводящих все движение общественного воспроизводства между двумя указанными частями общественного производства. Эти схемы дают возможность одновременно охватить общество и как *производящий общественный организм* вообще и как производящий и воспроизводящийся капиталистический народно-хозяйственный организм, все категории которого проявляются в стоимостных формах c + v + m с общественной точки зрения и с точки зрения отдельного капиталистического хозяйствующего суб'екта,—вот что отличает К. Маркса от всех его предшественников, современников и экономистов нашего времени. А ведь схемы Маркса выполняют эту исключительной важности задачу схематического отображения общественного движения между *общественными* c, v и m. Только выполняя эту задачу, схемы Маркса выполняют свое теоретическое назначение, иначе они потеряли бы свой теоретический смысл. Только так можно и должно понимать марксову теорию воспроизводства. Тов. Ленин в своей книге «Развитие капитализма в России» пишет: «*Основные посылки, на которых построена теория Маркса*, состоят в двух следующих положениях. Первое,—что *весь продукт капиталистической страны, подобно единичному продукту*, состоит из трех следующих частей: 1) постоянный капитал, 2) переменный капитал, 3) сверхстоимость. Для того, кто знаком с анализом процесса производства капитала в I томе «Капитала» Маркса, это положение подразумевается само собой. Второе положение, что необходимо различать два большие подразделения капиталистического производства, именно (1-е подразделение) производства средств производства — предметов, которые служат для производительного потребления, т.-е. для обращения на производство, которые потребляются не людьми, а капиталами, и (2-е подразделение) производство предметов потребления, т.-е. предметов, идущих на личное потребление.

«Раз приняты во внимание эти основные положения,—вопрос о реализации общественного продукта в капиталистическом обществе не представляет уже трудности» [1]). Как видим, для Ленина марксово деление и марксовы схемы не только достаточны для теоретического решения проблемы, он считает, что эти схемы и то деление и движение, которое в них проводится,—суть «*основные посылки, на которых построена теория Маркса*». И действительно. С общественной точки зрения, при простом воспроизводстве c и v капитал на одной стороне, на другой — m и доход. Схемы К. Маркса дают картину движения между капиталом и доходом. Каждая отрасль производства, в том числе и золотопромышленность, включена в эту «картину» движения. Этому вопросу Маркс посвятил не мало страниц, считая его центральным для теории воспроизводства. Этому же вопросу посвятил не мало страниц и Ленин во всех своих соответствующих работах, так как считал его основным, центральным. «Вопрос здесь именно в том, *как* происходит реализация, т.-е. воз-

[1]) *Ленин*, Собр. соч., т. III, стр. 25—26. Курсив наш.—С. Г.

мещение всех частей общественного продукта. Поэтому исходным пунктом в рассуждении об общественном капитале и доходе,—или, что то же, о реализации продукта в капиталистическом обществе,—должно быть разделение двух совершенно различных видов общественного продукта: средств производства и предметов потребления. Первые могут быть потреблены только производительно, вторые—только лично. Первые могут служить только капиталом, вторые—должны стать доходом, т.-е. уничтожиться в потреблении рабочих и капиталистов. Первые достаются целиком капиталистам, вторые распределяются между рабочими и капиталистами.

Раз усвоено это разделение и исправлена ошибка Ад. Смита, выкинувшего из общественного продукта постоянную его часть (т.-е. часть, возмещающую постоянный капитал),—вопрос о реализации продукта в капиталистическом обществе становится уже ясным[1]). Так категорически Ленин говорит везде, где только касается данного вопроса, ибо иначе взглянуть на схемы Маркса — значит перевернуть всю его теорию.

Можно ли после всего сказанного серьезно выдвигать еще третий раздел в схемах Маркса, не удовлетворяющий никаким научным потребностям и необходимый лишь тому, кто вульгарно, поверхностно воспринимает Маркса!

Лучший ученик Маркса и Энгельса — Ленин в споре на два фронта: против народников и против легальных марксистов, отстаивая и дух, и букву учения Маркса,—защищал против тех и других схемы Маркса в том виде, в каком они приведены во II томе «Капитала», так как эти схемы воспроизводства являются выражением определенных теоретических положений, характеризующих марксистскую политическую экономию. Народники выдвигали необходимость потребления вне капиталистического круга, Ленин доказал их неправоту. Марксисты в лице Булгакова и др., а вместе с ними и Ленин, осмеивали,—предвосхищая возражения тт. Розы Люксембург и Позднякова,—ставшего знаменитостью золотопромышленника, олицетворявшего специальную якобы необходимость в особых деньгах для реализации всего капиталистического продукта. Они осмеивали эту фигуру потому, что она появлялась вне круга общественного воспроизводства и символизировала якобы специальную необходимость в третьем равноправном члене, на ряду с разделами I и II, без которого будто-бы немыслимо воспроизводство!

Тов. Ленин одной фразой, характеризующей весь смысл марксовых схем, показывает всю схоластичность всяких заумных попыток «улучшения» Маркса. «Если мы говорим о реализации общественного продукта, то мы этим самым устраняем уже денежное обращение и предполагаем лишь обмен продуктов на продукты (курсив наш.—С. Г.), ибо вопрос о реализации в том и состоит, чтобы анализировать возмещение (курсив т. Ленина) всех частей общественного продукта по стоимости и по материальной форме» (Курсив наш.—С. Г.) [2]). Эта цитата из Ленина не требует никаких комментариев,—она сама за себя говорит и крепко бьет всех, пытающихся ревизовать марксово учение о воспроизводстве и реализации.

---

[1]) Ленин, Собр. соч., т. II, стр. 178.
[2]) Там же, стр. 186—187.

## 2. Обвинения тов. Розы Люксембург.

Роза Люксембург в своем «Накоплении капитала», анализируя роль денежного обращения в воспроизводстве общественного капитала, вдруг стала в тупик: как же это так, ведь анализ Маркса вполне разрешает проблему расширенного воспроизводства внутри капиталистического круга, т.-е. в чистом капиталистическом обществе, так как имманентные законы капиталистического общества, открытые Марксом, на данной ступени теоретического анализа, при условии абстрагирования от конкуренции изменений в уровне развития техники в отдельных отраслях и т. д., дают возможность разрешить проблему накопления в чистом капиталистическом обществе?! А ведь Розе необходимо доказать невозможность накопления внутри капиталистического круга, и что для капиталистического накопления необходима докапиталистическая среда, потребляющая известную часть прибавочной стоимости! Значит... кое-какие имманентные законы, открытые Марксом, должны иметь коренной недостаток!

Принимая в общем марксовы схемы воспроизводства, Роза видит в них серьезный недостаток, и как раз в том, в чем Ленин видит их особое достоинство.

Вот что говорит Роза:

«Отсюда вытекает, что для процесса воспроизводства всего общественного капитала необходимо производство и воспроизводство денежного материала. *Но так как воспроизводство денежного материала тоже должно мыслиться, согласно нашему допущению, как производство капиталистическое*,—в рассмотренной схеме Маркса мы имеем в виду только капиталистическое производство,—*то схема, собственно, должна оказаться не полной* (Курсив наш.—С. Г.). Рядом с двумя крупными подразделениями общественного производства,—производством средств производства и производством средств потребления,—следовало бы в виде третьего подразделения поставить производство средств обмена, для которых как раз характерно то, что они не служат ни для производства, ни для потребления, а представляют общественный труд в безразличном, негодном для потребления товаре. Правда, деньги и производство денег, равно как и обмен и товарное производство, много старше, чем капиталистический способ производства, но при капиталистическом способе производства денежное обращение впервые стало всеобщей нормой общественного обращения, а потому и существенным элементом общественного процесса воспроизводства. Лишь представление производства и воспроизводства денег в их органическом сплетении с двумя другими подразделениями общественного производства дало бы исчерпывающую схему всего капиталистического процесса в его существенных пунктах»[1]).

Тов. Бухарин весьма остроумно отвечает Розе Люксембург по поводу придания золотопромышленности особой категориальной роли.

«*Как и всякий товар, деньги являются продуктом труда, т.-е. должны быть произведены. Если для простоты анализа отвлечься от различия между золотыми деньгами в собственном смысле этого слова и золотым денежным мате-*

---

[1]) Люксембург, Накопление капитала, изд. 2, стр. 84.

риалом, то производство денег будет соответствовать определенной производственной отрасли, а именно золотопромышленности (Курсив наш.— С. Г.). В том, что деньги не падают с неба, а должны быть произведены на нашей грешной земле, так же мало чего-либо таинственного, как и в том обстоятельстве, что железная руда добывается в горной промышленности, рожь—в сельском хозяйстве, а машины выделываются в машиностроительной индустрии. Следовательно, с этой точки зрения, нет никакой принципиальной разницы между вопросом, откуда у совокупного класса капиталистов есть на руках деньги, и вопросом, откуда у него есть средства производства». «Таким образом, если мы рассматриваем движение совокупного общественного капитала с точки зрения материальной формы, т.-е. вещественных пропорций, которые необходимы для взаимной замены вещественных элементов («обмена веществ» внутри «общественно-производственного организма») и посредствующих материальных звеньев этой замены,—то мы придем к заключению, что для капиталистического строя существует такая же принудительная общественная необходимость производства денег, как и вещественных элементов производительного капитала. Таким образом, если с чисто производственной точки зрения воспроизводство денег и не входит, как составной элемент, в процесс «действительного воспроизводства», то оно является необходимым с точки зрения специфически-исторической формы капитала. При всем том, однако, ни в коем случае не нужно забывать, что **товар**, так сказать, предсуществует по отношению к деньгам».

«Итак производство денежного материала входит в состав общественного производства в его целом, а фигура золотопромышленника настолько же таинственна, насколько таинственна фигура металлургического заводчика, фабриканта ваксы или «короля цыплят» (Курсив наш.—С. Г.). На вопрос, «откуда вообще появляются деньги в стране», не может быть другого ответа,... кроме весьма элементарного и простого ответа: из той отрасли промышленности, где происходит добыча золота» [1]). Краткий смысл всего этого остроумного ответа состоит в том, что золото такой же товар, как и любой другой в капиталистическом обществе, и что производство золота входит в общее производство товаров вообще. Поэтому золотопромышленность не играет той специфической роли, которую ей приписывает Роза.

Правда, Роза сама не отрицает, что она в данном случае отходит от Маркса. Наоборот, она это категорически утверждает, не занимаясь пустым самооправданием.

«Здесь мы, — говорит Роза, — без сомнения, уклоняемся от Маркса (Курсив наш.—С. Г.). Маркс относит производство золота (ради простоты все производство денег сводится к производству золота) к первому подразделению общественного производства». «Это верно лишь постольку, поскольку речь идет о производстве золота в смысле производства металла, т.-е. металла для промышленных целей (для украшений, зубных пломб и т. д.); как деньги, золото—не металл, а олицетворение абстрактного общественного труда; а как таковые, они не являются ни средствами производ-

[1]) Бухарин, Империализм и накопление капитала. Гиз, 1925 г., стр. 37—38.

ства, ни средствами потребления. Впрочем, один только взгляд на схему воспроизводства показывает, к каким неудобствам должно повести смешение средств обмена со средствами производства»[1]). Чтобы исправить теоретическую ошибку Маркса, Роза Люксембург приводит схему, имеющую три ряда, где третий ряд занимает золотопромышленность. Этим проблема решена. «Включение производства денег в подразделение I нарушило бы все вещественные соотношения и пропорции стоимости марксовой схемы и лишило бы ее всякого значения. Попытка подвести производство золота под подразделение I (средства производства), как часть его, приводит Маркса к сомнительным результатам»[2]).

Предпринятая Розой ревизия Маркса в этом пункте об'ясняется тем, что ей необходимо было отыскать в марксовой схеме такое место, которое взрывало бы ее и делало неизбежным привлечение некапиталистической среды при анализе абстрактного развивающегося капитализма. Воспроизводство денег, не входящее в вещественное и стоимостное общественное воспроизводство, но происходящее самостоятельно и параллельно с ним, представляет собой ступеньку, теоретически соединяющую имманентный процесс производства со столь же неизбежно необходимым данной системе внешним для нее процессом. Этим Роза создала для себя плацдарм для развертывания своей теории необходимости некапиталистической среды, доставляющей деньги для реализации прибавочной стоимости.

### 3. Обвинения тов. Познякова.

Не говоря уже о том, что рассуждения Розы Люксембург не верны по существу, Роза, а вместе с ней и т. Позняков, просто не поняли XII раздел 20-й главы II тома «Капитала»». И Роза, и Позняков приписывают Марксу якобы неудавшееся ему желание в указанном разделе рассмотреть простое воспроизводство денежного материала—золота. А так как у Маркса такого желания и в помине не было, то всякие разговоры и обвинения бьют впустую.

Тов. Позняков утверждает, что раздел XII Маркс начал писать лишь для себя, не зная, что выйдет, и из-за провала начатого в нем варианта решения проблемы бросил на полдороге. Вывод: этот раздел не стоило бы вообще помещать во II томе. Мы утверждаем, что такое мнение об этом разделе—неверно. Данный раздел содержит в себе такое же богатство ценных мыслей, какое содержит любой другой раздел той же главы, или же какие-либо другие целые главы II тома. В дальнейшем мы остановимся только на той группе мыслей XII раздела, которая в данный момент нас интересует. Но предварительно послушаем, в чем обвиняет т. Позняков Маркса.

«Мы не станем подробно останавливаться на изложении анализа Маркса и отсылаем интересующихся к самому Марксу. Мы скажем лишь, что *Маркс относит золото, как денежный материал, к элементам постоянного капитала обеих групп капиталистов, а в этом и заключается ошибка, приведшая его к неправильным выводам*»[3]).

Вот на этой квази-ошибке Маркса Позняков строит свою теорию.

[1]) Люксембург, Накопление и т. д., стр. 84—85.
[2]) Там же, стр. 86.
[3]) Труды ИКП, т. I, Работы семинариев фил., экон. и ист. за 1921—22 г.г. Предисловие т. Ш. Дволайцкого к работ. т. В. Познякова, стр. 158. Курсив наш.—С. Г.

Позняков рассматривает проблему воспроизводства денежного материала при простом и расширенном воспроизводстве. Исследованию подлежит та часть денежного материала, которая изнашивается при обращении денег. Вообще ставить перед собой такую проблему с научной точки зрения вполне законно. Но Маркс-то не ставил перед собой в XII разделе такой проблемы. Перед Марксом стояла совершенно другая проблема. Ниже мы на этом остановимся подробно.

Считаем необходимым отметить, что и Роза, и Позняков бросают Марксу одно и то же обвинение, но ставят перед собой совершенно различные задачи: Розе необходимо отметить ошибку Маркса, чтобы с тем большим успехом доказать невозможность накопления в капиталистическому кругу,—Позняков же отмечает «частную ошибку», желая еще больше укрепить всю теорию Маркса. Позняков исходит из основного теоретического положения Маркса, что возможны реализация и накопление внутри капиталистического круга.

## 4. Основная установка К. Маркса при исследовании вопроса о воспроизводстве денежного материала.

В «спорном» отрывке Маркс развертывает свою мысль следующим образом: не во всех странах имеется добыча золота; каждая страна, не производящая золота, свою потребность в нем удовлетворяет обменом со странами, его производящими; поэтому для возможности теоретического анализа необходимо предположить изолированную замкнутую капиталистическую страну, самопроизводящую золото. Золото относится к разделу производства средств производства. Движение золота в процессе воспроизводства происходит не по общему шаблону потому, что оно исключительный товар. Для удовлетворения производительных потребностей в золоте инициатива движения исходит от раздела II (если отвлечься от движения «с» I з.). Но там, где кончается производственное потребление II (и в малой мере потребление капиталистов), начинается активность I з., от которого, в данном случае, только и исходит инициатива обращения. Ибо в отношениях между всеми товаропроизводителями и золотопромышленниками об'ективно существует лишь товарообмен, а не купля и продажа при помощи третьего посредника, что характерно для движения внутри всего товарного мира. Поэтому нет об'ективных препятствий для пред'явления спроса со стороны золотопромышленности и ее рабочих, кроме абсолютных границ самого производства золота и абсолютной массы общественной прибавочной стоимости. Всякое превышение производства золота в части переменного капитала и прибавочной стоимости I з. (в золотопромышленности) над производственными (и, отчасти, индивидуальным потреблением капиталистов), потребностями II раздела—должно откладываться в виде сокровища в разделе II за счет прибавочной стоимости. История развития товарно-денежного обмена,—считает Маркс,—говорит о постоянном (об'ективном) превышении производства золота над производственными, денежными и личными потребностями всех участников товарно-денежного оборота. Если рассматривать явление в общественном масштабе и в историческом разрезе, то можно заметить известное постоянство в увеличении золотых сокровищ. А это подтверждает теоретическое положение об имманентном законе, принуждающем создавать сокровища помимо воли хозяйствующих капиталистических суб'ектов. Таково краткое и ясное содержание «спорного» отрывка.

Основная мысль «спорного» отрывка, сквозящая из каждой строчки, состоит в следующем: в капиталистической общественной системе воспроизводства всякий его продукт должен найти себе некое место: в I или II разделах. Золото не исключено из этого ряда капиталистических продуктов. Даже тот факт, что золото—денежный материал не исключает его из общего ряда. Больше того. Именно потому, что золото это денежный материал, говорит о его товарной душе, т.-е.,—как говорит Маркс,—«деньги это золото, но золото не всегда деньги». Золото не всегда деньги, но золото, это—денежный материал, могущий стать в любой момент деньгами. Золото—привилегированный товар. Интересно, что Маркс озаглавил раздел XII следующим образом: «XII. Воспроизводство денежного материала», но не «деньги в общественном воспроизводстве»! Еще интересней Маркс начинает этот раздел: «До сих пор мы совершенно не обращали внимания на один момент, именно на годичное воспроизводство золота и серебра. Как простой материал для предметов роскоши, позолоты и т. д., они, подобно всяким другим продуктам, не заслуживали бы здесь особого упоминания. Напротив, как денежный материал и, следовательно, как потенциальные деньги, они играют важную роль»[1]). Во всем приведенном отрывке Маркс только мельком говорит о золоте и серебре, как о деньгах. Весь раздел, и в особенности «спорный» отрывок, рассматривает золото, как денежный материал, т.-е. как потенциальные деньги и... только. После всего этого приходит т. Позняков со статьей «Деньги в схемах воспроизводства Маркса» (курсив наш.—С. Г.) и говорит, что Маркс, желавший якобы рассмотреть деньги в своих схемах воспроизводства, не выдержал тон и сорвался. Нам кажется, что столь подготовленный товарищ, как т. Позняков, мог сделать такую ошибку лишь потому, что невнимательно прочел «спорный» раздел. К порядку «внимательного» чтения нужно отнести и следующее дословное обвинение т. Познякова, сопоставляющего две цитаты из II тома «Капитала».

«Поэтому золото следует трактовать здесь, как непосредственный элемент годичного воспроизводства». Несколькими страницами дальше, в полном противоречии с этим, Маркс указывает, что деньги «сами по себе не составляют элемента действительного воспроизводства». Тем не менее, производство золота, как денежного материала, он относит к первому подразделению, к производству средств производства»[2]).

Проверим «цитированные» т. Позняковым места.

Следовательно, необходимо совершенно абстрагироваться от нее (т.-е. от внешней торговли.—С. Г.); поэтому золото следует трактовать здесь, как непосредственный элемент годичного воспроизводства, а не как ввозимый извне посредством обмена товарный элемент»[3]).

Здесь, таким образом, с одной стороны, говорится о замкнутом капиталистическом обществе, целиком удовлетворяющем самостоятельно все свои потребности своим собственным производством, и, поэтому, не нуждающемся в ввозе. Противное нарушило бы

---

[1]) Маркс, Капитал. т. II, стр. 445. Курсив наш. С. Г.

[2]) Позняков, Деньги в схемах воспроизводства Маркса, Труды ИКП, стр. 158. Курсив наш.—С. Г.

[3]) Маркс, Капитал, том II, стр. 446.

возможность теоретического анализа. Золото производится внутри страны, а «поэтому золото следует трактовать з д е с ь (т.-е. в данном месте теоретического исследования.—С. Г.), как непосредственный элемент годичного воспроизводства» (Курсив наш. —С. Г.). Кроме того, з д е с ь говорится о золоте, т.-е. о товаре,—как вообще во всем абзаце,—который может при известных обстоятельствах стать деньгами, но что в данном случае в данном месте марксовых рассуждений не предполагается. З д е с ь з о л о т о лишь потенциальные деньги, т.-е. денежный материал, но еще не деньги. Позняков же говорит,—«золото», думая, что Маркс вместе с ним говорит—«деньги».

Теперь приведем другую цитату.

«Деньги на одной стороне (т.-е. накопленная в виде денег прибавочная стоимость.—С. Г.) вызывают при этом расширенное воспроизводство на другой стороне (Курсив наш.—С. Г.), потому, что возможность его имеется уже без денег (курсив Маркса.—С. Г.), которые сами по себе не составляют элемента действительного воспроизводства»[1]).

Здесь совершенно верно говорится о деньгах (но не говорится о денежном материале), которые «сами по себе не составляют элемента действительного воспроизводства». Но ведь все это сказано в связи с тем, что расширение производства может произойти («на одной стороне») лишь потому, что уже имеются налицо деньги («на другой стороне»), выражающие собой накопленную прибавочную стоимость, созданную в прошлом кругообороте капитала, а в данном кругообороте выступающую как добавочный капитал, т.-е. добавочный спрос. В этой связи, конечно, деньги, т.-е. всеобщий эквивалент, являющийся в описанном процессе лишь посредником оборота (но олицетворяющий капитал), «сами по себе не составляют элемента действительного воспроизводства». Потому, что з д е с ь говорится о деньгах вообще, но не о материальном носителе всеобщего эквивалента, здесь не говорится о золотой куколке: здесь не говорится о золоте, как о денежном материале.

Когда Маркс говорит о «денежном материале», он говорит тогда о вхождении их в «действительное воспроизводство»; когда Маркс говорит о «деньгах», он говорит, что они не входят в «действительное воспроизводство».

Маркс в одном и другом случаях абсолютно прав, а т. Позняков, смешав две вещи: золото (в контексте у Маркса товар, хотя и специфический) с деньгами (в контексте у Маркса всеобщий эквивалент, в данном частном случае носитель общественной прибавочной стоимости, долженствующей и могущей быть накопленной, ибо она является будирующим спросом по отношению к будущему общественному производству), построил на базе этого смешения целую теорию.

## 5. Проблема возникает лишь при изучении проблемы „денежного материала"

Может возникнуть вполне законный вопрос: почему Маркс поставил проблему так, а не иначе; почему Маркс «проглядел» проблему в постановке т. Познякова? Нам кажется, что это обстоятельство сравнительно легко об'яснимо.

[1]) Маркс, Капитал, т. II, стр. 466.

Маркс выдвинул проблему денежного материала при воспроизводстве потому, что денежный материал, могущий в любой момент превратиться в деньги, не входит в процесс простого общественного воспроизводства наподобие всех остальных товаров. Когда говорят о простом воспроизводстве, то теоретически представляют себе какие-то извечно данные границы для каждого товарного продукта; тогда имеют в виду какие-то постоянные пропорции между отдельными отраслями общественного производства, между отдельными категориями, как-то, например: прибыль и заработная плата, деньги в обращении и т. д. В отношении денежного материала,—золота,—это предположение в такой голой форме отпадает. Для денежного материала границы устанавливаются совершенно иные. Золото не подчиняется общим границам, даже в пределах простого воспроизводства. Если взять теоретическую проблему простого воспроизводства и предположить, что в золотопромышленности, как отдельной отрасли, также происходит простое воспроизводство, то это предположение ни в коем случае еще не совпадает с возможным допущением, что об'ем производства золотопромышленности якобы может и должен быть таким, который покрывал бы только износ обращающихся денег. Теоретически такое допущение возможно и должно быть в отношении любого товарного вида, так как рыночная стихия,—даже при простом воспроизводстве,—привела бы в христианскую веру непослушный товар. При преувеличенном производстве этот товар отображался бы во всеобщем эквиваленте,—в деньгах,—в виде пониженной цены, при приуменьшенном производстве отображался бы в виде повышенной цены. Такое «отображение» зашевелило бы стоячее болото простого воспроизводства, все бы закричали о подрыве устоев и... начали бы соединенными усилиями подрывать все устои, каждый индивидуально спасая себя. Золото же находится в привилегированном положении. Увеличенное производство золота сверх потребного покрытия кризиса износа обращения, даже при отсутствии расширенного его воспроизводства, даже при простом общественном воспроизводстве, не может привести к кризису. Единственный результат,—накопление сокровищ в пределах вновь произведенной общественной прибавочной стоимости. Повышать или понижать цену остальных товаров никто не может, так как все они выражают свои цены в этом исключительном товаре.

Золото не пахнет, или, точнее, весьма приятно «пахнет». За золото всякий продаст свой товар, так как оно представляет собой безличный спрос. Поэтому наличие факта воспроизводства денежного материала изменяет всю картину воспроизводства. Даже гипотетическое простое воспроизводство, как только появляется денежный материал, перестает быть идеальным простым воспроизводством. «Отсюда видно,—даже оставляя 1 с., подлежащее рассмотрению позже,—как *даже простое воспроизводство*, хотя здесь исключается накопление в собственном смысле этого слова, т.-е. воспроизводство в расширенном масштабе, все же *необходимо предполагает накапливание денег*, или образование сокровищ»[1]). Для того же, чтобы кто-либо не подумал, что Маркс не знает о таком факте, как износ денег в обращении, и что ежегодно их необходимо воспроизводить, он сейчас же, после приведенной нами цитаты, пишет: «такое накапливание находит себе место даже по вычете золота, утра-

[1]) Там же, стр. 449. Курсив наш. С. Г.

чиваемого вследствие снашивания обращающихся денег»[1]). Что означает это накапливание тогда, когда даже «исключается накопление в собственном смысле слова»? Это значит, что денежный материал по своей об'ективной роли не ограничен в своем производстве только потребностями производства, индивидуального потребления и денежного обращения. Об'ем производства золота может быть таким, что некоторая его часть покроет производственные и индивидуальные нужды, а остаток может и должен уйти в накопление сокровищ в пределах вновь произведенной прибавочной стоимости. Больше того. Создание золотых сокровищ имманентно капиталистическому обществу. Это происходит даже при простом общественном воспроизводстве[2]).

## 6. Маркс исследовал „деньги" в производстве в их развернутом определении.

Может возникнуть вполне якобы законный вопрос: правомерно ли вообще ставить и решать проблему в постановке Маркса при изучении абстрактно-теоретического простого воспроизводства?

То, что Маркс выдвинул именно развитую выше нами проблему,—не будет отрицать каждый мало-мальски внимательно читавший II т. «Капитала». То, что такая постановка вопроса вообще вполне закономерна, также не будет отрицать каждый более или менее знакомый с экономической системой Маркса и с его методологией в области изучения экономических явлений капитализма. Вопрос мог бы возникнуть лишь в такой связи:—почему Маркс сначала не попытался разрешить проблему простого воспроизводства износа обращающихся денег? Т.-е. почему Маркс не рассмотрел деньги при простом воспроизводстве, играющие лишь служебную роль средств обращения,—т.-е. в одном только их качестве, — и лишь потом не разрешил проблему в своей постановке? Такой вопрос кажется законным лишь по внешности.

Если рассматривать деньги лишь в качестве средств обращения, то тогда и т. Роза Люксембург, и т. Позняков, и солидаризировавшийся с ними т. Дволайцкий целиком правы против Маркса, тогда Маркс ошибся, тогда Маркс действительно увидел неудачу своей попытки и бросил ее на полдороге и т. д. И действительно. Если рассматривать деньги с точки зрения только одного их качества,—средства обращения,—то и при простом, расширенном воспроизводстве будет стихийно действовать своеобразный «режим экономии», сводящий количество денег до обязательного минимума, необходимого лишь обращению товаров. Никаких сокровищ, в данном случае, не может быть. Этот минимум,—при качестве денег быть лишь средствами обращения,—создается определенным механизмом: постоянством отдельных частей товарной массы, постоянством платежеспособного качественно-разделенного спроса, постоянством отношений между заработной платой и прибылью и т. д.

[1]) Там же.

[2]) Золотопромышленник, об'ективно для него, как производитель золото-товар, занимается тут же у производства товарообменом. Будет ли золото играть роль простого золота, или же золотой куколки для денег, зависит лишь от дальнейшего его движения: во что превратят данное золото остальные товаропроизводители. Вместе с тем, золото, даже просто как товар, об'ективно обладает, по отношению ко всем товарам, на всех рынках, в частности и в особенности в месте производства золота, всеобщей обмениваемостью.

раз действует такой «жестокий режим экономии» количества денег вообще, то, значит, имеется некоторое постоянство износа денег в обращении, сводящееся неизбежным «режимом экономии» также к постоянно-повторяющемуся определенному минимуму. Отсюда, как будто бы, вытекает вывод: при простом общественном воспроизводстве должно быть налицо присущее ему постоянное простое воспроизводство денег. Но такой вывод может получиться лишь при допущении, что деньги обладают лишь одним качеством — средств обращения.

Для Маркса же не существовало показанной нами выше проблемы простого воспроизводства изношенных денег. Эта «проблема» решалась им попутно. Отсутствие проблемы само собою разумелось, так как проблема воспроизводства изношенных денег,—проблема, зависимая от общей проблемы воспроизводства, точнее, составляет органическую составную часть общей проблемы материального воспроизводства. «Такое накапливание находит себе место даже по вычете золота, утрачиваемого вследствие снашивания обращающихся денег». Для Маркса самостоятельная проблема появляется лишь тогда, когда деньги выступают в качестне всеобщего эквивалента. Маркс делает ударение на всеобщий эквивалент. Исторический процесс развития превратил определенный товар во всеобщий эквивалент. Каждый товар идеально сравнивает себя со всеобщим эквивалентом, измеряет в нем свою стоимость. Вместе с тем, товар, материально ставший выразителем всеобщего абстрактного труда, материально всегда значим для всех товаропроизводителей именно в этом своем качестве всеобщего товара, в каждый данный момент могущий быть использован, при надобности, и материально, т.-е. производительно. Хотя товарная сущность денежного материала предшествует денежной, но его денежная потенция рождается вместе с ним, с самого момента выхода из-под рук производителя. Кратко: исключительный товар,—золото,—есть одновременно и денежный материал. В этом своем качестве он не имеет обычных границ своему производству даже при простом воспроизводстве. Выше мы подробнее на этом останавливались; поэтому здесь данное положение дальше не будем развивать.

Из всего вышесказанного вытекает, что отличительной чертой денег в марксовой постановке от классической политической экономии и вульгаризаторов,—это их товарная сущность. Вот в этом качестне и нужно было,—так Маркс и делал,—рассматривать этот специфический товар,—денежный материал, — в процессе общественного воспроизводства. Таким образом, совершенно неправильным является требование: сначала рассмотреть деньги в качестве средств обращения, а затем рассмотреть их в качестве всеобщего эквивалента, всеобщего товара, всеобщего мерила стоимости.

## 7. Теоретически правильно относить воспроизводство денежного материала к разделу I.

Вполне прав т. Позняков, когда он говорит, что износ денег—это своеобразное потребление. Но тогда тем более нельзя говорить о III разделе производства золота, как предмета обращения. В таком случае производство золота должно войти в I раздел производства

средств производства, так как обращение—это капиталистическое производство sui generis производство «обращения», присущее только товарному обществу, а с точки зрения потребления,—износ монет в обращении, — это своеобразное производительное потребление. С точки зрения воспроизводства общественной системы нет и не может быть никакого вообще потребления, удовлетворяемого какой-либо отраслью производства, не входящей в I или II разделы. Теоретическая ценность марксовых разделов I и II в этом и состоит. В противном случае невозможен был бы теоретический анализ экономического самодвижения системы. Выдвигать третий раздел в схемах—значит считать, что воспроизводство золота для каких бы то ни было целей происходит вне общественного воспроизводства; значит, не понимать теоретического смысла схем: I раздел—сумма общественной стоимости, входящей целиком в будущее производство, II раздел—сумма общественной стоимости, выпадающей из воспроизводства, входящей в потребление. Проблема может быть не в «III разделе» схем воспроизводства, а в своеобразной механике потребления денежного золота. Но в таком случае, с точки зрения производства, нет разницы между золотом, производящимся для функции обращения и для личного и производительного потребления: и та, и другая части должны быть отнесены к разделу I. Вот поэтому Маркс так и сделал.

Свой «спорный» отрывок Маркс начинает так: «Производство золота, как и вообще производство металлов, относится к классу I, к категории, которая охватывает производство средств производства»[1]). Начинает Маркс этот отрывок сейчас же вслед за цитатой, приведенной нами выше, о необходимости отвлечения от внешней торговли при анализе производства золота вообще. Это во-первых. Во-вторых, Маркс говорит здесь о золоте, как о денежном материале, как о товаре, являющемся потенциальными деньгами, и, в-третьих, Маркс считает обращение своеобразным производством товарного общества, а потребление этой «отрасли»—своеобразным потреблением. Все это вместе взятое доказывает, что золото входит в общественное производство, как и любой другой товар; что, если и имеется какая-либо мизерная часть, которая производится специально для покрытия износа обращения, то она, с точки зрения теории, входит составной частью в общую проблему материального воспроизводства. Частным добавочным доводом может служить и то, что Маркс, у которого название главы, какого-либо раздела главы и т. д. точно соответствует содержанию названной части сочинения, т.-е. является точным названием проблемы, которая трактуется в данной главе, части и т. д., — озаглавил проблему «спорного» XII раздела «в о с п р о и з в о д с т в о д е н е ж н о г о м а т е р и а л а». Только такое название соответствует существующей в действительности проблеме. Вывод: Маркс вполне правильно относит воспроизводство золота, как денежного материала, к разделу I, т.-е. к одному из двух разделов, на которые, по категориальному признаку, делится все общественное производство. Правильно Маркс отнес производство денежного материала к разделу I по двум соображениям: 1) по соображениям, которые мы обосновывали выше достаточно подробно, и 2) (е с л и д а ж е р а с с м а т р и в а т ь п р о б л е м у, п о с т а в л е н н у ю П о з н я к о в ы м,—а н а л и з п р о с т о г о в о с п р о и з в о д с т в а и з н о с а д е н е г в о б р а щ е н и и) потому, что д е н ь г и п р и с у щ и р а з в е р н у т о м у то-

[1]) Там же, стр. 446.

варному *обращению вообще*, а не *«капиталистическому»*, как это думает т. Позняков.

Тов. Позняков в своей, хотя и ошибочной по установке, но глубокой по существу разбираемых вопросов, статье *«Деньги в схеме воспроизводства Маркса»* понял, где могло бы быть слабое место в его установке, и поэтому думает (а свою установку приписывает Марксу), что деньги—категория, собственно, капиталистического порядка. Тов. Позняков, опираясь на суждение Маркса об издержках обращения, пытается обосновать свой вывод. Но для этого он опять начинает «цитировать» Маркса. Не будем сверять все его цитаты, как мы это сделали выше. Возьмем лишь опорные для т. Познякова места, а для этого спишем целиком одно место у Маркса и подчеркнем пропущенное т. Позняковым:

«*То обстоятельство, что определенные товары, как золото и серебро, функционируют в качестве денег* и, *как таковые*, пребывают исключительно в процессе обращения, является всецело продуктом (всю приведенную до данного места цитату т. Позняков превращает в краткое: «издержек обращения, относящихся к простому превращению формы стоимости, следовательно, вытекающих».—С. Г.), определенной общественной формы производственного процесса, *процесса производства товаров. Так как на основе* капиталистического производства товаров становится всеобщей *формой продукта; так как подавляющая масса продукта производится как товар и потому должна принимать форму денег; так как, следовательно, масса товаров, т.-е. та часть общественного богатства, которая функционирует как товар, беспрерывно растет, то здесь увеличивается и количество золота и серебра, функционирующих в качестве средств обращения, платежных средств, резерва и т. д.* Товары эти, функционирующие как деньги, не входят ни в индивидуальное, ни в производительное потребление.

Это — общественный труд, фиксированный в такой форме, в которой он служит только как машина для обращения. *Кроме того, что часть общественного богатства удерживается в этой непроизводительной форме, снашивание денег требует постоянного возмещения или превращения все большего количества общественного труда, овеществленного в продукте, в большое количество золота и серебра. Эти издержки возмещения достигают значительных размеров у капиталистически развитых наций, так как часть богатства, закрепленная в форме денег, вообще обширна.* Золото и серебро как денежные товары представляют для общества издержки обращения, вытекающие лишь из общественной формы производства. Это—faux frais товарного производства (здесь тов. Позняков приписывает слово «вообще» и ставит точку.—С. Г.) *и, в особенности, капиталистического производства.* Это—часть общественного богатства, которую приходится приносить в жертву процессу обращения» [1]).

---

[1]) Там же, стр. 108—109.

Основной смысл всей цитаты, вкупе с выброшенными т. Позняковым местами, состоит в том, что товарному производству,—а капиталистическая есть лишь наиболее последовательная товаропроизводящая система,—присущи деньги для обращения товаров. Деньги—это определенный товар, обслуживающий обращение товаров. Поэтому производство этих товаров «это—faux frais товарного производства вообще». Маркс здесь всеми буквами говорит о товарном производстве. Там, где в этой цитате употребляется термин «капиталистическое производство», недвусмысленно указывается лишь на те черты, которыми характеризуется капитализм лишь в качестве всеобщего товарного производства. Здесь нет попытки характеризовать капитализм в качестве системы, эксплоатирующей рабочую силу, выкачивающей прибавочную стоимость. Тов. же Позняков, выбрасывая некоторые места, подчеркнутые нами, создает впечатление, будто бы речь идет о faux frais капиталистического производства, а не товарного вообще. Если бы была верна трактовка т. Познякова, то тогда, безусловно, эти faux frais должны падать только на то специфическое, которое характеризует капиталистическое общество,—прибавочную стоимость, а не на то специфическое, которое характеризует товарное общество—товар. И тов. Позняков, в совершенном противоречии с К. Марксом, приходит к следующем выводу:

«Таким образом,—и это есть прямой вывод из приведенных цитат (!!—С. Г.), —часть продукта годового производства, предназначенная на покрытие потерь в денежном материале, происшедших от естественного снашивания денег, представляет, с точки зрения общественного воспроизводства, faux frais; как таковые, они ограничивают это воспроизводство в условиях капиталистического производства, отвлекая часть средств производства и наличной рабочей силы для производства денежного материала, т.-е. такого товара, необходимость которого обусловливается только особой, специфической формой производственных отношений, отношений капиталистических; в качестве тех же faux frais они падают на прибавочную стоимость капиталистов всех подразделений» [1]).

После такого аргумента безусловно необходимо золотопромышленность и части, производящей непосредственно материал для покрытия износа денег в обращении, выделить в особый раздел схемы и нарисовать ту картину движения («терпения» капиталистов), которую нарисовал в своей статье т. Позняков! Но в том-то и дело, что «капитализм» притянут т. Позняковым за уши: faux frais обращения ложатся одинаково на весь товарный мир, а не только на прибавочную стоимость, т.-е. faux frais обращения — «категория» отношений товаропроизводителей, но не отношений капитализма. Только в теоретической схеме «можно» установить механизм, перекладывающий все эти ложные расходы обращения на прибавочную стоимость; в об'ективном же мире экономических явлений капитализма, как товаропроизводящего общества, существует лишь механизм, перекладывающий эти faux frais на весь товарный мир без исключения. А ведь при капитализме имеется такой крупнейший товаропроизводитель, как мировой рабочий класс, производящий и воспроизводящий свою рабочую силу, как товар! А ведь рабочая сила—товар—обращается на рынке подобно всяким иным товарам и требует

[1]) Позняков. Там же, стр. 160. Курсив наш. С. Г.

для обслуживания своего обращения известную сумму средств обращения, изнашивающихся в обращении и требующих своего восстановления. Значит и товар—рабочая сила—своей заработной платой оплачивает эти faux frais обращения, но не только прибавочная стоимость. В реальном товарном обществе существует механизм нивелировки по несению тяжести faux frais обращения между всеми товарами: это—закон стоимости через равенство цен. Ибо равенство товаров проявляется через равенство цен; равенство качественно различных продуктов-товаров—через равенство норм прибыли; равенство рабочей силы—через заработную плату и т. д. Повторяем, Маркс отнес воспроизводство золота к разделу I еще и потому, что только через раздел I об'ективно перекладываются ложные расходы обращения на весь товарный мир. Если бы Маркс отнес золото к разделу II, то это означало бы, что он теоретически допускает переложение только на ту часть товаров, которые входят в индивидуальное потребление рабочих и капиталистов. Тогда обязательно было бы и предположение, что в главной своей части эти расходы падают преимущественно на рабочих, так как предметы индивидуального потребления падают большей своей частью на потребление рабочих. Отнесение производства денежного золота в особый третий раздел в данной связи предполагает перенос всех расходов на прибавочную стоимость. Но в том-то и дело, что, хотя известная закономерность в соотношении между производством золота-денег, как средства обращения, и всем общественным воспроизводством (как вполне правильно указывает т. Позняков) должна быть, но это не предрешает вопроса о тяжести расходов, падающих на отдельные социальные классы и группы, и о механизме, распределяющем эту тяжесть. Тяжесть расходов падает не в том отношении или, лучше сказать, не в том отсутствии отношений, которое описывает тов. Позняков. Распределение тяжести устанавливается самим фактом соотношения стоимостей различных категорий товаров, распадающихся на части: для рабочих, для потребления капиталистов, для производства и т. д. Это распределение определяется соотносительными долями участия капиталистов, как производителей товаров и потребителей прибавочной стоимости, с одной стороны, и рабочих, как массовых потребителей, с другой, в обращении товарной массы. Только через I подразделение,—механизмом закона стоимости,—возможно равномерное распределение расходов по отдельным товарам. Опасения т. Познякова, что такое допущение, сделанное Марксом, ликвидирует об'ективный закон стоимости, а вместе с ним и теорию стоимости Маркса, уловившей названный об'ективный закон, безосновательны. Faux frais не перекроют, как это думает тов. Позняков, постоянную часть, так как они сами занимают некоторую постоянную часть в этой постоянной части. Опасения тов. Познякова, что «отнесение золота к элементам постоянного капитала неизбежно логически опрокидывает всю теорию стоимости Маркса», напоминают лишь теорию Адама Смита, который рассуждал, примерно, следующим образом; «стоимость каждого товара, хотя и включает в себя постоянную часть, но ведь эта постоянная часть со своей стороны, включает как c так и v; а это «c», со своей стороны, включает как c, так и m, и т. д. В таком случае, теоретически правильно было бы говорить лишь о том, что товарная емкость включает в себя лишь v и m». Отсюда произошло уничтожение c, а с ней стоимости и непонимание условий общественного воспроизводства. Тов. Познякову остается ответить лишь так, как марксисты обычно отвечают

Ад. Смиту: стоимость нужно рассматривать в общественном масштабе, в движении, в каждый данный момент. А в каждый данный момент имеется, как это выше было нами развито, и c и v, и в строго определенной пропорции, одинаково требующих своего воспроизводства в строго закономерных отношениях, определяемых уровнем развития производительных сил.

## 8. Заключение.

Если изучать капиталистическое общество, как воспроизводящееся общество, то теоретически охватить его можно, лишь рассматривая его сквозь призму марксовых схем, кратко гениально формулирующих механику формирования народнохозяйственного баланса капиталистического общества. Несмотря на внешнюю видимость адэкватности действительности, схемы т. Позднякова плавают лишь по поверхности экономических явлений и не отображают наиболее характерного имманентного для товарного общества,—отсутствия об'ективных сдерживающих начал для производства золота, как денежного материала, в заранее данных количественных рамках, определяемых только одной функцией денег,—быть средством обращения. Деньги выполняют функции всеобщего эквивалента. Поэтому производство золота может переступать границы, устанавливаемые лишь потребностями оборота. Воспроизводство денежного материала является, по Марксу, «бунтующим» обстоятельством как по отношению к воспроизводству вообще, так и по отношению к простому воспроизводству,—в частности. Отсюда даже при простом воспроизводстве неизбежно образование сокровищ за счет прибавочной стоимости, соответственно превышению производства золота сверх производительного и личного потребления, но в пределах вновь произведенной прибавочной стоимости. И, наконец, производство золота, вообще, и в той части, в которой оно покрывает износ денег в обращении, в особенности, должно быть отнесено к разделу I, перекладывающему faux frais обращения равномерно на весь товарный мир. Только в этом случае можно теоретически осмыслить товаропроизводящее общество в процессе его воспроизводства. Всякое «исправление» Маркса, как и «разработанное» нами,—в частности, должно быть квалифицировано, как попытка ревизовать Маркса в одном из пунктов его экономического учения.

Ответственный редактор А. М. Деборин.
Редакционная коллегия: А. А. Максимов, М. Н. Покровский, [illegible], А. К. Тимирязев.